

Вениамин КАВЕРИН
Расул ГАМЗАТОВ · Василь БЫКОВ
Виктор АСТАФЬЕВ · Грант МАТЕВОСЯН
Григорий БАКЛАНОВ · Арсений ТАРКОВСКИЙ
Евгений ЕВТУШЕНКО · Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Булат ОКУДЖАВА · Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Белла АХМАДУЛИНА · Сергей МИХАЛКОВ

Чингиз АЙТМАТОВ
Элем КЛИМОВ
Виталий КОРОТИЧ
Сергей ОБРАЗЦОВ

ТРАВА ПОСЛЕ НАС

Книга-интервью
журналиста Феликса МЕДВЕДЕВА
с деятелями советской литературы и искусства

**ТРАВА
ПОСЛЕ
НАС**

ВенIAMин КАВЕРИН
Виктор АСТАФЬЕВ
Григорий БАКЛАНОВ
Грант МАТЕВОСЯН
Арсений ТАРКОВСКИЙ
Евгений ЕВТУШЕНКО
Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Булат ОКУДЖАВА
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Белла АХМАДУЛИНА
Василь БЫКОВ
Чингиз АЙТМАТОВ
Расул ГАМЗАТОВ
Виталий КОРОТИЧ
Сергей ОБРАЗЦОВ
Элем КЛИМОВ
Сергей МИХАЛКОВ

ТРАВА ПОСЛЕ НАС

**Книга-интервью
журналиста
Феликса Медведева
с деятелями
советской литературы
и искусства**



**Издательство Агентства печати Новости
Москва, 1988**

ББК 70
М 42

Трава после нас

М 42 Книга-интервью журналиста Феликса Медведева с деятелями советской литературы и искусства.— М.: Изд-во Агентства печати Новости, 1988.— 250 с., ил.— (Б-чка АПН)
100 000 экз.

Книга представляет собой серию интервью корреспондента журнала «Огонек» Ф. Медведева с деятелями советской литературы и искусства. В беседах откровенно и прямо, в духе гласности высказываются суждения о самых насущных проблемах как сегодняшнего дня страны, так и недавнего прошлого.

4700000000
Т _____ Без объявл.
067(02)—88

ББК 70

ISBN 5-7020-0033-1

© Издательство Агентства печати Новости, 1988

ЛЮБОВЬ МОЯ — ИНТЕРВЬЮ

Эта книга состоит из интервью двух последних лет. Волна гласности, опрокинувшая твердокаменные и казавшиеся незыблемыми устои прежних представлений о подлинной правде истории, о сталинизме, о событиях недавних десятилетий, о внутренней свободе человека, освежающим озоном напоила и моих героев. В мужественных, откровенных исповедях известных деятелей отечественной культуры ощущается знамение времени. До апреля 1985 года такие суждения, такие размышления в нашей печати были невозможны.

Любовь моя — интервью. Люблю этот жанр, в котором как бы скрещиваются рапиры слова и мысли двух современников, двух собеседников, двух оппонентов. Бывает и так, что я вижу перед собой не единомышленника, а противника, человека иных взглядов на перестройку. Революционная эпоха, переживаемая всеми нами сейчас, размежевала общество. Одна его часть стремительно рвется «дальше... дальше... дальше...», другая — тормозит процесс переустройства, боясь оторваться от омертвевших концепций прошлого.

Любовь моя — интервью. В них — биографии и судьбы интереснейших людей, подвижников, творцов, биография времени, эпохи. В них часть и моей жизни. Я как-то подсчитал, что за тридцать четыре года журналистской практики взял около тысячи интервью. Первое — в 1954 году, 13-летним юнкором районной газеты, у школьника, выигравшего лыжную гонку, одно из последних — в Нью-Йорке, у лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского.

Но интервью-86 — 88 не похожи на все те, что я наработал за все предыдущие годы. Взять хотя бы Виктора Астафьева. Мы договорились о встрече в Москве в дни работы VIII съезда Союза писателей СССР. В Красноярск, на его родину, летели двумя самолетами, с разницей

в полдня. Не успел Виктор Петрович отдохнуть после долгой дороги, как я нагрянул со своим диктофоном. Говорил он горячо, душевно, с болью. Обо всем. О литературе, о войне, о друге своем — Шукшине, о матери, о начавшихся изменениях в обществе. Я чувствовал, что тащу крупную шуку журналистской удачи. И не ошибся. Материал вызвал широкий общественный резонанс, обильную почту, его цитировали, перепечатывали.

Потом я встречался с другими писателями, актерами, выдающимися современниками. Передо мной словно рассеклась история. Мне хотелось глубины пахоты, ее живого разреза. Чувствовалось, как гласность набирает скорость: мои собеседники говорили правду и только правду — не оглядываясь, не боясь, смело, мужественно. Мне даже казалось, что это я своими вопросами, иногда довольно рискованными, заставляю их раскрепощаться. Но это было не так. Их раскрепощало время. С Чингизом Айтматовым мы наговорили почти на двести страниц текста, в интервью же вошло около пятидесяти. Разговор получился глобальным, объемным, он охватывал множество важных проблем современного бытия. В беседе с четырьмя знаменитыми нашими поэтами — А. Вознесенским, Е. Евтушенко, Б. Окуджавой, Р. Рождественским — был перекинут мостик к той давней, уже хрущевской эпохе, к тому великому, но не во всем удавшемуся опыту перестройки, который был предпринят после XX съезда партии. Василь Быков сказал: «Самое большое потрясение ждет меня, как, впрочем, и все человечество, впереди: это успех или неуспех нашей перестройки... Слишком много на нее поставлено».

Интервью. Лакмусовая бумажка времени, индикатор быстротекущего бытия. Ведь через месяц, через неделю мой собеседник скажет уже иное. И не так. Гласность набирает темпы. Ее пределы расширяются и выходят из берегов. У живого реализма, демократии нет пределов.

Любовь моя — интервью...

Феликс МЕДВЕДЕВ

...Жизнь коротка, и надо торопиться делать добрые дела. Не себя любить, а ближнего своего, человека любить. Чтобы потом, после всего, после тебя взошла на земле зеленая трава памяти. ТРАВА ПОСЛЕ НАС.

Василь Быков



Вениамин КАВЕРИН

ВГЛЯДЕТЬСЯ В ПРОШЛОЕ, ПОНЯТЬ БУДУЩЕЕ

Беседа с В. А. Кавериним проходила в день его 84-летия. Время летит стремительно, и годы берут свое. Не так давно он тяжело болел. Перенес утрату жены и друга Л. Н. Тыняновой. Врачи запретили публичные выступления, дальние поездки из подмосковного писательского поселка Переделкино, где постоянно живет Вениамин Александрович. Но работа не прекращается. Публикуются новые произведения: рассказы, повести, романы, эссе, издано восьмитомное собрание сочинений.

О многом хотелось поговорить в этот вечер со старейшим советским писателем, лауреатом Государственной премии СССР.

— Вениамин Александрович, вы прожили большую, яркую жизнь, на ваших глазах совершались величайшие события XX века и самое главное из них — Октябрьская революция. Но время неумолимо, и уходят из жизни те, кто «на плечах своих вынес эпоху». А вместе с ними уходит и часть истории. Что вы думаете о прошлом, как оцениваете свою жизнь?

— Вы знаете, именно об этом я думаю и пишу все последние годы, ведь вопрос этот касается всей моей жизни. Начиная с книги «Освещенные окна», в которой я постарался вспомнить детство и юность, я ощущаю необходимость взглянуться в прошлое, понять, что сделано и чего не сделано в жизни. Все мы испытываем стремительность потока истории. Для людей моего возраста это особенно ощутимо. В сущности, лично для меня каждый сегодня прожитый день — история, каждый полон каким-то глубинным смыслом. Мы не задумываемся о том, что любой из нас не случайный гость мироздания, а звено великой непрерывной цепи бытия. И в этом смысле все мы творцы истории. Да, да, каждый по-своему, но каждый! Всем нам, писателям или неписателям, надо обладать историческим взглядом. Мы должны понимать, что над нами — знак истории, что мы не только от нее в зависимости, но и ее творцы.

— Чехов как-то заметил, что для жизни в настоящем надо искупить прошлое, а для этого надо его знать.

— Вот именно! Знание истории помогает избежать многих негативных явлений быстротекущей современности. Что греха таить, мы часто забываем об уроках прошлого, без которого нет движения вперед. Оглядываемся на него с опаской. А мы должны учиться у прошлого, познавать его. Это, конечно же, касается и литературы. Как легко подчас мы предаем забвению события, обстоятельства, имена! То, что было когда-то частью нашей культуры, символом наших достижений. Я уверен, что далеко не все молодые писатели знают сегодня творчество Юрия Олеши, например, или Бабеля. Когда я однажды спросил у Всеволода Иванова, кто, по его мнению, самый лучший наш писатель, он ответил, что Ба-

бель. Из его уст я впервые услышал это имя, и наше поколение помнит его и ценит. Мы совсем забыли об Иване Катаеве, тонком стилисте, чутко понимавшем природу и писавшем о ней с тургеневской глубиной.

Многие писатели двадцатых годов, к которым принадлежу и я, ушли из жизни. Я, как говорится, последний из могикан. Наше поколение было полным энергии, жизненной силы, дремавшей дотоле в человеке и разбуженной революцией.

Но на моих глазах ушли из жизни и писатели другого поколения, мои друзья, творчество которых близко и дорого: Владимир Тендряков, Алексей Арбузов, Юрий Трифонов... Они очень разные, и каждый по-своему выразил и себя и время. Насколько смогли и насколько успели.

— А если я спрошу вас сейчас, Вениамин Александрович, кто, по-вашему, сегодня самый лучший наш писатель? Впрочем, я понимаю, что вопрос звучит слишком категорично, рискованно, и хочу поставить его по-иному: кто вам близок, кого вы наиболее цените в современной литературе?

— Конечно, только время может все расставить по своим местам. Объективно и точно. Я убеждался в этом неоднократно. Купив однажды несколько томов Некрасовского «Современника», я с изумлением обнаружил, что шедевр русской словесности, рассказ Тургенева «Хорь и Калиныч», напечатан в разделе «Смесь». Полистав альманах Смирдина «Сто русских литераторов», я понял, что Смирдин обладал, быть может, демократическим, но неглубоким вкусом, иначе он не поставил бы на первое место в альманахе Сенковского-Брамбеуса, а по достоинству отдал бы это место Пушкину. Но история расставила все по справедливости.

Я ведь не только беллетрист, прозаик, я получил хорошее историко-литературное образование. Отсюда, наверное, и довольно обширен круг писателей, которых я люблю, хотя многие очень далеки от моей манеры. Считаю, что один из лучших сегодня — Василь Быков. Он так ярко, так энергично, с таким мастерством пишет о войне, что максимальным становится при этом эффект читательского присутствия.

— А что вообще вы думаете о современной литературе, о молодых писателях? Какими путями нужно бороть-

ся с застоем в искусстве, с серостью? Не кажется ли вам, что само понятие «литератор» несколько девальвировано, уценено?

— Наша сегодняшняя проза порой оказывается весьма поверхностной по содержанию, она не всегда затрагивает глубокие нравственные проблемы, она глуха и слепа ко многому, о чем надо кричать, говорить вслух. Многие берутся за темы мелкие, легковесные, банальные. Отсюда и недостаточность отражения всей панорамы, всей целостной картины нашей жизни. А фактов, заслуживающих пристального внимания писателя, предостаточно. Оставаться к ним равнодушным, безразличным — для литератора непростительная ошибка. Если он боится трудностей, связанных с художественным воспроизведением конкретных фактов, значит, он не писатель. Ведь литература — это дело всей жизни взявшегося за перо, а не дело его заработка или карьеры. Литература — это гражданский подвиг.

Сегодняшний литератор должен иметь зоркий взгляд на происходящее вокруг после провозглашенных XXVII съездом КПСС идей новизны и преобразования всей нашей жизни. Он должен ответить на вопросы, которые всегда волновали отечественную словесность: как жить, как быть дальше, как найти выход к добру, к благому поступку. Ведь идеи самопожертвования, понятия долга, благородства, чести — не абстрактные понятия. Каждый прожитый день говорит именно об этом.

По мере возможности я слежу за текущим литературным процессом и делаю для себя вывод: многие торопятся писать. А ведь в писательском деле главное — не торопиться, не спешить. Почему же торопятся? Потому что жаждут славы, хотят быть знаменитыми. Кстати, именно эта черта в литературе последних лет меня особенно огорчает.

Был у меня однажды в гостях молодой человек, который успел написать пять романов и пятьсот рассказов. Когда я прочитал кое-что из его сочинений, я понял, что торопится он зря. Спешить ему некуда. Другой подкупил поначалу не только своими хорошими очерками, но и своей профессией — он верхолаз. Эта работа, опасная и нелегкая, дает ему время для творчества. Потом он принес рассказы, и один из них мне пришелся по душе.

Показалось, что мой подопечный делает хотя и неуверенные, но успехи. И вдруг он принес на прочтение солидный роман о Наполеоне Бонапарте, роман беглый, поверхностный, торопливый. Как раз перед этим я прочитал одно большое исследование, вышедшее в Англии и посвященное предполагаемому убийце французского императора. Книга эта, написанная на конкретном фактическом материале, была очень убедительной: И, конечно же, резким контрастом по своему документальному материалу и художественным достоинствам выглядело сочинение моего знакомого. Я сказал ему об этом. Свой роман тем не менее он пытается пристроить в какой-либо журнал. Пока это не удастся. Я сделал вывод: молодой человек верит только в себя и только себе. Даже больше: он слишком о себе высокого мнения. И слишком спешит.

А вообще таланты есть. Ко мне часто обращаются начинающие литераторы за советом, и я с удовольствием вожусь с ними. Никому не отказываю в помощи и горжусь этим. Буквально вчера приезжала молодая писательница Наталья Поликарпова, написавшая хороший рассказ. Талантливо работает Владимир Савченко, создавший роман о Чернышевском. Это мой ученик. Он сумел осилить труднейший исторический материал и привнести в облик великого революционера и писателя новые черты. Удивили своей оригинальностью произведения Михаила Орлова из Томска. Его мало кто знает. Он привлек разносторонностью своих интересов, формой повествования и, наконец, тем, что он не только хороший прозаик, но и поэт. Мы общаемся с ним, я с удовольствием ему помогаю, некоторые его вещи одобрены в редакциях и приняты к печати. Думается, что он пробьет-ся и найдет себя в литературе.

— А не слишком ли многие стремятся сегодня занять свое место «под солнцем искусства»? Всеобщая грамотность, литературная подкованность — это, конечно, хорошо, но откуда идет поток серятины, бездарщины, который заполнил наши печатные органы? Или я сужу слишком резко?

— Я отношусь к этому несколько иначе. Да, пишут многие и, думается мне, будут писать и дальше. Трагедия в том, что большинству писательское дело кажется легким, доступным. На самом же деле это тяжелый и мучи-

тельный труд, который медленно вытягивает из тебя все жилы, выворачивает душу.

— Члены литературной группы «Серапионовы братья» при встречах говорили друг другу: «Здравствуй, брат! Писать очень трудно». Это история нашей советской литературы, а я хочу спросить: так ли трудно вам писать сегодня?

— Еще труднее. Почему? Причины разные. Я ведь пишу не только чистую прозу. Во время войны я написал целую книгу передовых статей. Верный ученик Тынянова, я считаю, что литератор должен уметь писать все. Как Пушкин, который писал и романы, и повести, и исторические исследования, и статьи. В молодости я тоже торопился. У меня, например, есть роман «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове», который был написан за полгода. Тогдашней энергии мне хватало на то, чтобы ходить за своим будущим героем буквально по пятам и записывать все его поступки и выходки, его мысли, остроты, афористические высказывания. Он смеялся надо мной. Я краснел, но записывал... Теперь воображение играет в моей работе бóльшую роль, чем наблюдение.

— И все-таки большинство ваших произведений основано на подлинном материале, на конкретных фактах, на наблюдении. Включая и роман «Два капитана».

— Да, это так, свои романы, повести и рассказы я писал в связи с тем, что происходило в стране, считая современность необходимым ориентиром любой книги, хотя и о далеких временах.

Что касается «Двух капитанов», — а количество изданий книги недавно перевалило за сто, — то я до сих пор изумляюсь ее успеху, не считая этот роман лучшим своим романом. С точки зрения литературного вкуса, новизны я ценю роман «Перед зеркалом». Но время, дистанция, читательский интерес кладут меня в этом смысле на обе лопатки. За роман «Два капитана» я получил Государственную премию СССР, он постоянно издается у нас в стране и за рубежом. Не хочу показаться хвастливым, но любопытных фактов, касающихся как бы новой жизни самого романа и его героев, я могу привести предостаточно. В моем родном Пскове решили воздвигнуть памятник Сане и Кате. Полярники Крайнего Севера изготовили специальную памятку о романе и его авторе и

вручают его всем обладателям книги. Роман много раз экранизировался, инсценировался. Меня даже наградили знаком «Почетный полярник», и регулярно представители учреждений, обслуживающих Север, привозят мне десятки экземпляров книги, с тем чтобы я надписывал на них автографы. Конечно же, меня радует такой устойчивый интерес к роману «Два капитана». Он чем-то затронул сердца людей, я знаю, что многие, прочитав его, смело шли осваивать суровые северные края.

Я понимаю, что успех этот не вечен, но именно сегодня он придает мне новые силы.

Мы заговорили о том, что параллельно с литературой, аккумулирующей глубины народной жизни, постепенно развивалась, набирала силу, и немалую, литература холодная, равнодушная, подчас циничная, карьеристская, спекулирующая на идеях времени, с одной стороны, и на потребительском сознании — с другой. Отсюда в литературе появились понятия «запретных зон», «быть вне критики». Я заметил Вениамину Александровичу, что он в этом смысле никогда не был вне зоны критических оценок.

— В этом смысле я действительно был всегда на коне, — шутит писатель. — Ведь меня частенько поругивали в печати. Но еще Максим Горький написал мне когда-то о том, что неважно, хвалят тебя или ругают. Художнику это должно быть безразлично. И все-таки замечу, что некоторые публикации, посвященные роману «Открытая книга», задержали ее выход на несколько лет. Но были и статьи, которые по-настоящему помогли в работе. Особенно статья ныне покойного молодого критика Хмельницкого.

Заговорили о реформе школьных программ. Писатель уже выступал в печати по этому взволновавшему его вопросу.

— Когда я познакомился с программами по литературе для школы, — сетовал Вениамин Александрович, — я прямо-таки заболел. Меня всего трясло. Разве можно так издеваться над литературой! Неужели некоторым деятелям непонятно, что литература — это живое существо и отрывать от нее часть Достоевского, Толстого или Кольцова — это отрывать от живого.

Коснулись волнующих сегодня многих проблем мо-

сковского градостроительства, сохранения древнего лика столицы. В. Каверин — давний москвич и хорошо знает ее. Долгие годы он жил в Замоскворечье, в Лаврушинском переулке, по соседству с Третьяковской галереей. Радует, что сейчас идет большая реконструкция уникальной художественной зоны, хотя считает, что здесь еще много проблем.

В. Каверин говорит о том, что многие-многие писатели не удостоены еще мемориальных досок, что тем самым мы недооцениваем их значения в нашей духовной жизни, забываем о них. Пора, например, установить мемориальную доску на доме, где жила, приезжая в Москву из Ленинграда, Анна Ахматова. «Это здесь рядом, тоже в Замоскворечье», — говорит Вениамин Александрович. И он поведал мне историю о том, как в день семидесятипятилетия к нему приехали секретари правления СП СССР и поинтересовались, не нуждается ли он в какой-либо помощи. Писатель поблагодарил и сказал, что нет, не нуждается, но у него есть одна просьба: установить памятную доску на Греческом проспекте в Ленинграде, где жил Юрий Тынянов. Вскоре эта просьба была удовлетворена. Известному советскому писателю, литературоведу, ученому, о котором много писал В. Каверин, было воздано должное.

— Как мастер слова, много лет отдавший писательскому ремеслу, о каких наблюдениях вы могли бы рассказать молодым литераторам?

— Сейчас и все последнее время перечитываю Льва Толстого. Почему потянуло на Толстого? Я по-прежнему учусь писать, и более тонкого и смелого учителя я не знаю. Дело не в подражании, дело в умении остаться самим собой. Именно сейчас я оценил ту жертву, которую он принес, в конце концов отказавшись от литературы. Он многому меня научил. Я читаю его как мастера прозы, и мне интересно наблюдать его искусство, понять его подлинное значение во все времена. Я поражаюсь, как сумел Толстой показать в романе «Воскресение» все государственное устройство тогдашней России. Недаром Ленин назвал его «зеркалом русской революции». Теперь я особенно понимаю, как он был прав.

К великому сожалению, я наблюдаю, что писатель без библиотеки в наше время — явление обыкновенное. Не-

знание собственной литературы — факт, довольно распространенный среди молодых. Это идет от непонимания той простой истины, что каждое новое поколение продолжает, а не начинает литературу. Поэтому мой совет: читать как можно больше.

— Как вы пишете, в какие часы, есть ли определенная норма?

— Пишу каждый день всю жизнь. Кроме того времени, когда с женой мы ездили или по нашей стране, или за границу. С утра сажусь за работу, пишу, а во второй половине дня, после отдыха, отвечаю на письма, их приходит много, читаю, назначаю деловые встречи. Пишу от руки, а письма диктую. У меня сохранился богатый архив. Целая стена папок, записных книжек. Пойдемте, я вам его покажу.

Пока мы переходили из комнаты в комнату, я спросил Вениамина Александровича: а сколько всего томов написано им за всю жизнь? Он ответил, что, кроме вышедших восьми, наберется еще томов пять.

Смотрю на полки с архивом. Толстые папки с надписями: «Исполнение желаний», «Перед зеркалом», «Открытая книга», «Письменный стол», «Письма читателей», «Письма писателей»...

— Это варианты и черновики?

— Да, мне всегда казалось, что я мог написать лучше; бесконечное количество вариантов, заключенных в этих папках, говорит о том, что я не шел в литературу напролом, что я отнюдь не самоуверен.

Июнь 1986 г.



Виктор АСТАФЬЕВ

ДОБРЕНЬКИМ БЫТЬ НЕ МОГУ

Последние мои вещи вам показались злыми, желчными? Нет, злым я не был никогда. Даже в худшую пору своей жизни. Но и добреньким быть уже не могу. Надоело писать про цветочки, надоело птичек воспевать. До того довоспевался, что ни коростеля, ни жаворонка, ни перепелки... Всех поотравили. Вороны да сороки остались...

Мы стоим с Виктором Астафьевым на высоком берегу Енисея. Синь, простор, дыхание свежего ветра. Там, внизу, несется, спешит куда-то могучая

сибирская река, спуют лодчонки, катера, от быстроходных «ракет» бьются волны в песчаные пляжи. Позади березовый лес.

— На жизнь смотрю уже как-то устало. В тягость становится лишний перелет в Москву, давит разница во времени. Читаю книги иных своих ровесников, и кажутся они мне писанными древними старцами.

Виктор Петрович поднял руку:

— Вот там, за дымкой, километрах в пятнадцати отсюда, моя родная Овсянка, там я родился и пошел в школу. Чуть ближе сюда, возле каменного выступа,— Шалунина быка, в тридцать первом году нашли мою мать в реке.

Многое в жизни Астафьева связано с этими местами, куда он вернулся несколько лет назад. Один московский друг спросил: «Зачем?» «Помирать»,— ответил он ему.

— Недавно умер писатель Анатолий Соболев. Родом он с Алтая. Но жил далеко от родной земли, и не хватило ему сил вернуться назад. Все скучал по Алтаю. С возвращением в отчие места начинается какой-то новый пласт жизни. Возникает желание что-то найти. Вот я хожу по Овсянке и что-то ищу, ищу. Детство свое. И знаю, не найти его, а все равно на что-то надеюсь. И вот этот поиск, это блуждание по далям памяти рождает какую-то светлую грусть, а грусть и печаль для литератора всегда благодатный материал. Почти вся русская поэзия, да и проза, зависели от нее. Печалью веет и от современной словесности—Юрий Казаков, Николай Рубцов, Виктор Курочкин, Константин Воробьев, Александр Вампилов, Василий Шукшин.

— Вы дружны были с Шукшиным?

— Нет, дружны мы не были. Встречались, разговаривали за общим столом, а этого мало, чтобы назвать другом. Хотя для иных было бы предостаточно. Много у него развелось за гробом друзей. Знаете, никогда я не буду писать о нем. О нем не буду писать и о маме. Это мое и останется со мной. Крошку воспоминаний о матери своей, я знал ее только до семи лет, никогда не доверю бумаге. Когда переносишь интимное свое, сердечное на бумагу, волей-неволей получается искажение. Посредством вот этой холодной ручки на холодную бумагу боль

свою перенести часто невозможно, перо и бумага разъединяют тебя и душу с чем-то живодышащим, и оттого не все и не всегда доверяется бумаге. Это, может быть, приспособление к сиюминутному движению литературы, от которого уйти трудно, если не невозможно. Так уж пусть это «личное» будет со мной навсегда. И еще хочу сказать: есть у меня одна совершенно готовая рукопись, которую я люблю. Вместо подушки в головах у писателя, когда он помрет, может и, наверное, должна лежать хоть одна заветная рукопись. Она соединит писателя с будущим. Быть может, на этот раз соединит.

...Хорошо, что я не сумел повидаться с Астафьевым в Москве, во время работы VIII съезда писателей. Разговор получился бы скомканным. Виктор Петрович не часто бывает в столице, дел и суеты накапливается достаточно. А главное, не побывал бы я тогда на его родине, не полюбовался бы сибирской природой.

Точно предугадывая мой вопрос, как только мы вернулись в квартиру и расположились в рабочем кабинете, Виктор Петрович сказал:

— Кто может распорядиться моим замыслом? Да никто! По заказу я не пишу, не умею, да у меня и не получится. Иные объявляют о своих замыслах и планах выдачи продукции заранее. Мне остается им только позавидовать. Я так не умею...

Не хочу и не буду врать, что, мол, наш писательский съезд меня всколыхнул. Ничего подобного. Наколыхался я предостаточно в жизни... Другое дело — Восьмой съезд был действительно посвободней, что ли, а может, и поразвязней. Говорили с трибуны: правда, свобода слова. Говорили, не вникая в великие слова, это и прекрасно, и страшно одновременно, это требует от человека огромной ответственности, они — бритва в руках ребенка. И вот иные ораторы сводили мелкие счета друг с другом, вели кухонную войну-войнишку, низводя себя до сплетников и бойцов из коммунальной квартиры.

Мне показалось, что Виктор Петрович лукавил, говоря о том, что для него не существует произведений, написанных на злобу дня. А как же с «Печальным детективом»? Роман был напечатан в 1-м номере журнала «Октябрь» за 1986 год. Разве он не отклик на те явления

действительности, которые требуют резкого вмешательства общества, искусства и, конечно же, литературы?

— Даты создания «Печального детектива» 1982—1985. Роман этот отличается от всех других материалом. Издатели, зная о его существовании, всячески меня торопили. «Дадим с ходу!» — говорили они. Так и вышло: напечатали роман неслыханно быстро — за три недели, досылком. В декабре заслали в набор, в январе роман увидел свет. И все-таки напрасно я так быстро отдал роман. Прочитав верстку, убедился: книжке этой надо было еще с годик полежать. Поостыть. Но обстоятельства жизни и сама жизнь требовали, чтобы эту работу я отдал на суд читателей поскорее.

— А как вообще появился «Печальный детектив» — сегодня одно из самых читаемых современных произведений?

— Несколько лет назад задумал я написать очередную романтическую вещь, наподобие «Пастуха и пастушки». Получилось нечто с названием: «Печальный детектив и одинокая монашка». В том сочинении я использовал знаменитые «Португальские письма» Гийерага. Любимое чтение. Так иногда хочется, начитавшись про тракторы, про целину, про любовь к самоварам и березкам, изыщного почитать.

Так вот, написал я листов четырнадцать. Чувствую, конца не видно. Забросил рукопись, думаю, может, когда-нибудь сгодится. Издательство «Современник» запланировало новую книгу. Я достал с полки рукопись, сократил ее, в том числе и название наполовину убавил. Поймал вроде бы тональность вещи, которая совершенно отличалась от той первоначальной рукописи. Правда, поначалу мне показалось, что все ценное было именно в той руде, которую я извлял. Только не подумайте, пожалуйста, что у меня по дому валяются черновики, варианты, незавершенные рукописи. Всякая вещь работается по-своему. Повесть «Стародуб» получилась из одной начальной строки рассказа о браконьере. Однажды решил я написать очерки о рыбалке на Енисее. Вышли они вялые, занудные, длинные. И вдруг попадаетесь какой-то кусочек, где описывалась ночь у костра. Что-то я в нем уловил, зацепился за это мимоходное описание — и от «Капли» пошли главы, выросшие в «Царь-рыбу».

«Детектив» получился жестким и плотным потому, что он короткий. Мало я прописывал этот роман. Кое-где действовал напрямую, информационно, надеясь на хорошо подготовленного читателя. Зачем ему информация о том, что всходило солнце, закат сиял, пели птички, листва шевелилась? Обо всем этом в нашей литературе так много и хорошо написано. Да и «дух» вещи этого не требовал. В романе всего один пейзаж, и тот мимоходный. Пейзаж в этом произведении, по моему замыслу, должен был проходить через нутро героя, выражая его печаль и надломленность, но я не хотел сознательно делать своего героя надломленным, ушибленным. Он у меня не пьяница, не бабник. Но не хотелось мне его и оглоблей делать. Как вышло, не мне судить. Но раз люди читают, наверное, что-то вышло. Впрочем, они иногда такое читают и рвут из рук друг у дружки, что тоска берет и обида за «лучшего в мире читателя».

Реакция на роман разная. Одни читатели, их меньшинство, проклинаят автора, они взбешены, раздражены. Чем? Обнажением «натуральностей» некоторых сторон нашей жизни. Другие, их большинство, пишут письма, возражая критикам: вам книга кажется страшной? Но это цветочки. Сейчас я вам покажу ягодки. И выдают рассказы о случаях действительно страшных... Я уж не могу все это читать. Сон потерял. Держу под рукой двухтомник «Пушкин в воспоминаниях современников», иначе сойдешь с ума. Судя по отзывам читателей, романом я угодил в десятку, но, честно говоря, вышло это произвольно.

Роман «Печальный детектив» — по-настоящему острое, смелое и, я бы сказал, решительное произведение, из тех, за которые уважают современную литературу. Пусть нечасто, раз в несколько лет, появляются такие повести, романы, рассказы, как «Печальный детектив» Астафьева, «Пожар» Распутина, «Знак беды» и «Карьер» Быкова, «Плаха» Айтматова, — книги, которые учат смотреть в глаза истине. Слышал я, правда, и такое: легко, дескать, Астафьеву, авторитетному, пробойному писателю, ему и позволено больше, чем другим. Принеси, дескать, тот же «Печальный детектив» неизвестный автор, ему показали бы от ворот поворот...

— Ну как на это ответить? Я развожу руками и

улыбаюсь. Начинал писать в маленьком уральском городке Чусовом. Грамота — шесть классов. Наверстываю образование в школе рабочей молодежи, работая в горячем цехе. Но тянуло писать, и пробовал писать даже на уроках. А спать хотелось... Кто тогда мне помогал, кто устилал дорогу коврами? Сам себе устилал и коврами, и шипами. Жена помогала и помогает. Семь книг было уже у меня, а так случилось, что в доме на ужин не оказалось хлеба. Картошки с солью поели. Семья большая. Ребятишек жалко. Отложил работу над книгой, написал очерк о сталеваре, напечатал его в областной газете, получил семьсот, старыми, разумеется, рублей, отдал деньги жене и продолжил работу над книгой. Однажды, тоже в нелегкие для меня времена, предложили переиздать одну мою злободневную, но слабую книгу... Можно было материально выручиться. Да ведь раз выручишься, два, а потом?.. Нет, не пошел я на соблазн, не поддался искушению легкого заработка — очень эта легкость губительна для молодого литератора. Вот и одолевал малограмотность, робость свою, внутреннего редактора, который, конечно, и сегодня наличествует и умрет лишь вместе со мной. Если уж Чехов из себя раба по капле выдавливал, то мы-то по мизеринке... Говорите, Астафьеву больше позволено, чем другим? Но я только раз, один раз в жизни заключил договор под ненаписанную книгу, под «имя», так сказать, и ох как пожалел об этом! Душу ведь запродаю! Гирю на шею повесил...

Другое дело: со временем выработалось какое-то ко мне определенное отношение в издательствах и журналах. Появились честные, принципиальные друзья. Они знают, что если я что-то предлагаю, то это всегда «по адресу», и «товар мой, личный», именно для этого издания. Вот во втором номере «Литературной учебы» за 1986 год напечатан мой новый рассказ «Тельняшка с Тихого океана». Редактор журнала А. Михайлов принял его к публикации, потому что рассказ посвящен провинциальному писателю, а эта тема — тема для молодого литератора и читателя. Но ни Михайлова и никого другого я не просил ни о чем, а просто предложил свою готовую продукцию.

— Кстати, Виктор Петрович, вы произнесли слова «провинциальный писатель», а я как раз хотел спросить

вас: что вы думаете о развитии нашей литературы, имея в виду тех, кто живет далеко от столицы? Мы говорим сегодня о возможностях нашей прозы и поэзии, о каком-то качественном рывке, о том, что литература должна полнее, масштабнее, смелее вторгаться в жизнь.

Естественно, что я имею в виду: термин «провинциальный писатель» чисто условный. Мы давно уже пришли к выводу, что провинция — понятие не географическое.

— Последний съезд писателей меня еще раз убедил в том, что провинциальности при всем при том в Москве побольше, чем на наших необъятных просторах. По той простой причине, что членов Союза в столице больше, чем по всей России, и многие из них на своих лаптях, а кто и на штиблетах, к великому сожалению, провинциальность эту в столицу несут. И несут с доблестью. Конечно, в жизни провинциального писателя есть свои преимущества, но есть и свои недостатки. В Москве творческий человек многое может получить, как говорится, бесплатно, мимоходом, мимоездом, в кругу друзей-писателей. В провинции слишком узок круг людей, с которым тебя связывают общие творческие интересы. Я могу, например, разговаривать по душам, довериться одному-двум товарищам по труду.

Мне кажется, что тот, кто медленнее думает, ходит, сближается с материалом, тому легче жить в провинции, где вырабатывается свой ритм жизни. Не исключены в нем, конечно, ни взрывы эмоций, ни какие-то неожиданные поступки по поводу происходящего, но все-таки писатель может здесь более пристально сосредоточиться на своем собственном материале, но главное — на его отборе. Ведь писатель зачастую не знает в суеде сует, о чем ему писать. Поэтому хватается за все. И вот выходит в одном году сразу несколько книг самого разного содержания. Вроде бы вития работает, бегаёт, издается, куда-то даже избирается, а посмотришь назад — одни спицы лежат.

Конечно, многое зависит и в столице, и в провинции от степени накопления писательской культуры. Я говорю не только о внутренней культуре, а о чем-то более сложном, к чему, быть может, мы только приближаемся. К пониманию и осознанию какой-то нравственной истины.

Тогда, когда ты становишься менее раздражительным по мелочам, ощущаешь, что есть на земле какой-то «высший судия», есть что-то духовно высокое, непостижимое, ну, допустим, осознание приближения смерти. Ощущение того, что происходящее в мире неразделимо с тобой. Что твой курятник — твой рабочий стол, твоя работа — как бы избежать здесь громких слов? — маленькая, но твоя капля крови, как на войне, слившись с морем крови твоих соотечественников, — этот поток, река крови утопили войну, так и ныне в огромном наступательном движении человека есть и твое участие, твоя боль, забота и основа всех основ — работа.

Надо иметь мужество в том, чтобы не тащить в издательство, в журнал черновики, недоделанное, недоработанное, чтоб не стыдиться потом. Я пишу рывками, лихорадочно, быстро, хаотично, иногда печатал, да и, случается еще, печатаю сыроватые вещи, тот же «Печальный детектив», например, да и «Царь-рыбу» считаю вещь неровной, с провалами, и опытный читатель это заметил и сказал мне в письмах об этом, но главное — чтобы не вошло в привычку волочь скороспелки на люди.

Еще о провинции? Смешное? Пожалуйста! Помню, в Чусовом ко мне приходили работники финорганов, чтоб обложить меня налогом: чего вы, дескать, здесь делаете, почему тунеядствуете? А я к тому времени уже членом Союза писателей состоял! Но они считали, что писать я должен после «основной» работы. Да и их ли только, моих далеких, наивных чусовлян, убеждать надо, что писательская работа — это навсегда, на круглые сутки, на всю жизнь, до последнего вздоха. Однако все еще в провинции раздражаются тем, что работает наш брат не «по гудку» и часто пишет не то и не так, что им хочется, а хочется провинции сердешной, чтоб ее восхваляли, лелеяли, сладким медом по губам мазали. Но писатель не официант по обслуживанию клиентов и не кондитер по выпечке пирожных...

Чаще всего раздражение исходит от работников школы, педагогических институтов. Масса писем скопилась у писателя, в которых учителя пишут о том, что не понимают его терминологии, языка, идеи замысла. Обвиняют не себя, а автора в том, что не понимают его.

Абсурд! Самые ортодоксальные записки и вопросы идут от учителей. «Я всю жизнь учу детей»,— пишет один адресат. Жалко, считает Виктор Петрович, что такой учит детей, ведь учитель—это прежде всего хороший читатель.

Я захотел узнать у Астафьева его отношение к решительному заявлению художника Гогена: «В искусстве я прав».

— Можете ли вы так уверенно сказать о себе?

— Нет, не могу. Наоборот. Меня всегда одолевают сомнения. Ведь сегодня, и мы об этом говорим вслух, полным ходом идет разрушение мировой гармонии, разрушение духовности человека. Честно сказать, меня вообще одолевают сомнения: кому все это нужно? Кому нужен Микеланджело, Рафаэль, Данте и Шекспир, Толстой, Пушкин? Иногда кажется—никому, хотя я понимаю, что, если бы их не было, человечество давно бы опустилось обратно на четвереньки.

Я думаю, что наш читатель, тот самый, с чистой, незапятнанной душой, больше верит в наши возможности, чем мы сами верим в них. Все прожившие свой век и хорошо поработавшие писатели, независимо от нашего времени, критически относились к своему труду. Просто Пушкина и Лермонтова рано убили. Они не успели выразить свой скепсис. А Лев Толстой подался от литературы к «своему» богу, надеясь тем нравственно что-то сделать, изменить мир к лучшему.

Да, и сомнение... Я считаю, что и сомнение—питательное вещество творчества. Неру сказал, что из столкновения личности с обществом рождается поэзия. Эту мысль мы так или иначе нередко повторяем. Самоуверенность, самоуспокоенность всегда были противоположны для мыслящего человека. Только посредственность думает, что с нее все началось и ею все кончится.

И мы вновь заговорили о так называемой провинциальной жизни. Стали вместе вспоминать имена литераторов, живущих далеко и не так далеко от столицы, тех, на кого можно положиться в будущем. А быть может, уже и сегодня. И тех, к сожалению, кто каким-то образом позатерялся, поисчез из поля зрения читателя, критики или просто кого мы плохо знаем. Чистый, добрый, ясный

Виктор Лихоносов из Краснодара, Николай Родин из Касимова, замечательный стилист, писатель большого уровня, соученик Астафьева по Высшим литературным курсам, воронежец Юрий Гончаров, ростовчанин Борис Куликов, Иван Полуянов из Вологды и многие-многие другие. Об этих именах хоть и изредка, но пишут, говорят, они означены на карте российской словесности. Но есть и другие, такие, кто так же действительно заслуженно необходим читателю. Насчитали мы около тридцати таких литераторов. На самом деле их куда больше.

Тут я решился высказать точку зрения одной читательницы «Огонька» на современную литературу (о которой мы сегодня отзываемся не очень высокими похвалами), заключающуюся в том, что, дескать, достаточно нам трех — пяти творящих писателей (она перечисляет имена, среди которых есть и имя В. Астафьева), больше никого и не надо издавать. Виктор Петрович разразился по этому поводу следующей тирадой:

— Я уже не раз говорил, что мы своими произведениями порой отнимаем читателя у Пушкина, Толстого, Достоевского. Если хорошенько задуматься над этим — неловко делается. Но многим, даже философски подкованным индивидуумам, не приходит в голову, что они плохо знают современную текущую литературу. А задумываться над этим надо. Не только нам, писателям, читателям, но и издателям. Тем, кто направляет нашу духовную, нравственную жизнь. Да, конечно, непрочитанная книга великого писателя, классика — Пушкина, Гоголя, Чехова и Достоевского — это безнравственное дело. Но в то же время современная литература должна развиваться. Развитие — это же диалектика всей и всякой жизни, творческой тем более. Есть у меня учебник по литературе для педвузов предвоенного года выпуска. В нем присутствуют тридцать два автора русской литературы, о которых один критик сказал, что это та блистательная русская провинция, которая бы сделала честь иному европейскому государству: Мамин-Сибиряк, Короленко, Глеб Успенский, Горбунов, Златовратский, Бальмонт, Леонид Андреев, Надсон, Писемский, Боборыкин, Эртель, Гиляровский, Ершов, даже и Лесков туда попал! Так вот, у нас тоже должны быть те тридцать два автора — потенциал сегодняшней блистательной провин-

ции, которой можно будет гордиться. А два-три имени — они могут просто затеряться. Потускнеть. Литература, если она есть, она рыхлит почву под будущие всходы. Вообще у меня предощущение появления гения в литературе. Того, на которого мы все работаем, быть может, такого, какого и свет еще не видывал. Кажется, что он где-то поблизости. И на этот раз он, думается мне, появится не в пределах так называемого российского Нечерноземья, а на нашем сибирском просторе, где содержится еще мощь, энергия, сила. Простите мне мой квасной патриотизм, но я очень люблю родную свою Сибирь и сибиряков, тоже провинциал и патриот, достойный и осмеяния, и уважения, надеюсь.

И тут Виктор Петрович предложил отвлечься от «презренной» прозы и отдаться во власть прекрасной русской поэзии. Астафьев горячо любит стихи, знает многих русских поэтов наизусть. Стихи он вырезает даже из районных и областных газет. Заводит блокноты, переплетает. Приятно было услышать о том, что он следит за публикациями поэтов в последнее время, и в частности заметил публикацию «Огоньком» большой подборки стихов Гумилева, к которому Астафьев давно испытывает особую симпатию.

Он заговорил о том, что пора издать многих полузабытых, но талантливых русских поэтов, по той или иной причине оказавшихся оторванными от читателя. У него возникла мысль создать антологию русской поэзии, опять же из провинции российской. Вместе с красноярским поэтом Романом Солнцевым они ведут эту работу. И вот зазвучал Державин:

Жизнь есть небес мгновенный дар;
Устрой ее себе к покою
И с чистою твоей душою
Благословляй судеб удар.

Как современен во многом этот кажущийся древним и ветхим замечательный русский поэт, реформатор стиха — Державин!

— Да, время сконцентрировано особенно плотно в поэзии, в стихах. «Скользим мы бездны на краю» — как емко, как точно!

— Вы имеете в виду экологию, природу? Все ваши

произведения воспевают красоту земли, жизни, всякой живности, и во всех бьется тревога по поводу бездумного наступления научно-технической революции, цивилизации. Имеются ли, по-вашему, хоть какие-то рецепты «ухода» от края этой бездны?

— Если бы я знал эти рецепты, я отвез бы свои книги в макулатуру и вместо них напечатал инструкции по спасению людей от самих себя.

— А литература, искусство, в которых заключена красота? Ведь Достоевский еще предрек: «Красота спасет мир».

— Ну что вы! Какие такие возможности у писателя? Не надо их преувеличивать. Большинство людей книг не читают. Есть данные, собранные ЮНЕСКО: в год человечество тратит на алкоголь миллиарды долларов, а на литературу во много раз меньше. Кто знает, сколько книг прочитано, кем, каким читателем?!

— Вы хотите сказать, что вас не волнует, читают вас или нет?

— Не совсем так. Я получаю удовольствие от самого процесса работы. Когда сдаю книгу в производство, чувствую усталость. Радуюсь, конечно, получая умные письма от читателей. Особенно радуюсь, когда сообщают о том, что читают вслух «Последний поклон». Чтение вслух, особенно детям,—это самое важное в воспитании.

Полдня я провел с Виктором Астафьевым. Мы разговаривали в его рабочем кабинете, переходили на кухню и, балуясь чаем, вели беседу вместе с его другом, помощницей, женой Марией Семеновной. Потом шли лесом, лугом, берегом реки, и чувствовалось, что человеку этому все дорого: и литература, и природа, и судьба человеческая, и вся наша земля.

Виктор Петрович не смог поехать в свою родную деревню, что стоит километрах в двадцати от города вверх по Енисею. По его совету я поплыл посмотреть на чудо-город Дивногорск, что возведен рядом с Красноярской электростанцией.

Наша «ракета» неслась мимо заросших мхом скал, пустых не по сезону затонов, одиноких построек рыбаков, охотников, небольших деревень. Параллельно, по горной дороге мчались автомобили, по рельсам—поез-

да. Все кругом двигалось, несло, спешило. А я спешил взглянуть на Овсянку хоть краем глаза, мимоходом, мимоездом взглянуть, чтобы навсегда запомнить эту заброшенную в глубине России, в центре Сибири деревушку, откуда вышел шестьдесят два года назад русский писатель, к чьему слову сегодня мы прислушиваемся, чьему слову верим. Его слово возникает из глубин народной жизни в их великой ответственности перед временем, обществом и людьми.

Август 1986 г.



Григорий БАКЛАНОВ

СЛОВО НАДО ВЫСТРАДАТЬ

На Земле есть все, чтобы люди могли жить счастливо и мирно, не воюя друг с другом, не истощая богатства природы. Но тем не менее мир в наши дни находится на грани катастрофы. Об этом трагическом противоречии говорил в одном из своих выступлений известный советский писатель Григорий Бакланов. Так почему же наряду со значительными произведениями литературы, в которых — серьезнейшие вопросы времени, печатается столько поверхностных поделок? Не утрачивается ли высокая миссия писательского слова-призыва, слова-набата?

При встрече в редакции журнала «Знамя», главным редактором которого является Григорий Бакланов, я спросил его об этом. Постоянно звонил телефон, входили сотрудники, решались текущие вопросы, приходили посетители, но наша беседа продолжалась.

— На этот вопрос еще классиками отвечено. Чехов писал в «Скучной истории», что искусства и науки, подобно богатым людям, всегда имеют около себя приживалов и не свободны от присутствия инородных тел. Они всегда были, есть, будут — люди, для которых дороже себя нет ничего на свете. То, что путь большинства известных писателей был нелегко, признание пришло далеко не сразу, это не знают и не помнят. Виден итог, он манит. И это так сладостно, «...ничего не знача, быть притчей на устах у всех». Но не себялюбивыми соображениями была движима и движется литература.

Книгу написать — это жизнь прожить. Я говорю даже не о прожитой самим писателем жизни, собственной его жизни, о том, что называют биографией — без этого писателя быть не может, — я говорю сейчас о том, что надо прожить в себе жизнь героев книги. Впрочем, это неотделимо. С какого-то момента книги и есть биография писателя, его жизнь. И герои их — это не персонажи, это живые люди, хотя они и вымышлены. Книги — если это настоящая литература, если это искусство, — населяют мир живыми людьми. А уж какое это занятие — прожить в себе жизнь своих героев — давайте и тут послушаем классиков. Вы, наверное, помните историю о том, как некое значительное лицо привело к Достоевскому своего сына: тоже, мол, жаждет стать литератором. А Достоевский сказал: это выстрадать надо, приходится страдать. И очень смутил этим значительное лицо: страдать? Зачем же моему сыну страдать? Я не хочу, чтобы он страдал... Не в точных словах я передаю эту историю, но смысл точен.

Писателем движет потребность утвердить в людях и в жизни доброе начало, а не самоутвердиться. Весьма опасны люди, главная цель которых — самоутверждение. Они опасны во всех сферах, а в искусстве — отвратительны. Отдать людям, а не взять — вот что движет художником. И это для него смысл жизни. Книги пишутся для того, чтобы способствовать нравственному совершенствованию.

нию общества, избавить людей от заблуждений, предрассудков, невежества, они уже принесли людям столько бед. Нет, значение писательского слова не утратилось, быть может, именно сейчас время требует, как вы говорите, слова-набата, слова-призыва. Но нередко, к сожалению, пустопорожние поделки, как вы их называли, находят спрос, вызывают повышенный интерес, очереди выстраиваются у книжных магазинов за этим непропеченым «хлебом духовным».

— Но как быть с этим? Ведь нельзя росчерком пера, указом или инструкцией решить наболевшие вопросы.

— Нельзя. И не надо. Это процесс длительный, как и все преобразования, начатые в стране. Тут ничего не произойдет по мановению, даны возможности, а дальше все зависит от нас самих. Надо—это одна из мер—возродить достоинство критики. И определенную ее независимость. Отделы технического контроля сейчас выводят из подчинения тех предприятий, чью продукцию они призваны контролировать. Очень правильно. Что-то подобное надо придумать и в отношении критики. И тут дело не столько в организационных мерах, сколько в общественной атмосфере. Мы все за критику честную, мужественную... когда критикуют не твою, а чью-то книгу. Но как мы бываем обидчивы, как нетерпимы, когда речь не о чьей-то, а о нашей собственной книге, о нас самих. А ведь литература—это не ложе, на котором возлежат, вдыхая фимиам, и только фимиам. Прежние заслуги хороши, но каждой новой книгой надо заново доказывать, что ты писатель и гражданин. Никакие похвалы, никакие эпитеты не сделают писателя властителем дум. Это достигается только силой таланта, а не усилиями, связями и прочим.

Разумеется, характеры людей не меняются по желанию. Но характер общественных отношений изменить можно. И необходимо. Надо сделать нормой такое положение, когда позором станет преследование за критику. Обижайтесь сколько угодно. Дома. В кругу семьи. Но пользоваться влиянием для того, чтобы вывести себя из-под критики, чтобы неталантливая книга была объявлена шедевром, это надо предавать гласности. Стыд должен ограждать, а не одни лишь административные меры. Стыд возродить, забытый в недавние годы. «Стыдно!»— и это

должно останавливать. А не по принципу: «Стыд — не дым...» Общественная атмосфера — это тоже воздух, которым мы дышим. И нужно, чтобы этот воздух был чистым.

И другое. Мы привыкли говорить о нашем читателе в превосходной степени. Но посмотрите, что читают, например, в метро, в автобусах, спрашивайте, что смотрят по телевизору? В издательских планах, на кино- и телеэкранах все больше места занимают детективы. Кажется, к счастью, выдохся, наконец, этот безразмерный, не один год тянувшийся сериал «Следствие ведут знатоки». Где они только не копались, эти знатоки: и на свалке, и бог знает где! Единственно, куда не заглянули, так это в человеческую душу, не коснулись тех подлинных проблем, которыми жила страна, жил и живет народ. А язык, язык персонажей! Это не язык, это, по определению Булата Окуджавы, «текст слов». И вот такое с воспитательными, что ли, целями (только вот вопрос: кого и как это воспитывает?) передавалось на всю страну, чтобы смотрели и слушали всенародно, тратили на это вечера. Впрочем, может быть, я поспешил, говоря в прошедшем времени? Может быть, выпекается новая серия?

А теоретические рассуждения, скажем, о социальном значении романов Хейли! Ну не смешно ли! Пощекотав публику умело выстроенным сюжетом, видимостью неполадок и проблем, Хейли всякий раз утверждает, что в том благословенном обществе, в котором он живет, все, все в конечном счете устраивается к лучшему? И нам тоже потребовалось в это уверовать? Его и в Америке-то всерьез не принимают, этот «бестселлер», но как обрадовались ему, когда он посетил наши города и веси, с какой охотой интервьюировали его. И он рассуждал о том, что время все расставит по своим местам, что не только его, Хейли, значение, но и значение Чайковского когда-то было понятно не сразу... И это печаталось не в разделе «нарочно не придумаешь». Как видите, нам мало собственных ремесленников, нам иноземные потребовались. Не слишком ли увлеклись мы легким, бездумным чтением, детективами, лжеисторическими сочинениями, в которых серьезнейшие события отечественной истории подаются в альковном духе?

Нельзя допускать, чтобы оскудевала природа, мелели

реки, засорялись воды. Но в равной степени нельзя допустить, чтобы мелели души, оскудевало в человеке нравственное начало.

Разумеется, никто не против острого, захватывающего сюжета. Но сюжет для писателя — средство, а не цель. Многие главы романа Чингиза Айтматова «Плаха» построены почти по законам детективного жанра. Но какая глубина мысли, какая сила чувства! Читаешь о волчице, а тревога, а скорбь за человечество. Это книга о самом главном, в ней есть сцены, которые станут классикой.

Так вот, по моему убеждению, читателя надо не захваливать, а воспитывать. И тут многое упущено и запущено. Помню, шла уже война, был июль или август 41-го года, и объявили внеочередной набор в летное училище: готовился ускоренный выпуск. Мы с моим другом Димой Мансуровым прошли в Воронеже медицинскую комиссию, ждем, надеемся, и вдруг оказывается — ускоренный выпуск отменили. Как так? На фронте тяжелое положение, надо сейчас всем на фронт. Но среди многого, что совершалось впопыхах и стольких жизней стоило, кто-то сумел подумать спокойно и трезво: не месяц война продлится и, может быть, не год, недоучившиеся летчики — это не воины, а жертвы. В критические дни подумали о будущем.

Вот и нам сегодня, когда за многие годы скопилось столько проблем, требующих немедленного решения, нужно думать и о том, что будет в отдаленные сроки. Надо имеющимися силами воспитывать учеников, но одновременно готовить учителей, которым предстоит воспитывать грядущие поколения граждан нашей страны. Одним словом, решать срочные сегодняшние проблемы, но одновременно закладывать фундамент будущего. Широкое гуманитарное образование необходимо не только гуманитариям. Обществу нужны знающие работники, но обществу нужны и творцы. Нельзя, чтобы часть мозга, не находящая применения, постепенно атрофировалась.

Возвращаясь к началу нашего разговора, хочу сказать, что все эти подделки под литературу усыпляют мозг и душу, не развивают, а навевают сон золотой. Это своего рода сфера обслуживания и, надо сказать, навязчивая сфера обслуживания, умело навязывающая свои услу-

ги и вкусы. Среди неискушенных читателей она распространяет взгляд на искусство, как на нечто себе подобное, как на потребительскую ценность, усиливает в обществе потребительские настроения.

Но хочу сказать о значительных произведениях прозы последнего времени. И в первую очередь это — «Плаха» Чингиза Айтматова, это «Пожар» Валентина Распутина, это «Карьер» Василя Быкова.

— Но мы знаем и другое: до недавних пор многие талантливые произведения лежали под спудом, их не печатали. И некоторые вещи, даже интересные, талантливые, устаревают.

— А вы знаете, я с вами не согласен, талантливые вещи не устаревают. Да, конечно, дорога ложка к обеду, очень жаль, что, скажем, роман А. Бека «Новое назначение» пролежал двадцать лет. Но вот в конце 86-го года он был напечатан в нашем журнале. Устарел роман? Ничуть. Он звучит очень современно.

Я, разумеется, не за то, чтобы книги лежали годами, чтобы судьба писателя складывалась нелегко. Слово, сказанное вовремя, будит общественную мысль. Но подлинно талантливые книги содержат в себе не только злободневные, но и вечные вопросы. Это правильно сказано: рукописи не горят. Но и не старятся, если речь об искусстве.

И второе, что хотелось бы сказать. Сейчас нередко слышишь разговоры: напечатают то, что ждало своей очереди, и дальше? А дальше — новые талантливые произведения писателей известных и неизвестных, новые имена. Они есть.

— Значит, можно сказать, что наступило время нравственных сдвигов, время новых талантов, время Литературы с большой буквы?

— Наступает. Для великих дел нужна энергия всего народа. И литература должна помочь изменить нравственную атмосферу, изменить мышление общества, помочь в борьбе с равнодушием, сделать перестройку необратимой. Но немало людей, кому даны сейчас права и возможности, ждут, испытывают некую растерянность: это что же, мне вот так самому и решать? И отвечать? И сослаться не на кого? По-прежнему хотят, чтобы всякий раз и по всякому поводу что-то разъясняли, давали до-

полнительные указания, чтобы кто-то над нами брал ответственность на себя. Она всегда очень удобна, эта дозволенная смелость. Насколько проще, если за тебя разрешат, запретят, а ты либо поприветствуешь, либо многозначительно намекнешь на некие высшие силы, которые... хотя лично ты, мол, за. Оказывается, многих эта игра устраивала, очень была она привычной. Но свободы без ответственности не бывает и не должно быть, надо приучаться брать ответственность на себя. Так подобает, так честней. Оттого-то я и говорю: «наступает». Ибо без нас без всех, без каждого из нас ничего не совершится и не наступит. Это относится и к редакторам журналов.

— Вот вы, Григорий Яковлевич, произнесли слова «редактор журнала», и у меня сразу возникло к вам несколько вопросов. Как вы решились стать главным редактором крупного журнала? Что привлекло вас в новом амплуа? С какими трудностями вы столкнулись в работе, в поисках новых интересных произведений?

— В общем-то, действительно, надо было решиться. Никаких должностей никогда я не занимал и не стремился занимать. Я писал книги, это — главное дело моей жизни. Но сейчас время такое, когда, как говорится, надо браться за гуж и не говорить, что не дюж. И надо сказать, что редактор журнала — это не должность, не служба, не пост. Это совсем другое. И, оставив начатый роман, я непрерывно читаю рукописи, огромное количество рукописей по принципу «в грамм добыча, в год труды», чтобы составить портфель журнала. А еще нужно было сформировать новую редколлегия. Впрочем, всех «нужно» не перечить.

За эти месяцы я смог убедиться в том, что подозревал и ранее: скромней, достойней всего ведут себя одаренные люди. Но каждый день я принимаю авторов, которые сами идут впереди своей рукописи, грудью стараются проложить ей дорогу. Надо ли так делать? Этично ли? Рукопись не дитя, талантливой книге сегодня все рады.

Ну и, конечно, не просто отказывать человеку, во всяком случае, для меня это не просто — отказывать человеку, которого ты уважал по прежним его работам. Ну неудачна вещь, с кем не бывает? Но имя-то дороже. Имя в литературе трудно заслужить и легко потерять. Это касается и авторов, и журнала: трудно заслужить доброе

имя, легко утратить. И не только напечатанными рукописями воспитывает журнал, но и своим поведением. А потому как бы ни было трудно, нельзя снижать критерии, для одних подымать планку, перед другими опускать. Это непозволительно.

Сейчас на дворе, я бы сказал, удивительное для литературы время. Не напечатай мы роман Бека, его напечатали бы другие журналы. Но когда мы печатали этот роман, все та же группа лиц, хоть и постаревших на двадцать лет, прежними методами пыталась оказывать на нас давление, требовала, чтобы им дали заново ознакомиться с романом, требовали запретить печатание романа. Приходилось объяснять, что мы живем в конституционном государстве, где есть законы, равнообязательные для всех, есть авторское право. И если бы даже редакция хотела, она не имеет права без согласия автора давать его рукопись читать частным лицам.

На этом месте нашего разговора я остановил себя на мысли, что мой собеседник, в сущности, ничего еще не сказал о себе, о своем творчестве, о своей насыщенной множественностью интересных событий биографии. Ведь я вел беседу с известным писателем, мастером слова, без книг которого нельзя представить современную военную прозу, как, впрочем, и всю литературу наших дней. «Баклановский угол зрения на войну и воюющего человека,— писал критик Игорь Дедков,—его картины фронтового быта, поэтизация всякого мгновения жизни как противоядия смерти произвели в свое время сильное впечатление». Василь Быков не раз говорил о влиянии на свое творчество баклановской прозы; она же помогла формированию другого интересного писателя наших дней Вячеслава Кондратьева. Многим читателям запомнились и невоенные произведения писателя. Поэтому я решил спросить вот о чем: есть ли вещи, которые не удались? И если да, какие?

— Не удались все ранние вещи, я не включил их в собрание сочинений. В общей сложности это примерно тридцать печатных листов: повесть, рассказы, очерки. И никогда у меня нет уверенности, что удастся новая начатая книга. Вроде бы уже опыт есть, а всякий раз будто впервые проходишь этот путь длиною в несколько лет: день по дню, страница за страницей. И до самого конца

не знаешь, не зря ли весь труд. Туда идешь, хочется скорей донести до места, свалить с себя этот груз, торопишь время. А завершилась книга — и жаль, что время это кончилось, интересно было жить. Так каждый раз. К сожалению, сейчас образовался у меня длительный перерыв, и чувствую себя непривычно.

— Вы помните себя 22 июня 1941 года?

— Очень хорошо помню. Разве забудешь этот день? Но вспоминать его не люблю.

— А 9 мая 1945 года? Каким он всплывает в памяти?

— Мы были тогда в Австрии. Как обычно, зарылись в землю на высотке, на переднем ее скате, обращенном к противнику: артиллерийский наблюдательный пункт. И вдруг передают по телефону: война кончилась. Знали, что вот-вот, скоро, а все равно застало нас врасплох. Осталась фотография, сделанная в тот день. Но это мы уже позируем на бруствере. Четыре года ждали этого дня, а все равно в первый момент и поверить было невозможно. Шутка сказать: война кончилась! Тут и радость, тут и мысли о тех, кто не дожил. Но лучше всех об этом сказал Твардовский:

В тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счет салюта,
В тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута.
В конце пути, в далекой стороне,
Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые...

— Значит, между этими двумя датами вместились та часть вашей жизни, которая дала материал для ваших будущих произведений. Осмелюсь спросить вас, хотя ощущаю некую банальность моего вопроса: скажите, без войны вы стали бы писателем или нет?

— И вопрос такой, и ответ на него — из разряда гаданий. Я только знаю одно: не проживши жизнь, писателем стать нельзя. Это, разумеется, не означает, что каждый проживший жизнь, каждый опытный человек — литератор. Записать свою жизнь может каждый, другой вопрос, что он увидел в этой жизни.

Но факт остается фактом: война породила целую литературу. Великие события в жизни народа порождают

значительную литературу. Если мы оглянемся назад и посмотрим, как складывалась русская классическая литература, то мы увидим, что, как правило, она отражала или сами великие события в жизни народа, общества, или предощущение этих событий. Я бы даже поставил в особую заслугу литературе, что в первую очередь именно она предощущает, предчувствует значительные события. Не буду приводить примеров, их много.

— А как быть тем, кто не воевал на фронте, но пишет о войне, как быть молодым литераторам? Тридцатилетним, сорокалетним? Разве можно закрыть для них тему войны?

— Не надо ничего ни открывать, ни закрывать.

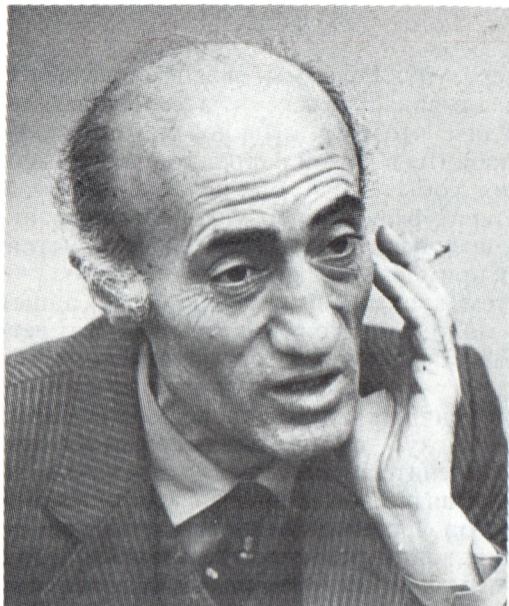
И от того, что я скажу — писать, не писать, — ровным счетом ничего не изменится. Но опыт показывает, что самые значительные книги о войне написаны ее участниками. А вслед за книгами фронтовиков пришла очередь тех, кто были во время войны детьми, подростками. Так появились, например, книги В. Семина, В. Козько, так написан роман Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая». В основе каждой из этих книг — собственное пережитое, словом, то, о чем человек не мог не рассказать.

Нынешние молодые литераторы (впрочем, тридцатилетние, сорокалетние — это не такие уж молодые, это зрелые люди), думаю, прежде всего должны рассказать о своем времени. Неужели мало тем? Такие события совершаются в нашей стране, такие события происходят в мире. Создается новое мышление атомного века. А вы хотите, чтобы след первой телеги влек за собой все остальные.

Неужели, скажем, Чингиз Айтматов или покойный Юрий Трифонов, посмотрев документальную хронику, почитав книги, не смогли бы написать что-то о войне? Наверное, смогли бы. Но каждый из них стремился сказать свое слово, то единственное, которое без него не будет сказано. И это сделало Айтматова — Айтматовым, Трифонова — Трифоновым.

Каждое поколение, каждый писатель приходит со своим видением мира, приходит сказать свое. Вполне возможно, что со временем из исторического далека заново взглянут на события Великой Отечественной войны. Но это будет уже иная, историческая литература.

Октябрь 1986 г.



Грант МАТЕВОСЯН

ЕСЛИ ПАМЯТЬ В ТЕБЕ — ЗНАЧИТ, ГОРИШЬ ТЫ

Человек и животное отличаются друг от друга памятью, между человеком и скотиной стоит память, знаешь — нет? Память в тебе, значит, горишь ты, значит, человек со своими счетами, со своим беспокойством, а нет в тебе памяти — вот в поле корова пасется, она беспамятная. Вот дерево стоит, если у него есть память, то и у дорогих твоих родичей она есть. Твоих режут, под корень срубают, обделяют, насмеваются над ними — твои бегут от такой памяти, твои сбегут, все забудут и опять обделенными

будут, и опять у них не будет памяти, потому что они боятся против насмешки с кулаком пойти и на лишения еще пущим лишением ответить. Говорите — любовь, говорите — любим, любите. А что вам еще делать, любите, потому что мужества в вас нет, чтобы кусаться, бить, обделять. Чтоб ненавидеть. Вы боитесь ненавидеть, вы вашу любовь платком сделали, завязали ею глаза, потому что боитесь взглянуть в упор и возненавидеть — вдруг увидят, что ненавидите, возьмут и пристукнут. Убьют».

Из рассказа Г. Матевосяна «Твой род»

Прочтя этот рассказ, и не только его, все другое, созданное Грантом Матевосяном, я не мог не отметить сложную, своеобразную, удивительную манеру, и мне захотелось встретиться с автором, узнать его поближе. И вот я в Ереване.

В Москве мне говорили о нем одно и то же: самобытный писатель, личность, замечательный и добрый человек.

Так оно и оказалось. Он рассказывал об Армении, ее истории, ее сегодняшнем дне. Мы ездили с ним в Гарни и Гегард, святые для каждого армянина места, бродили по Еревану, засиживались за полночь в его квартире.

Прочитав о Матевосяне главу в книге «Статьи из романа» писателя Андрея Битова, хорошо знавшего его в молодости, я понял, что он почти не изменился. Так же по-крестьянски совестлив и мудр, ни особый весельчак, ни собеседник. Так же много пьет кофе и мало спит по ночам. Так же горячо, только, наверное, еще горячее любит свою Армению. Так же пишет только о своей деревне, где провел юность и где сегодня доживают свой век его родные и близкие.

И так же основательно, почти медлительно создает он свои книги. Ему 52 года, а написано им только два тома, изданных в Ереване. На русский язык из них переведена половина. А между тем книги его не лежат на прилавках магазинов, его имя известно у нас в стране — он лауреат Государственной премии СССР. При мне раздался телефонный звонок из Союза писателей. Американские почитатели таланта Матевосяна приглашали его в поездку по США. Мне показалось, кстати, что согласился он неохот-

но. А между тем ему есть что сказать своему читателю — и нашему, советскому, и зарубежному. Ибо в произведениях Матевосяна, таких, как «Буйволица», «Ташкент», «Под ясным небом старые горы», «Мать едет женить сына» и других, отражен весь мир. Ведь каждый народ — человечество в миниатюре, в его судьбе преломляются извечные вопросы жизни и смерти, любви и ненависти, войны и мира.

И если бы армянское селение Цмакут было интересно лишь армянскому читателю, значит, тогда бы он не состоялся как художник, считает Матевосян.

— Я не хочу бросаться вопросами в безвестность. Я решительно не согласен с мнением, что писатель должен задавать вопросы. Но кому задавать? Времени, обществу, всевышнему? Или кому-то еще? Кто должен отвечать на эти вопросы? Так вот, в литературу надо войти ответами. Ответами!

— Но многие, и мы это особенно сегодня ощущаем, Грант Игнатьевич, не только не могут ответить на вопросы, поставленные временем, но и задать их, сформулировать.

— Да, пишущих много. В Армении тоже. Это раздражает. Это значит, что они не читают. Они не читают Льва Толстого, они не знают, что такое Пушкин. Мне кажется, что перо надо брать в руки тогда, когда ты готов стать... маршалом или... секретарем ЦК.

— То есть?

— Во все времена, я буду условен, в литературе мне нравится по-хорошему покровительственное заботливо-отцовское отношение к жизни, к людям. Не бунтарство, не злость, не злопыхательство, а озабоченность всем, что есть. Тревога за всех, за все. Вот у Нодара Думбадзе было что-то от такой позиции. Не надо быть бунтарем, оппозиционером. Тем более только ради оппозиции. Писатель должен быть Отцом. Всемудрым, всевидящим, всеочувствующим.

Хотя, бывает, спохватишься, сил в тебе больше нет, не хватает, и ты ничего уже не можешь, и хочешь только кричать, что тебе плохо, что тебе больно.

Иногда приходит разочарование, когда ты чувствуешь, что твое слово мало помогает людям. Когда вокруг происходят какие-то, ну что ли, мажорные собы-

тия, и ты должен таким же мажором ответить на них, но ты не можешь, не хочешь. Или ты видишь, что не так отвечаешь, не в такт. И хочется просто молчать. Но и здесь ты понимаешь, что это право дано другому, скажем, Шолохову или Маркесу.

— А может быть, и Гранту Матевосяну? Мне кажется, что для тридцати лет творчества вами написано немного — всего лишь два тома. Я понимаю, что дело не в количестве томов, но все же, почему?

— Пишется трудно. Не знаю, из-за чего так трудно пишется. Но я вижу очень много мусора, и я безжалостно выбрасываю его в сторону, потому что это лишнее не только ложно во мне, в мыслях моих, но еще и в жизни. Поначалу кажется, что ты сталкиваешься с настоящей жизнью: а потом оказывается, что это плохо поставленный спектакль. Так много ложного в твоих писаниях, что тебе самому, не то что читателю, скучно перечитывать, хотя вроде бы отражена чистейшая жизнь. Ложного потому, что кто там у тебя изображен, Христос или, быть может, Сталин, или кто-то еще, или что-то другое, но изображаемое тобой уже и есть режиссура. Ты это чувствуешь, и надо дойти до такого состояния, которое можно назвать откровением, ибо без него ты не можешь идти дальше. Ибо все остальное театр.

— Помните, у Верлена: все прочее — литература...

— Да, да, это точно сказано, я говорю именно об этом. У нас так много в жизни, в искусстве, в культуре полуживого или вовсе не живого, так много полуремесленников, полуписателей, полуминистров, несостоявшихся людей, что каждая состоявшаяся личность в любом ремесле, если он хорошо это ремесло исполняет, каждая завершенность меня удивляет. Я вижу, что жизнь здесь не напрасна, она присутствует. Именно с этих позиций я принимаю тех в искусстве, кого мы подчас несправедливо пытаемся отместить.

Прошлым мастерам была свойственна уверенность во всем, что они делали, творили, а сейчас какая-то растерянность, я вижу полуслепых людей, вошедших в огромный мир, но не могущих овладеть им, управлять, влиять на него.

— Я знаю, что ваш прадед полтора столетия назад на

пустом месте основал село. Он, наверное, был сильной личностью? Расскажите о нем.

— Он появился однажды в этих краях с топором в руках. Разложил костер, чтобы отдохнуть, согреть воды. И был убит фразой маленькой наивной дочки: «Отец, здесь нет трубы. Как же будет подниматься дым?» Эта фраза передавалась как легенда из поколения в поколение. Мула привязали к дереву, мать доила корову, девочка сидела у костра. Чтобы построить дом, надо было искать материал. Человеком он был совестливым, поэтому не рубил на постройку красивые прямые стволы. Он проложил дороги, открыл родники, сделал хлеба, выдолбил чаши, напек кирпичей. И стал заместителем бога на земле...

Через много-много лет внуки спросили его: «Почему ты выбрал именно это место в горах, вдали от жилья?» И он ответил: «Я появился здесь с одним топором, а сейчас у нас сотни овец, дюжина буйволов, двадцать коров, хороший дом, в нем есть достаток... Прекрасное это место, сынок».

И действительно, он создал здесь свое государство, свою страну. После той девочки родились еще пять сыновей, и каждый из них будто министр мясной и молочной промышленности того государства. И была там еще королева — хозяйка с деревянным половником в руках. Все невестки ей подчинялись.

Через десять лет другой род появился. Жизнь текла вдали от суеты и городов. Но вот большой мир забрал одного из мужчин на войну. Он стал грамотным, выучил русский язык и вырезал свое имя на буковом дереве: «Есаи». Прекрасные у всех у них были имена: Аветик — добрая весть, Арутюн — возрождение, Акоп, Овсеп, Григор...

Я, слабый городской человек, Грант Матевосян, иду на поклон к такому сильному человеку, к моему дяде. Крепкому, инициативному. Энергия в нем кипит, он может руководить своей семьей и селом, и страной, если надо будет. Потому что он крепко сидит на земле. На своей родной земле. В нашем потерянном и растерянном мире нужны такие люди.

— Грант Игнатъевич, в ваших повестях и рассказах так много естественно жизненного, непридуманного, так

много народной мудрости, наблюдений, что вы кажетесь мне человеком другого — более старшего поколения! А ведь вы не стары!

— В какой-то мере я счастливый и несчастный человек. Да, я могу судить о прошлых поколениях, потому что половина моей жизни протекала рядом с ними. Эти поколения проводили меня до сегодняшнего дня. Так что в каком-то смысле я часть ушедшего навсегда. Часть его опыта.

Не легко беседовать с Грантом Матевосяном. Не потому, что несовершенен его русский язык, не потому, что медлительность его речи переходит нередко в запальчиво извергаемое нагромождение слов. А потому, что мыслит он удивительно необычно. Плотно, спиралеобразно, неожиданно. Мне все время кажется, что в беседе с Матевосяном, так же как и при чтении его книг, можно не увидеть или не почувствовать какого-то второго или третьего подтекста.

Как ярко народная мудрость сочетается в нем с приобретенным знанием. Верно заметил Андрей Битов: «Именно крестьянин в нем интеллигентен, а не человек из крестьян, получивший высшее образование».

— Прямо на глазах в последние пятнадцать — двадцать лет село Ахнидзор, например, основанное полторы сотни лет назад моим предком Ованесом Матевосяном, сколоченное им, как ковчег, крепко и надежно, эта вековая обитель людская, стало разваливаться, идти ко дну. С уходом старой «патриархальной» закалки уходит очень многое, очень важное — чувство хозяина земли. Хозяина пашни, хлеба. Когда-то я мог сказать, что моя жена моложе матери на тридцать лет, они повторили друг друга, но вот моя дочь только внешними чертами похожа на теток, во всем остальном она их не повторяет. Пришла другая среда, иное поколение выросло в этой другой среде.

Я весь вышел оттуда, из той среды. Я воспитывался там и я должен рассказывать о них, о моих праотцах и дедах. Измениться я уже не в силах. Более того, если бы я чувствовал в себе сто лет жизни, я, как правдоискатель, занялся бы новыми проблемами. Но времени у меня нет. Поэтому я должен найти о том поколении, об ушедшем, праведное, правдивое слово.

— Под тем поколением и той жизнью я вижу судьбу армянского крестьянина, селянина, труженика. Вы вышли из этой деревенской жизни и вы пишете о ней. Недаром критика относит вас к так называемым писателям-«деревенщикам». О самом термине спорить не будем, но любой читатель скажет, что основная тема ваших книг — жизнь села, современного или прошлого. А вам совсем не хочется писать о городе, о его проблемах и заботах?

— Однажды я отложил едва ли не единственный рассказ о городской жизни и этим же вечером начал писать очерк о родном селе. Это произошло неожиданно, и так же неожиданно я обнаружил, что та жизнь, о которой я хотел рассказать в одном своем очерке, эта жизнь достойна, чтобы о ней писать и писать. Рассказывать о городе интересно, ведь и моя жизнь, и тысячи других жизней складывают сегодняшний Ереван, но как мало сказано о деревне. Скажем, о земле Шолохов хорошо написал, он был очевидцем и участником событий, но он не заметил, как трагически начинают ссориться труд и человек. А ведь еще вчера они были в дружбе.

Кое-какие детали привносят в эту тему писатели моего поколения. У нас еще есть опыт и чувство. Но идущие после нас не в силах будут рассказать о крестьянине, который, условно говоря, складывался от первого века до девятнадцатого. Мы в этом смысле — могикине. И мы должны успеть еще кое-что осмыслить и рассказать.

Не рискую говорить о «деревенской» литературе в целом, скажу только о себе: я из рода Данилы. Помните, в «Войне и мире» был у Наташиного дядюшки в деревне такой охотник, он только один раз и появляется в сцене охоты. Толстой его заметил и как бы дал знать, что я, Толстой, и это могу: перевоплотиться в Данилу... Но ни Пушкин, ни Гоголь, ни Шекспир, ни Туманян, ни великая армянская демократическая литература не взглянули, мне кажется, на жизнь глазами Данилы. Ни один армянский писатель не вышел из крестьянства, они были крестьянскими сыновьями, но все-таки на вещи смотрели «дворянским» взглядом. Приметы у них деревенские, а вот взгляд — снаружи... А мы хотим смотреть оттуда, изнутри. Хочу рассказать о себе, о моем отце, который даже внешне на Данилу похож и краснел так же, как он, встретившись впервые с городскими девушками... И я

скажу, что Данила не беднее Пьера Безухова, что настоящий Пьер спит в Даниле.

Я намерен в иных современных литераторах, торопящихся писать на потребу дня и высокомерно уверенных в своей правоте и непогрешимости, найти черты князей и баев, нежели в бывших князьях искать штрихи современной холуйской литературы, а значит, литературы халтурной, поверхностной, однодневной. Я, к сожалению, и в сегодняшней жизни вижу штрихи не изжитой еще прошлой байской, рабской жизни. Иные черты современной жизни рассказывают мне о прошлом, помогая писать о нем.

— Я заметил, что женщины в ваших книгах — цельные, сильные натуры. Даже в подчинении мужчине, в забитости. Агун, например, из повести «Мать едет женить сына». Думаю, что это не случайно.

— Я сын всех этих женщин. Хочется матриархата. Мужчины теряют себя, слабеют. А женщины все так же сильны. Наверное, их обманом привезли в наш мир и наложили на их хрупкие плечи огромный невыносимый труд. Такие героические натуры не только у меня. Разве Настена в «Живи и помни» у Распутина не такая?

— Когда вы работаете, вами ведет форма или содержание? Иногда язык героев ваших произведений кажется усложненным, не всякий читатель готов к его восприятию.

— Но заданности в этом нет никакой. Быть может, из-за некрепкости руки этой смычки не всегда удастся достигать, и мои герои говорят моим голосом. Надеюсь, что если не завтра, то в будущем они будут говорить своими голосами.

Как хотелось бы помочь человеку найти свой дом, свой двор, свою семью. Чтобы все это не разрушалось. Ведь он хрупкий, человек. Хотя мы кладем его под атом, ставим перед ним нечеловеческие трудности и он выживает, но он хрупок, ему нужна семья, жена нужна, хозяйство, кошка нужна... корова... чтобы не стал он еще и горькой сиротой...

Матевосян в шутку заметил, что вся его «заслуга» в поисках союза формы и содержания лишь в том, что он нашел несколько правильных фраз и мыслей. Например, вот эта: «Они планируют свое прошлое и будущее, а наше поведение, как чужая лошадь, убегает из-под нас».

— Я слышал, что вы ведете довольно замкнутый образ жизни. А как же встречи с читателями?

— Я люблю встречаться с читателем понимающим. Когда собирается такой зал, для меня это подлинное счастье. В таком читателе я вижу единомышленника, соратника. Ведь писателю принадлежит только половина из созданного им, остальное— это отклик, это реакция среды, это огромный зал от Карпат до Тихого океана.

Когда меня спрашивают, чувствую ли я своего читателя, вижу ли его, я отвечаю, что вижу только опосредствованно, но не будет абсурдным сказать, что я пишу для Льва Толстого. Для Туманяна пишу, для моего младшего брата, прекрасного читателя, для Андрея Битова пишу, друга своего, пишу для нескольких умных писем, которые, я уверен, придут ко мне, и я лишний раз пойму, что все не напрасно.

— А жители условно названного вами селения Цмакут— неперспективного села, которое вы же и защищаете от гибели, ибо считаете, что нельзя губить те гнезда, из которых народ черпал силу во все времена,— как они относятся к вашим писаниям? Они-то уж вас понимают, наверное, ведь все вами написанное— о них.

— Они просто воспитанные, вежливые люди, они почитают то, что почитает город, они подчиненные в этом смысле, и я не такой дурак, чтобы думать, что они будут меня читать и понимать, и любить. Никогда такого не будет. Все-таки я для другого читателя. Нет, наивно думать, что я написал, а они прочитали.

— У вас в Ахнидзоре гостил Уильям Сароян. О чем вы с ним говорили, это очень интересно, ведь Сароян, армянин по происхождению, крупнейший американский писатель XX века?

— Обо всем... Я думал, думал о том, что человек может быть великим, свободным, как святилище. И думал не из «отсталости» моего положения и моего воспитания. Я читал Толстого, знаю Шекспира, был знаком с превосходным актером Папазяном, богом сцены, и это все было для меня взлетом духа. Но Сароян выше... Своим естественным дыханием, свободой выражения мысли и чувства. Я перед ним чувствовал себя провинциальным поклонником. Для него так естественна высокая духовная фантазия. Ведь человек, оказавшись то ли в

плохом расположении духа или в силу каких-то обстоятельств жизни, становится часто тупым, низким. Сароян был во всем — в деталях, в мелочах, в нюансах поведения, существования — высоким, точным, щедрым. Когда он выступал по телевидению в Ереване, владея не более чем двумястами пятьюдесятью словами по-армянски, он при этом выразил весь мир, опутал весь мир, какая тонкая была в нем суть, какая точность выражения мысли. Он предстал передо мной великим литературоведом, общение с ним было большим для меня подарком.

Он очень любит Хемингуэя, Гоголя, особенно «Шинель». Я спросил Сарояна, о чем он пишет, когда исчерпывается материал, думает ли он о запасе материала, и он мне ответил, этот умный, гениальный старик, он ответил: «Материал — это я сам. Пока я есть, есть и материал для слова».

— А кто или что, в таком случае, оказало на вас наибольшее влияние? Я имею в виду прежде всего культуру армянскую.

— Я бы ответил шире, чем вы поставили вопрос. Кто-то из русских писателей очень точно сказал, что время, в котором ты живешь, надо относить к понятию Родины, что моя Родина — это мое время. Ну а в другие времена — наверное, XX съезд партии, дух свободы и раскрепощенности после него. Потом — дух белого хлеба, когда его стали продавать без очередей. Потом — когда вернулся из Сибири Гурген Маари. Потом — когда вышли полным изданием книги стихов Егише Чаренца. А если со школьной скамьи, то это только один — Ованес Туманян. С годов младенчества остался во мне он один.

— Как вы воспринимаете то обновление жизни, которое идет сейчас у нас в стране? Что бы вы считали главным в обновлении жизни села, вашей родной деревни?

— Надо вернуть крестьянину уважение к себе, уважение к тому, что он делает. Изменить отношение к труду. Даже если этот труд не всегда приносит быстрые плоды и растрачивается зря. Все равно что-то остается. Остаешься ты, превосходный труженик на земле. Надо работать, а работа воздаст тебе. Спасет человека только труд, только работа. Работа с лопатой в руках. Иначе не будет ничего. Нужен трудный хлеб. Если же ты не можешь

накормить самого себя, дело плохо. В Армении каждый клочок земли на вес золота. Надо представлять, что такое горный лес, что такое горы. Как же надо их охранять, любить, беречь! Даже горы.

Иногда можно слышать, что нынче народ вроде бы возвращается в деревню, едут на выходные, покупают дома, строят дачи. Пусть, дескать, временно, но приезжают. Я хотел бы спросить каждого, чтобы он откровенно мне ответил, для чего он возвращается, приезжает, наведывается. И он ответит: копать землю, растить плоды. А дальше? Чтобы потом купить машину. Купить машину... Вот в чем трагедия. Люди хотят легкой жизни. Но никто не думает о трудном, о горьком хлебе. А думать надо. Думать надо о том, что ты родился там-то и там-то и ты туда должен вернуться навсегда. В человеке должно быть чувство малой родины, чувство того, что ты хозяин здесь, на этой малой родине. На этом пятачке, на этом участке. Но не гость. Ты гость в другом месте, в других городах и весях. Там ты чужой. А здесь, где ты родился, ты здесь и хозяин, и работяга, и князь, и холоп. Превосходный холоп на земле отцов и дедов.

Опасно меняется, прямо на глазах, психология человека. С одной стороны, хорошо, а с другой — слишком ответственно чувствовать себя хозяином огромной территории, которая называется СССР. В случае чего тебя защитят, как гражданина Советского Союза, но, с другой стороны, в тебе появляется другое — твое безответственное отношение к той малой земле, к той крохотной отчизне, на которой ты родился и вырос.

Вспоминается мне в связи с этим одна туманяновская притча. Страшная была засуха, не уродился хлеб, хотя крестьяне честно обрабатывали землю. Что делать? Пошли в соседний более богатый район. Может быть, думали они, там не было такой беды. Но там тоже хлеба не оказалось. Тогда они пошли еще дальше, но и там беда не обошла людей. И крестьяне поняли, что беда пришла на всю землю.

Сегодня же мы избалованы. Мы уверены, что помощь придет сама по себе. О земле можно забыть. Одни уверены, что хлеб растет на Кубани, и Кубань не оставит при случае в беде, а кубанцы, я уверен, думают иногда, что

хлеб растет во Франции или в Канаде, и, чего там, при случае привезем хлеба из чужой земли.

А я вижу спасение в одном, в том азербайджанце или армянине, который все еще доверяет коню. Это кажется отсталостью, консерватизмом веет от такой мысли, но это святая консервативность. Тот, кто надеется на коня, он ответствен перед своей семьей, перед своим колхозом, перед государством. Он накормит семью, поделится с колхозом, поможет стране.

Вы удивляетесь, а как объяснить, что деды с полян вывозили в моей деревне по две тонны сена, а сейчас с этих же полян — ни клочка?

Сегодня надо работать, с тем чтобы потом увидеть результат. Но думается мне, что здесь надо мыслить и видеть поколениями. Как один деятель сказал другому при каких-то чрезвычайных обстоятельствах: вы нас не поймете, нас поймет поколение, которое сейчас в детсаде. Перестройка сознания — это тяжкий труд, каждодневный, дотошный, неторопливый.

Обновление! Но есть факты, не дающие сомкнуть глаз. И мы знаем о них: миллионное воровство, приписочный обман государства, министр-преступник, прием в партию за определенную мзду. Волосы седеют!

Если же говорить о литературе, то ускорение здесь — это прежде всего уважение к личности. К личности писателя. Творца. Правовидца. Надо уметь его выслушать, понять, даже если он и говорит иногда не сразу понимаемое другими. Уважать надо его и смотреть на него не как на материал, а на цель. Настоящий писатель — это всегда большая цель. Он необходим обществу как воздух. Он первый понимает, что происходит и что будет происходить. Так было всегда и в России, и в Армении...

— Грант Игнатьевич, если бы я попросил вас написать автобиографию, как бы вы ее начали?

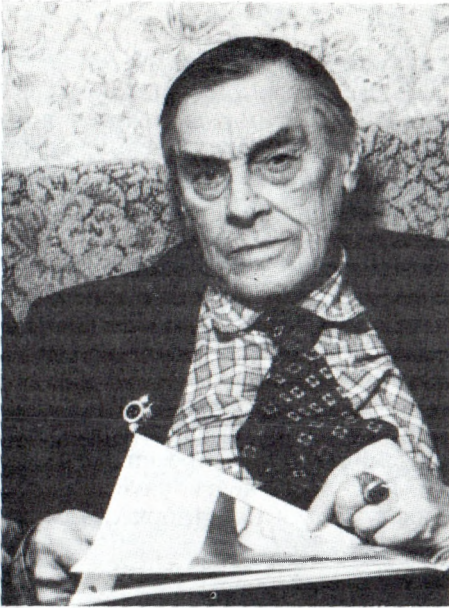
— ...Родился я в 1935 году. Облик этих и последующих пятнадцати, двадцати и даже тридцати лет моей жизни гораздо приближен к сегодняшним нашим дням. Я пахал землю, косил траву, помогал родиться теленку, прививал дерево — чтобы всего не перечислять, скажу сразу: если бы повторилась легенда с потопом, я, как Ной, смог бы возродить на земле большую земледельческую и скотоводческую культуру... И если бы что случи-

лось с памятью человечества, я смог бы по образцу и подобию своих односельчан, по их тогдашнему образу жизни слепить наново кодекс человеческой нравственности...

Я бы хотел придумать множество прекрасных людей, и тогда бы не осталось места для плохих; я бы хотел придумать время действия для моих повестей — тогда бы в них не было места войне...

А я бы хотел еще долго разговаривать с Грантом Матевосяном. Но на этой высокой ноте и закончилась моя беседа с удивительным человеком, мыслителем, крестьянином, превосходным «холопом» литературы. Автором прозы, которой раньше не было.

Январь 1987 г.



Арсений ТАРКОВСКИЙ

СУДЬБА МОЯ СГОРЕЛА МЕЖДУ СТРОК

Он вскрикивал неожиданно и протяжно. К этому нельзя было привыкнуть, и каждый раз я не знал, как себя вести: молчать, сочувствовать, извиняться.

— Фантомная боль — ощущение отсутствующей ноги, — пояснила Татьяна Алексеевна. — Два года, с зимы сорок первого по зиму сорок третьего, Арсений Александрович пробыл на фронте. И почти все время на передовой.

В Переделкине, в Доме творчества, в маленькой комнатке живут сейчас поэт А. А. Тарковский и

переводчик Т. А. Озерская, его жена, адресат многих его лирических стихотворений. Я ненароком вторгся в их размеренное бытие и в течение десяти вечеров, мучая вопросами, слушал рассказы о жизни и работе в литературе одного из лучших наших поэтов.

Больше говорила Татьяна Алексеевна. Половина жизни Арсения Александровича прошла на ее глазах, и мне показалось, что она знает о нем почти все. Самому ему говорить было трудно: недавно перенесенная болезнь отняла много сил. Он быстро уставал, и тогда мы медленно поднимались с ним на второй этаж, где в кафе заваренный на травах чай возвращал ему чуточку бодрости.

Биография любого человека интересна современникам, биография такого человека, как Арсений Тарковский, интересна вдвойне. Ибо все в ней волнует, заставляет оглянуться назад, задуматься над творчеством художника, написавшего строки:

Я бессмертен, пока я не умер,
И для тех, кто еще не рожден,
Разрываю пространство, как зуммер
Телефона грядущих времен.

...Гражданская война. Завладев городом Елизаветградом, атаманша Маруська Никифорова допрашивала пленных в штабе, расположенном в бывшем кавалерийском училище. Бронепоезд стоял на станции. Город оцепенел, устав от голода и войны. Все знали, что атаманша мстит за смерть своего мужа.

Она сидела в кресле, опустив голову. Короткие прямые волосы, свисая, закрывали лицо. На столе — «маузер». За спиной — охранник в тельняшке. Пленных предварительно содержали в камере, а потом приводили на допрос.

Перед атаманшей стоял мальчик лет двенадцати. Его привел здоровенный казак. Среди задержанных был и старший брат этого мальчика, бросивший бомбу в атаманшу.

— Я же сказала, не брать хлопчиков, — приподняла голову Маруська. — Разобраться и доложить!

Потом открыла ящик стола, достала ярмарочный виной, обернутый серебрецом леденец и, поглаживая по голове, протянула ему: «Гарный хлопчик...»

Казaku, приведшему ребенка, было дано распоряжение довести его домой и взять от родителей справку, что довел благополучно. Проходя коридорами кавалерийского училища, где мальчику было все так знакомо, ибо здесь преподавал математику его дядя, казак чертыхался и, приговаривая «набрыдло всё», как-то жалобно стонал.

На стук в окно выглянула мать:

— Где же ты был, я весь город обегала... Не сидится дома, смотри, что творится кругом.

Мальчик признался, что был в плену, но постыдился сказать, что у Никифоровой, а казак многозначительно добавил: «Атаманша». В записке, которую дала казaku сельская учительница Мария Даниловна, говорилось: «Арсения Тарковского, ученика 3-го класса гимназии Крыжановского, доставили домой и проводили благополучно».

Отец будущего поэта Александр Карлович, самый любимый герой всей его жизни,—нароdoволец-восьмидесятник. Более десяти лет протомился он в ссылке за Якутском, где вел обстоятельные записи об этой земле, ее людях, обычаях. О тех, кто волею судеб оказался рядом с ним. Когда в 1920 году буденновская армия взяла Елизаветград, Александра Карловича пригласили в особый отдел Первой конной армии, чтобы «объясниться» по поводу посылки и письма, пришедших на его имя из Польши. Письмо гласило: «Дорогой Саша! Я теперь неплохо устроился, я маршал Польши. Целую тебя. Приезжай, привози семью, коли женат. Твой Юзеф». «Судьбою правит случай» — бывший ссыльный припомнил человека по фамилии Пилсудский. Неужели это он?

Времена были крутые, и Александр Карлович понимал, что значит получить вести от руководителя военными действиями против Советской России со стороны Польши. Он догадался взять с собой письмо Ленина, в котором Владимир Ильич, лично знавший А. К. Тарковского, просил его написать воспоминания о «Народной воле». Письмо это и спасло ему жизнь. Комиссар чуть ли не с почестями отправил адресата посылки восвояси.

— Письмо Ленина я отдал в Музей Революции сразу же после смерти отца, еще в двадцатые годы,—сказал Арсений Александрович.

В 1925 году А. Тарковский окончил профтехшколу. Небольшой украинский городок слыл центром культурной жизни. Сюда приезжали известные композиторы, музыканты, писатели. Выступал с лекциями Бальмонт. Одно из детских потрясений будущего поэта — вечер знаменитых российских поэтов Игоря Северянина и Федора Сологуба. Шестилетнего мальчика родители взяли на этот вечер. До сих пор Арсений Александрович не может понять, почему ему понравился именно Сологуб. Но случай этот не остался без последствий. Юноша, всерьез начавший «жить стихом», решается на поездку в Ленинград.

— Мне очень хотелось еще раз увидеть Сологуба, поблагодарить его за стихи, сказать, что я помню его с детства. С трудом в незнакомом мне городе нашел я квартиру знаменитого поэта. Когда я вошел к нему, он был грустен и одинок. Не заживала душевная рана после гибели любимой жены и друга Анастасии Николаевны Чеботаревской. За стеной назойливо играли гаммы. Я спросил Федора Кузьмича, не удручают ли они его. «Нет,— ответил тот,— мне не так одиноко». Поставили три прибора. Третий для той, ушедшей из жизни,— такой в этом доме был ритуал.

Сологуб расспрашивал меня о Елизаветграде, о родителях, о любимых поэтах, долго не отпускал и лишь под конец неожиданно спросил: «А сами-то вы стихов не пишете?» Я признался в своем «грехе». Он попросил почитать что-нибудь и, выслушав, вынес приговор: «Это очень плохие стихи, молодой человек, но вы не теряйте надежды, пишите, быть может, что-нибудь у вас и получится». Эти слова запомнились мне на всю жизнь.

Когда я уходил, хозяин дома подал пальто. Я смутился, а он пошутил: «Молодой человек, я подаю вам пальто не из подхалимства, а потому что я член добровольного общества взаимного подавания пальто». И уже почти вдогонку он предложил мне свою книжку, но взять ее я не посмел. Больше мы не встречались.

* * *

О дружбе Тарковского с Мариной Цветаевой в короткий отрезок времени — от ее возвращения на Родину до

отъезда в эвакуацию — ходят легенды. Одна из них окрашена в романтические тона. На самом деле все было иначе. И проще. Через переводчицу Яковлеву Тарковский послал Цветаевой книжку стихов переведенного им туркменского поэта Кемине. Перевод ей очень понравился, и она написала в записке: «Вы все можете». Состоялось личное знакомство, перешедшее в пылкую, но кратковременную дружбу. Марина Ивановна жила тогда в маленькой комнате невдалеке от Главпочтамта. Он приходил к ней в гости, и они отправлялись гулять. Цветаева любила ходить пешком, используя для этого любую возможность. Шагала она удивительно быстро, и спутник едва поспевал за ней. Беседовали в основном во время прогулок. Она подолгу рассказывала о своей любимой Праге, о парижской жизни, о превратностях судьбы.

Однажды Тарковский застал Цветаеву за стиркой белья. Позже родилось стихотворение:

Марина стирает белье.
В гордыне шипучую пену
Рабочие руки ее
Швыряют на голую стену.
Белье выжимает. Окно —
На улицу настезь, и платье
Развешивает.
 Все равно,
Пусть видят и это распятье.
Гудит самолет за окном,
По тазу расходится пена,
Впервой надрывается днем
Воздушной тревоги сирена.
От серого платья в окне
Темнеют четыре аршина
До двери.
 Как в речке на дне —
В зеленых потемках Марина.
Два месяца ровно со лба
Отбрасывать пряди упрямо,
А дальше хозяйка-судьба,
И переупрямит над Камой...

Во время одной встречи Тарковский прочитал Цветаевой только что сочиненное им стихотворение:

Стол накрыт на шестерых,
Роза да хрусталь,
А среди гостей моих
Горе и печаль.
И со мною мой отец,
И со мною брат.
Час проходит, наконец,
У дверей стучат.
Как двенадцать лет назад,
Холодна рука
И не модные шуршат
Синие шелка.
И вино поет из тьмы,
И звенит стекло...
Как тебя любили мы —
Сколько лет прошло.
Улыбнется мне отец,
Брат нальет вина,
Даст мне руку без колец,
Скажет мне она:
«Каблучки мои в пыли,
Выцвела коса,
И звучат из-под земли
Наши голоса».

Уже в пятидесятых годах от писательницы М. Белкиной он узнал о том, что существует как бы ответное стихотворение поэтессы «Ты стол накрыл на шестерых...». Это стихотворение — подлинный шедевр цветаевской лирики — было одним из самых последних ее творений. Помечено оно 6 марта 1941 года.

* * *

Сохранилась фотография, запечатлевшая А. Тарковского и А. Твардовского на фронте. Я попросил Арсения Александровича прокомментировать этот снимок. Одиннадцать раз писал он заявления с просьбой взять его в

армию и каждый раз получал отказ. Потом наконец добровольца мобилизовали. Работал он в армейской газете «Боевая тревога».

В его задачу входило сочинение юмористических статей и рассказов. Главное было — не раствориться, не растеряться в этом аду и хаосе.

— На нас шли немецкие танки. Я прыгнул в окопчик, на меня свалился другой человек и стал душить меня от ужаса. И тогда на живом узоре моей памяти завязался еще один узелок: никогда, никогда не терять своего человеческого образа. Даже в такой обстановке, даже на войне, даже на краю гибели...

А как много доброго открыл он на фронте в людях! Сколько встреч, запомнившихся на всю жизнь, преподнесла война. Командиром его группы войск был Константин Константинович Рокоссовский. Однажды, заглянув в палатку к гвардии капитану Тарковскому, заснувшему после ночного задания, он приподнял край шинели, накрывавшей спящего человека, и в ответ получил пару ругательных слов — Арсений Александрович не знал, кто его потревожил. Командующий, смутившись, произнес «Виноват», отдал честь и вышел. Вроде бы случай, почти курьез, но он прекрасно дополняет образ прославленного маршала.

За участие в боях с фашистами Тарковский награжден орденами и медалями. После ранения разрывной пулей он перенес ампутацию ноги.

Весной 1945 года А. Тарковский выписывается из госпиталя и начинает усердно заниматься переводами. В Союзе писателей СССР состоялся его первый творческий вечер. Выступавшая на нем Маргарита Алигер сказала: «Перед нами поэт милостью божьей, нужно издать его книгу».

Лишь немногие любители поэзии да книголюбцы знают, что книга Тарковского «Перед снегом» — это не первая его книга, а вторая. Судьба первой такова. Она была сдана в издательство «Советский писатель» и ушла в набор, когда появилось постановление ЦК КПСС о журналах «Звезда» и «Ленинград». Директор издательства решил на время, пока, как говорится, улягутся страсти, задержать выпуск книги. Поэтому матрицы в типографии «законсервировали» на несколько месяцев. В этот

период сменилось руководство издательства, и новый директор принял решение заново отрецензировать рукопись. И набор рассыпали.

Тарковский, и до того мало заботившийся о своем литературном хозяйстве, о своей творческой репутации, начисто потерял интерес к изданию стихотворений. И только благодаря настойчивости Татьяны Алексеевны книга стихов «Перед снегом» была собрана, отнесена в издательство «Советский писатель», получила в высшей степени одобрительные отзывы М. Алигер и Е. Златовой и увидела свет в 1962 году (Арсению Александровичу, увы, было уже пятьдесят пять), сразу же став событием в современной поэзии.

* * *

В один из вечеров я попросил Татьяну Алексеевну рассказать о молодом Тарковском, о том, как они встретились.

— Однажды, это было весной сорок второго года, я пришла в Союз писателей за пайком и увидела красивого молодого человека в военной форме. Он поразил меня тем, что, как птица, перелетал из комнаты в комнату, и я успела подумать: ну и стремительность.

Позднее в том же Союзе я услышала рыдающий голос Сусанны Мар: «Какой кошмар! Тарковскому ампутировали ногу». И я, грешным делом, произнесла про себя: «Господи, что же так кричать, голова-то цела, а ведь сколько людей и головы сложили». А в мае сорок четвертого однажды в переделкинском Доме творчества я увидела мужчину, который тоже был похож на птицу, но только со сломанным крылом. Спросила: «Кто это?» Ответили: «Разве вы не знаете, это Тарковский». И тут у меня все связалось в одно: военная форма, стремительность, вопли женщины. Не успела я опомниться, как меня извещают: «Сегодня он будет читать свои стихи, приходите». Я в те дни переводила своего любимого О'Генри и, подавшись какому-то внутреннему сопротивлению, на вечер не пошла, устроилась с рукописью на верхней террасе. По совпадению чтение стихов молодым поэтом происходило на нижней. И вот до меня доносится краси-

вый мужской голос: «В жаркой женской постели я лежал в Симферополе...» «Боже, какая пошлость,— подумала я,— как хорошо, что я не пошла на вечер». Но голос продолжал читать, и я невольно прислушалась. И буквально в течение минуты все во мне изменилось: я поняла, что первое впечатление было обманчивым. Случаются неудачные строки и у хороших поэтов, а на самом деле там внизу звучат настоящие стихи. Я спустилась вниз и не пожалела: все, что читал Тарковский, произвело на меня огромное впечатление. На вечере мы и познакомились, а позже, в 1946 году, поженились.

* * *

С Анной Ахматовой Тарковский впервые увиделся на квартире поэта Г. Шенгели в 1946 году. Он был приглашен специально для этой встречи. Знакомство началось с шуточного эпизода. Арсений Александрович взял в руки небольшую шпагу, которой баловался хозяин дома, и Анна Андреевна пошутила: «Кажется, мне угрожает опасность?» «О, нет, Анна Андреевна, я не Дантес»,— почему-то выпалил гость. Всегда находчивая Ахматова растерялась: «Я не знаю, как мне ответить на такой комплимент».

Тарковский прочитал какие-то стихи, и Ахматова заметила, что они похожи на стихи Мандельштама. Следующая встреча произошла в Голицыне в Доме творчества, а потом они виделись все чаще и чаще.

— Арсений Александрович, я слышал, будто бы Анна Андреевна выглядела королевой, гордой и непреклонной?

— Нет, королевой она не была. Во всяком случае, мне так не казалось. Правда, однажды, когда ей сказали, что Эльза Триоле приглашает ее в Париж, Ахматова действительно по-королевски парировала: «Не понимаю, почему она меня приглашает, я же не зову в Москву римского папу».

Однажды я поссорился с ней из-за Модильяни. Я посмел сделать замечание по поводу ее воспоминаний о встречах со знаменитым художником — они мне не понравились. «Лучше бы вы стихи писали, а не пишется, думали бы о боге»,— сказал я Ахматовой.

— Арсений пришел домой ужасно расстроенный,— вступает в разговор Татьяна Алексеевна.— «Я поссорился с Ахматовой»,— сказал он убитым голосом. Тогда я посоветовала ему завтра же купить большой букет цветов, стать перед ней на колени и извиниться.

Но Арсений Александрович ничего этого не успел сделать. Раздался телефонный звонок. «Это говорит Ахматова,— слышалось в трубке,— вместо того, чтобы нам ссориться, браниться, нужно поддерживать друг друга, хвалить добрым словом».

Разве королева могла так поступить?! Далеко не каждый смертный в такой ситуации простил бы обиду. Ахматова была цельным, мужественным человеком.

В архиве Тарковского сохранилось две телеграммы от Ахматовой. Они связаны с выходом его первой книжки — «Перед снегом». Прочитав ее, Анна Андреевна сначала телеграммой поздравила Тарковского, а потом позвонила и сказала, что если теперь, не дай бог, с ним что-нибудь случится, то ей будет жаль его гораздо больше. Ахматовой нравились его стихи. Особенно стихотворение «Когда бы на роду мне написано было лежать в колыбели богов». Вечером Тарковский оставил ей автограф этого стихотворения, а утром она позвонила ему и похвалила стихи.

Дружба с великой поэтессой была сердечной, искренней. Ее смерть поразила Тарковского. Он не находил себе места. Сопровождал усопшую в Ленинград, присутствовал при отпевании у Николая Морского, хоронил в Комарово. Тогда же появились стихи:

Когда у Николая Морского
Лежала в цветах нищета,
Смиренное чуждое слово
Светилось темно и сурово
На воске державного рта.
Но смысл его был непонятен,
А если понять — не сберечь,
И был он, как небыль, невнятен
И разве что — в трепете пятен
Вокруг оплывающих свеч.
И тень бездомной гордыни
По черному Невскому льду,

По снежной Балтийской пустыне
И по Адриатике синей
Летела у всех на виду.

* * *

Арсений Тарковский — известный переводчик. Блистательный мастер стихотворного перевода, он высоко оценен на этом поприще и критикой, и читателями. Одна из самых близких сердцу работ и самая, пожалуй, значительная — перевод стихов выдающегося туркменского поэта XVIII века Махтумкули.

Тарковского пригласил на эту работу Союз писателей Туркмении, и с осени 1946 по июнь 1947 года он жил с женой в Ашхабаде.

— Еще по подстрочникам, — вспоминает Татьяна Алексеевна, — которые, как известно, лишь первоначальное «сырье» для переводчика, он поразился глубине мысли Махтумкули. Он бегал по комнате, читал и все время приговаривал: «Ты только послушай».

Однажды был такой смешной эпизод. Арсений Александрович закончил перевод стихотворения «Скажите лжецам и глупцам», вскочил со стула и, радостный, возбужденный, в восторге упоения от самого себя, закричал: «Я, как Пушкин, готов кричать: «Ай, да Арсик, ай да сукин сын! Мне тоже хочется скакать на одной ноге!» — и прочитал мне стихотворение:

Скажите лжецам и глупцам:
Настало их подлое время.
Скажите безумным скупцам:
Казна — бесполезное бремя.

Он — в восторге, я — в восторге, но вдруг Арсений подходит к столу, хватается за голову: «Я застрелюсь, я утоплюсь! — Что такое? — Я пропустил одну строфу. — Ну так переведи ее! — Ее перевести нельзя. — Почему? — Я использовал все имеющиеся рифмы: племя, стремя, бремя, время, семя, темя. — Не может быть, чтобы в русском языке не было еще одной такой рифмы. — Нет, больше нет, не успокаивай меня, я полон отчаяния».

Подхожу к столу, начинаю сравнивать с подстрочни-

ком. Где же пропущенная строфа? Оказалось, что все на месте, ему просто почудилось, настолько он был возбужден, что строфа выпала.

Но любопытно другое: когда мы приехали в Москву и по словарю русских рифм проверили мои сомнения, оказалось, что прав был Арсений Александрович, действительно, подобных рифм больше нет в нашем языке.

Александр Фадеев взял перевод Махтумкули на прочтение и спустя несколько дней собрал секретариат Союза писателей, пригласив на него директоров издательств «Советский писатель» и Гослитиздат. Когда все собрались, он предложил Арсению Александровичу прочитать что-нибудь из сделанного в Ашхабаде, после чего Фадеев довольно безапелляционно произнес: «Я считаю, что эти переводы необходимо немедленно издать, причем сразу же в двух издательствах. Кто «за»?» Все подняли руки. И произведения Махтумкули, до того малоизвестные русскому читателю, сразу же стали популярными. А сегодня мы не можем представить нашу богатую многонациональную литературу без замечательных творений одного из лучших поэтов Востока.

Осенью сорок восьмого года мы снова собрались в Ашхабаде. Вместе с нами должен был лететь один наш коллега. Мне почему-то хотелось добираться поездом, и я долго уговаривала Арсения Александровича и нашего товарища именно так и сделать. В конце концов мужа я сумела уговорить. Когда же мы прибыли в Ашхабад, нашему взору предстала страшная картина разрушительного землетрясения. Поезд приехал буквально перед самым последним толчком. Как потом выяснилось, наш коллега, прилетевший самолетом, погиб.

Из Туркмении Тарковский выехал в Каракалпакию, где ему предложили перевести знаменитый эпос «Сорок девушек». О нем упоминается еще в сочинениях Геродота. В Нукусе хватило лиха. Время было трудное, страна оправлялась от военных невзгод. Жили Тарковские в неуютной гостинице, без каких бы то ни было удобств. Двери не запирались, окна нараспашку, невдалеке были шакалы. Еда самая скудная. Ко всему прочему Арсений Александрович заболел малярией и тропической лихорадкой.

И все-таки работу свою он завершил. Мало того, это

был еще один его выдающийся переводческий вклад в дело дружбы литератур и народов нашей страны. Работу эту можно считать практически оригинальной, ибо двенадцать тысяч строк эпоса «Сорок девушек» записывались за сказителями.

При обсуждении в СП СССР ученый-фольклорист Л. Климович прямо заявил: «Нередко читаешь тот или иной эпос, плохо переведенный, и тянет ко сну, так вот почти впервые я прочитал до конца такую большую и увлекательную вещь». Это была высокая похвала мужественному труду замечательного переводчика.

* * *

Арсений Тарковский по-детски равнодушен к популярности, к каким-либо околосредствительным пересудам. Радуетя он лишь тогда, когда получается хорошее стихотворение и оно кому-то нравится. В особенности человеку, мнение которого Арсению Александровичу небезразлично.

Пишет Тарковский мало. «Избранное», вышедшее несколько лет назад, в сущности, вместило почти все, что сделано. Интересно, что некоторые годы выходят особенно плодотворными. Пятьдесят седьмой, например. Чем это объяснить? Ветрами времени? Близостью с добрыми людьми? Вдохновением? Он не знает.

На мой вопрос, когда он понял, что поэзия его призвание, Арсений Александрович ответил: «Наверное, от рождения. Во всяком случае, с самых юных лет. И к Сологубу-то я бросился потому, что стихи — это то, чем я жил уже в ту далекую пору».

* * *

И еще об одном обстоятельстве, связанном с жизнью и судьбой Арсения Тарковского, хотелось бы рассказать. Так случилось, что во время наших с ним встреч пришло сообщение, что во Франции, на чужбине, умер сын поэта, известный кинорежиссер, сценарист Андрей Тарковский.

Отношения между сыном и отцом Тарковскими, двумя своеобразными художниками, всегда были теплыми, близкими. Сын тянулся к отцу, который своей богатой жизненной и творческой биографией всегда был для него авторитетом. Он очень любил поэзию отца и не раз включал его стихи в свои фильмы. По воспоминаниям, режиссер Тарковский, верный своим творческим принципам, не давал отцу никаких поблажек, требовал максимальной отдачи. Так, одно из стихотворений, используемых в фильме «Зеркало», Арсений Александрович читал перед камерой одиннадцать раз.

Нужно сказать, что тема отца и сына, отца и матери проходит через все фильмы Тарковского. А рядом с ней, с этой темой, вернее, сквозь нее, проходит другая — дума о Родине, об Отчем доме. Хорошо об этом сказал в печати литературный критик Игорь Золотусский:

«Человек, теряющий дом, покидающий дом, оторванный или отрывающийся от дома, становится голью перекатной, былинкой на ветру, его уносит в мировой океан, но и мировой океан также чувствителен к отступничеству, к отрыву от родительских гнезд. Вспомним финал «Соляриса» — блудный сын на коленях перед отцом».

Мыслями о доме, о детях пронизаны и последние работы Тарковского «Ностальгия» и «Жертвоприношение».

...Письмо, которое мы печатаем, было последним письмом сына к отцу. Написано оно в ответ на обращение Арсения Александровича к сыну, в котором говорилось, что всякий художник, имея право на творческую свободу, осуществлять ее должен прежде всего на родной земле.

Предыстория (по отношению к дате написания письма) жизни Андрея Тарковского за рубежом такова. В марте 1982 года по официальной договоренности он выехал в Италию для работы над совместным итало-советским фильмом. Позднее срок поездки был продлен: Тарковский не успел завершить задуманного.

Нелегко складывалась его творческая судьба на родине, нелегко было ему во многом и на чужбине.

Вот это письмо:

«Дорогой отец!

Мне очень грустно, что у тебя возникло чувство, будто бы я избрал роль «изгнанника» и чуть ли не

собираюсь бросить свою Россию... Я не знаю, кому выгодно таким образом толковать тяжелую ситуацию, в которой я оказался «благодаря» многолетней травле начальством Госкино, и в частности Ермаша* — его председателя.

Может быть, ты не подсчитывал, но ведь я из двадцати с лишним лет работы в советском кино — около 17 был безнадежно безработным. Госкино не хотело, чтобы я работал! Меня травили все это время и последней каплей был скандал в Канне, где было сделано все, чтобы я не получил премии (я получил их целых три) за фильм «Ностальгия».

Этот фильм я считаю в высшей степени патриотическим, и многие из тех мыслей, которые ты с горечью кидаешь мне с упреком, получили свое выражение в нем. Попроси у Ермаша разрешения посмотреть его и все поймешь, и согласишься со мной.

Желание же начальства втоптать мои чувства в грязь означает безусловное и страстное желание, мечтание их отделаться от меня, избавиться от меня и моего творчества, которое им не нужно совершенно.

Когда на выставку Маяковского, в связи с его двадцатилетней работой, почти никто из его коллег не захотел прийти, поэт воспринял это как жесточайший и несправедливый удар и многие литературоведы считают это событие одной из главных причин, по которым он застрелился.

Когда же у меня был 50-летний юбилей, не было не только выставки, не было даже объявления и поздравления в нашем кинематографическом журнале, что делается всегда и с каждым членом Союза кинематографистов.

Но даже эта мелочь — причин десятки, — и все они унижительны для меня. Ты просто не в курсе дела.

Потом, я вовсе не собираюсь уезжать надолго. Я прошу у своего руководства паспорт для себя, Ларисы, Андрюши и его бабушки (жена и сын Андрея Тарковского. — Ф. М.), с которыми мы смогли бы в течение 3 лет жить за границей, с тем чтобы выполнить, вернее, воплотить свою заветную мечту: поставить оперу «Борис

* В 1986 году Ф. Ермаш освобожден от этой должности в связи с уходом на пенсию.

Годунов» в Covent Garden в Лондоне и «Гамлет» в кино. Недаром я написал свое письмо-просьбу в Госкино. Но до сих пор не получил ответа.

Я уверен, что мое правительство даст мне разрешение и на эту работу, и на приезд сюда Андрюши с бабушкой, которых я не видел уже полтора года; я уверен, что правительство не станет настаивать на каком-либо другом антигуманном и несправедливом ответе в мой адрес.

Авторитет его настолько велик, что считать меня в теперешней ситуации вынуждающим кого-то на единственно возможный ответ просто смешно; у меня нет другого выхода: я не могу позволить унижать себя до крайней степени, и письмо мое — просьба, а не требование. Что же касается моих патриотических чувств, то смотри «Ностальгию» (если тебе ее покажут) для того, чтобы согласиться со мной в моих чувствах к своей стране.

Я уверен, что все кончится хорошо, я кончу здесь работу и вернусь очень скоро с Анной Семеновной и Андреем и с Ларой в Москву, чтобы обнять тебя и всех наших, даже если я останусь (наверняка) в Москве без работы. Мне это не в новинку.

Я уверен, что мое правительство не откажет мне в моей скромной и естественной просьбе (в случае же невероятного — будет ужасный скандал. Не дай бог, я не хочу его, ты сам понимаешь). Я не диссидент, я художник, который внес свою лепту в сокровищницу славы советского кино. И не последний, как я догадываюсь. (В «Советском фильме» один бездарный критик, наученный начальством, запоздало назвал меня великим.) И денег (валюты) я заработал своему государству больше многих.

Поэтому я не верю в несправедливое и бесчеловечное к себе отношение. Я же как остался советским художником, так им и буду, чего бы ни говорили сейчас виноватые, выталкивающие меня за границу.

Целую тебя крепко-крепко, желаю здоровья и сил.

До скорой встречи. Твой сын — несчастный и замученный Андрей Тарковский.

— Лара тебе кланяется.

Рим. 16.IX.83».

...Идет время. Жизнь все расставляет по своим местам. Широким экраном идут фильмы Тарковского. В Центральном Доме кинематографистов прошел большой вечер его памяти, который вел первый секретарь Союза кинематографистов Элем Климов. В недавно вышедшем энциклопедическом кинословаре есть и статья о выдающемся режиссере.

А письмо это принципиально в главном: оно четко дает понять, что Андрей Тарковский до конца своих дней оставался честным художником, мужественным, искренне преданным своему таланту, искусству, Родине.

Январь—февраль 1987 г.



Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Евгений ЕВТУШЕНКО
Булат ОКУДЖАВА
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

И БЫЛИ НАШИ ПОМЫСЛЫ ЧИСТЫ...

Фотокорреспондент «Огонька» Дмитрий Бальтерманц просил на съемку четверть часа. Когда же из тридцатиградусной стужи они вошли в тепло и уют и радушный хозяин, — а им был Евгений Евтушенко, стал угощать гостей горячим чаем с вареньем из какого-то экзотического фрукта, когда он включил видеоролик чудом сохранившейся у него киноленты снятого четверть века назад поэтического вечера, все сразу же впились в экран, ведь на экране были именно они, — я понял: разговор состоится. Не до-

ждавшись пассажира, вернулось в Москву заказанное такси, ворота еще долго оставались открытыми, официальное заседание комиссии прошло без одного из ее членов.

Зато шелкали затворы фотокамер, крутились магнитофоны, не умолкала речь. Как захватывающе интересно было просто на них смотреть и слушать их, родившихся в тридцатых, начинавших писать стихи в сороковых, издавших первые сборники в пятидесятых, ставших всемирно известными в шестидесятых, вошедших в школьные хрестоматии в семидесятых, выпустивших собрания сочинений в восьмидесятых! Одним словом, не обижая других замечательных поэтов — их ровесников и современников, мне захотелось поговорить именно с ними, с теми, кто, наверное, чуточку больше, чем кто-либо другой из их поколения, был любим публикой, читателями. Да, именно они, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Роберт Рождественский, были ярчайшими звездами на небосклоне русской поэзии пятидесятых годов. Тех лет, о которых очень точно сказал Леонид Мартынов: «Удивительно мощное эхо! Очевидно, такая эпоха». Та очистительная эпоха, когда всех волновали по-новому зазвучавшие понятия: «свобода», «правда», «справедливость», «совесть».

В чем-то сегодняшняя атмосфера совпадает с той эпохой. Более полно мы вдыхаем очистительный озон уже нашего времени, и искусство распрямляет крылья, очищаясь от затхлости, примитива, равнодушия и конъюнктуры.

...Я смотрел на них и думал — повстречавшись под парусами времени тридцать лет назад, они не расходились. А ведь между ними пролегло многое: разность судеб, личные трагедии и взлеты, неустойчивость читательских вкусов, трансформация их собственных взглядов. Тридцать лет прожить рядом, друг возле друга, любя, ревнуя, гордясь, огорчая и не огорчаясь, — не поле перейти. И пусть не вместе, не за одним столом, но съедено ими всеми по пресловутому пуду соли, соединившему их судьбы навсегда. Иначе и быть не могло: ведь все они самоотверженно преданы главному в их жизни — поэзии, искусству, слову.

А если что не так, то пусть их рассудит будущее. За то, что уже сделано, и за то, что осталось сделать. А пока...

А пока я прошу их оглянуться назад — сейчас это модно: «ретровзгляд», «ретроспектива», и не надо останавливать мгновение, пусть минуты этого «вместе», возможность неожиданного общения объединят их воспоминания-размышления с раздумьями наших читателей о судьбах поэзии и поэтов.

Ведь со времени их пылкой молодости прошло тридцать лет. Какими они помнят себя по отношению друг к другу, к литературе, к жизни? Что осталось в них, от тех, тогдашних? Они изменились, но в чем? Они изменились или их изменило время, обстоятельства, возраст? Пытались ли они изменить время?

Когда-то один из них сказал: «Нас мало, нас, может быть, четверо». Они и сегодня так считают? Видятся ли им новые четверо в сегодняшней поэзии?

А кто из тогдашних живых поэтов влиял на них? Ведь это интересно — помогал им, «ставил голос». Кому они помогли (словом, напутствием, выпуском книги, иной поддержкой) из нынешних молодых? Оправдано ли было их, «мэтров», участие в творческих судьбах дебютантов?

Чем объяснить, что они изменили основному жанру и вторглись в сопредельные искусства: кино, телевидение, музыку, песенное творчество, серьезную прозу? Что это — попытка нового опыта, хобби, неизбежность?

А вокруг другое «тысячелетье», но в чем-то и похожее на то, когда они были молодыми.

Итак, им слово.

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ: Мы были тощие. И уже тогда ничего не боялись. Все мы тогда распевали Окуджаву. Он не написал еще песенку про дураков, но они считали его песни опасными. Белла Ахмадулина водила «Москвич», ее фарфоровый овал светился музыкой. Е. Евтушенко, сияющий первым в Москве нейлоновым костюмом, и Р. Рождественский в лыжном свитере с выпущенным воротником пламенно читали с эстрады смелые гражданские стихи. Вижу не только их, но и Юнну Мориц с ее страстной библейской нотой, у которой обрубки кос встают от гнева, геолога Глеба Горбовского, Евгения Винокурова с олимпийским портфелем, тончайшего гравера Александра Кушнера, облученного солдата Василия Соснору. Вернулся из мест отдаленных гуслия

Виктор Боков. У Бориса Слуцкого были фигура и слог римского трибуна, за ним чувствовались легионы.

Моя дружба с ними выразилась в стихах и статьях, им посвященных. Гласности в нашем понимании тогда не было. Попытка сказать правду о жизни и искусстве клеймилась как очернительство, с особенной злобой воспринималась эстетическая новизна. Строчка над сценой Театра на Таганке: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек» воспринималась чиновниками как крамола. Сейчас трудно поверить, что стихи «Бьют женщину» много лет назад нельзя было опубликовать. Газетная брань по адресу меня и моих товарищей была небезобидной. Переставали печатать...

Многие стихотворные строки тогда пробивались кровью.

Изменили ли мы время? Конечно. Но мы тогда не думали об этом.

Время расставляет свои акценты, отделяя нас теперь друг от друга. Видимся раз в году, но и тогда мы были разные. Вопреки легенде мы не так часто выступали вместе. Аудитории у нас были разные, да и жили мы каждый по-своему. Общими у нас были враги. Их нападки сплачивали нас. Общими были страсть страны, воздух надежд, люди, верящие в нас.

Поэты, заявившие о себе в 60-х годах, пожалуй, лучшие свои вещи написали в 70-х и 80-х. В них сказалась боль от крушения иллюзий. Деление на поколения в поэзии механистично. В те годы я написал о поколениях — «горизонтальном» (по возрасту) и «вертикальному» (по совести и таланту). Эти слова о «вертикальном» поколении процитировали, чтобы вывести из себя Н. С. Хрущева, на злополучной встрече с интеллигенцией в Кремле. Он потребовал меня на трибуну. Прервав мое выступление, подняв кулаки, обрушился на меня под организованный скандеж зала. За ним была могучая сила, и я не мог понять, как в одном человеке сочетались и добрые надежды 60-х годов, мощный замах преобразований, и тормоза старого мышления. Когда я читал стихи, отбивая ритм поднятой рукой, он закричал: «Вы что руку подымаете? Вы что нам указываете? Вы думаете, вы вождь?» Н. С. Хрущев, уже будучи на пенсии, передал мне, что сожалеет о том эпизоде и о травле, которая за

этим последовала. Я ответил, что не держу на него зла. Ведь главное, что после 56-го года были освобождены люди.

Изменило ли нас время? Еще бы! Хотя уже тогда можно было угадать, кто как изменится. Тут уж совсем неуместно слово «мы». Каждый должен сам сказать о себе. В моей памяти все осталось подобно дружбе одного двора или одноклассников. Как Андрей Тарковский, с которым мы учились в одном десятом классе 554-й школы и гоняли во дворе консервную банку. Страшно, что его уже нет среди нас. Как много не удалось сделать!

Сейчас кажется, что можно было бы сделать больше. Наивным кажется юношеский максимализм — понятный, правда. Я четырнадцать лет общался с Пастернаком, боготворил его, шел за его гробом, и естественно, что влюбленность в него не позволяла видеть других поэтов. Да и кого можно было поставить рядом с ним? Много занимался поэзией как таковой, считая стихотворение вопросом, а не ответом. Публицистики у меня было мало. Стихотворение — это духовный микрокосм, духовная форма. Обидно, что порой не хватало характера отстоять каждое слово и столько строк покалечено. Дубины не сбили с пути, но, увы, отбили душу.

На днях ко мне подошел поэт, когда-то заведовавший отделом поэзии в издательстве «Советский писатель»: «Сейчас все оказываются друзьями Высоцкого, везде его печатают, но когда он еще был жив, только ты единственный приносил рукопись его книги стихов, пытался пробить. Жаль, тогда не удалось». В то время не только книгу — строку его нельзя было напечатать. Железобетонная стена. Глядишь, вышла бы книга, может быть, он жив остался.

Владимирский поэт Н. Ф. Тарасенко помог мне издать «Мозаику», В. Солоухин помог опубликовать мою первую поэму «Мастера», Э. Межелайтис, понимая, чем ему это отольется, не глядя, подписал в печать «Треугольную грушу». Самоотверженный Андрей Дементьев взял на себя публикацию поэмы «Северная надбавка» Евтушенко; он печатал важные для меня вещи, в том числе поэму «Ров».

Независимо от возраста люди «вертикального» поколения помогают мне. И я в меру сил помогаю людям

«вертикального» поколения. Всю жизнь везде, где можно, пишу о Пастернаке. Мне удалось впервые опубликовать его стихотворение «Гамлет» из «Доктора Живаго». Трудно представить, что миллионы моих сверстников не знали его имени, хотелось бы хоть немножко пододвинуть поэзию Пастернака к ним. Помощь в публикации мастеров, о которых годами молчали, заботы о наследии Шагала — все это, думаю, помогает и атмосфере творчества молодых.

У нас ежегодно печатается 84 тысячи названий книг. Издание книг Набокова, Ходасевича, Гумилева только дополняет картину отечественной литературы XX века. Наши современники имеют право читать все. Какой может быть общечеловеческая глубина литературы без философской мысли? Философия должна изучаться не на уровне отрывного календаря. Забытыми пребывают такие ветви русской мысли, как мучительные раздумья Шестова о Достоевском, «биологика» Розанова, труды В. Соловьева, Флоренского, Чижевского. Их полезно бы издать академическими тиражами, хотя бы для просвещенных и посвящаемых в философию. Чтобы полемизировать, нужно знать источник.

В архитектурном институте я профессионально учился рисунку, живописи, проектированию, сопромату, истории искусства. Для меня поэзия не хобби, не профессия, а судьба. Когда я писал первую поэму о казни создателей храма Василия Блаженного, я знал по рассказу Жолтовского, что шедевр этот случайно не взорвали в 30-х годах, знал я и о судьбе ученого-реставратора Барановского. Так что поэма не только об истории архитектуры, о судьбе народной, но и о моей судьбе. Надо быть человеком Ренессанса, открывать в разных сферах, сейчас время духовного синтеза. Во всем пытаюсь найти что-то новое, свое — в автолитографиях, архитектурном проекте Поэтарха, рок-опере.

Спасибо 60-м годам за духовный подъем, за то, что освободили и реабилитировали людей. Это главное. Но фильм «Покаяние» тогда не только выпустить, но даже снять было бы невозможно. Возможны ли были последние острые публикации в «Московских новостях»? Все вещи нашего печатного Ренессанса глухо лежали тогда в столах. А разве возможен был исповедальный писатель-

ский съезд? Наивно думать, что все решено. Идет ежесекундная борьба с еще очень сильным, реакционным слоем нашего общества.

Но главное — свобода не вне, а внутри человека. У художника — это свобода выразить себя и время по-своему. Как говорили философы, «в свободе скрыта тайна мира». Поэзия занимается общечеловеческими ценностями. Поэзия — это прежде всего внутренний мир человека. В ней главное — человечность.

Осенью 86-го я отказался от интересных зарубежных поездок: дома дел много, многому можно помочь. Происходит преодоление косности, и здорово, что результативно. Политически это называется демократизация. Поступок — это тоже поэзия. Глаза страшатся, а руки делают...

Поэзия рождается непредсказуемо. Ее нельзя организовать. В XX веке гребни творческих духовных взлетов приходится на каждые 20 лет: двадцатые годы, сороковые — роковые, шестидесятые, восьмидесятые.

Одна из нынешних моих забот — комиссия по наследию Пастернака. Пытаемся основать музей на его даче в Переделкине — «трудно, брат, но нужно», восстановить доброе имя великого поэта, снять с него клеймо исключенного из Союза писателей. В Переделкине могли бы проходить Пастернаковские чтения, как наши, так и международные. Нужно целиком опубликовать все его произведения, в том числе поэтический роман «Доктор Живаго»*. Все это прежде всего не только для того, чтобы восстановить историческую справедливость, а для создания атмосферы нашего сегодняшнего искусства, для создания новых произведений по искреннему, как говорил В. Шкловский, «по гамбургскому счету», чтобы легче было новому «юноше бледному, со взором горящим».

Какие стихи 60-х годов я повторил бы сегодня? На вечерах меня просят почитать «Порнографию духа», «Очередь». И сегодня повторю: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек».

* Весной 1987 года Б. Пастернак был восстановлен в Союзе писателей. Роман «Доктор Живаго» был опубликован в журнале «Новый мир» в 1988 году.

Евгений ЕВТУШЕНКО: Я начинал как волчонок-одиночка.

В детстве и ранней юности у меня не было ровесников, которые писали бы вровень со мной. Я всегда тянулся к старшим — к отцу, который научил меня любить стихи, затем к Николаю Тарасову, напечатавшему меня впервые в «Советском спорте» 2 июня 1949 года, и первый гонорар я получал по метрике. К критику В. Барласу, к Льву Филатову (впоследствии ставшему блестящим футбольным обозревателем). Они мне открыли Пастернака, Мандельштама, Б. Корнилова и П. Васильева. Естественно, я подражал взрослым, в своих стихах стараясь казаться старше. Уже в четырнадцать лет я писал так:

Текла моя дорога бесконечная.

Я мчал, отпугивая ночи тень.

Меня любили вы, подружки встречные,
чтоб позабыть на следующий день.

Я их не упрекал в такой забывчивости —
ведь я и сам их часто забывал.

Лишь только ночь уюта и отзывчивости —
я больше ничего от них не ждал.

Поэт Андрей Досталь, работавший литконсультантом в «Молодой гвардии», которому я послал эти стихи, вызвал меня письмом и несказанно удивился долговязому пацану со школьным портфелем:

— Мальчик, почему твой папа не пришел сам за своими стихами?

Я запунцовел:

— Это не папины стихи, а мои...

Собственная жизнь мне казалась неинтересной, поэтому я и придумывал себе взрослую. Ровесники тоже казались неинтересными. Я наращивал поэтические мускулы, играя рифмами, как гантелями. Ходил на все вечера поэзии и «перебаливал» всеми влияниями — от Кирсанова до Луконина. Подружился с Винокуровым, Межировым, Слуцким. С Владимиром Соколовым; он был тоже старше меня, но уже не намного — словом, был самым молодым другом из всех моих старших друзей. Соколов был первовысказывателем исповеди поколения, увидевшего войну глазами детей: «Четвертый класс мы кончили в предгрозья, из пятого мы перешли в войну». Я думаю,

он был потенциально талантливее всех нас — и все мы это беспрекословно признавали. Это «мы» начало постепенно складываться. Первым моим ровесником, с которым я счел достойным дружить, был Фазиль Искандер. Он жил, правда, особняком, как, впрочем, и сейчас, но всегда учитывался в нашем поколении. Костяком нашей «могучей кучки», образовавшейся вокруг Литинститута в 1952 году, были Соколов, Рождественский, безвременно погибший Володя Морозов и я. Мы зачитывали друг друга стихами собственными и чужими, вместе выступали. Все мы, кроме Соколова, писали еще плохо, но, боясь сурового мнения товарища, подтягивались, соревновались. О, какое это великое чувство — боязнь мнения товарища! Сколько эта боязнь дарует, от скольких болезней — и в первую очередь от сомнения — она вылечивает! Так я, оказавшийся в Литинституте уже широко печатаемым в газетах, очутился под градом целебнейших дружеских издевательств и постепенно начал вылечиваться от газетщины. Поворотными моими стихами стали «Перед встречей» (написанное под влиянием Соколова), «Вагон», «Море». Я понял, что и моя собственная жизнь, и жизнь окружающих людей гораздо интереснее, чем все вычурные фантазии. Автором всех этих переломных стихов, а затем «Свадеб», «Со мною вот что происходит», которые и сделали меня поэтом из стихотворца, был не столько я сам, сколько взыскательно воспитующая среда. Говорю без идеализированного преувеличения: нас выковывало не беспринципное чувство «стаи», а прежде всего любовь к поэзии, соединенная с любовью друг к другу.

В нашей среде не было ни зависти, ни подсиживания, ни взаимопроталкивания, что, к сожалению, характерно сейчас для ряда начинающих. Смерть Сталина нас еще больше соединила, потому что мы и плакали вместе, но и вместе мучительно задумались, когда постепенно приоткрывшаяся со смертью Сталина завеса над прошлым поставила нас лицом к лицу со столькими человеческими трагедиями. Кое-что мы знали и раньше, но под гипнозом воспитания не могли осознать явлений в их совокупности. В день смерти Сталина арестовали одного из наших преподавателей — поэта А. Коваленкова. Мы с Соколовым потрясенно обсуждали это и по закону нашего воспитания выискивали в нем черты «врага», вспоми-

нали то одну, то другую его фразу, теперь, после ареста. начавшую казаться подозрительной. И вдруг Володя резко сказал мне:

— Какие мы с тобой сволочи... Вместо этого надо поехать к его жене... разделить ее горе.

Так мы и сделали. Коваленкова через несколько месяцев освободили. Жизнь менялась. Гипноз постепенно ослабевал. Студенческий курс первого послесталинского года был уже совсем другой, чем мы,— более раскованный, радикально настроенный и удивительно талантливый: Белла Ахмадулина, Юрий Казаков, Михаил Роцин, Юнна Мориц. Слово «мы» начало расширяться. Приехавший в Литинститут тогдашний секретарь Союза писателей Сурков, разнося в своем выступлении первую антибюрократическую ласточку—роман Дудинцева, кричал, показывая на свежесмытую институтскую стену: «Вот видите—на этой стене пятно, тогда она вся будет казаться мне грязной...» Еще совсем юный Роцин спокойно возразил ему под наши общие аплодисменты: «Да, но если отойти слишком далеко, то тогда пятна совсем не будет видно...» Сурков уехал, грозно бурча, что Литинститут—это рассадник нигилизма... Но мы не были нигилистами. Мы были полны веры в то, что жизнь надо перестраивать—дальше так жить и писать нельзя. Тогдашний Литинститут действительно был рассадником, но не нигилизма, а гласности и демократии. За это по головке не гладили. Меня исключили из Литинститута с формальным объяснением «за непосещение лекций», а на самом деле за то, что я защитил Дудинцева; Ахмадулину и Мориц тоже исключили, правда, временно, только за то, что они в объявленный «День открытых душ» слишком открыли свои души. Но мы все равно держались вместе, хотя нас и разъединяли, как могли, и хотя мы сами иногда крупно ссорились друг с другом. Но какие это были замечательные ссоры! В них не было ничего мелкого, междоусобного—это были ссоры-споры, и споры не по пустякам, а по главным, принципиальным вопросам—по отношению к истории революции, к стране, к роли искусства. Во многом мы были наивны, необразованны, нам не хватало порой тонкости вкуса, многослойности мышления. Но зато нас нельзя было упрекнуть в иждивенчестве, в социальном

равнодушии, в инертности. Если бы тогда кто-нибудь в нашей компании рассказал бы пошлые анекдоты о Чапаеве и Петьке, он схлопотал бы по морде. Но в Литинституте были и посредственности, угрюмо завидовавшие тем, кто старался двигать время и искусство вперед. Окончательный раскол произошел во время «дела Пастернака», когда ряд студентов, шантажируя исключением из комсомола и из института, требовал подписей под письмом, где заявлялось, что Пастернака надо вышвырнуть, как свинью, из нашего советского огорода. Некоторые вчерашние «прогрессисты» сломались, подписали (да еще испросив разрешения у самого Бориса Леонидовича). Потом они деградировали и как поэты. Их имена, когда-то шумевшие в студенческих аудиториях, сейчас не помнит никто.

Маяковский в своем футуристическом манифесте когда-то уподобил слово «мы» глыбе, на которой стояли он и его соратники среди свиста и негодования. Наше «мы» тоже было такой глыбой, и с этой глыбы многие соскальзывали. Но на нее поднимались и новые соратники. Так появился Вознесенский, ворвавшийся в поэзию в отличие от многих из нас сразу — с молниеносностью фейерверка. К этому «мы» принадлежит и Булат Окуджава. Хотя он и старше нас по возрасту и даже успел повоевать, но как поэт зазвучал в то же время. Саша Аронов, Нина Белосинская из замечательного литобъединения «Магистраль» однажды спели мне «хором» одну из первых песен Окуджавы, и я был ошеломлен — настолько романтическая чистота этих безыскусных, но в то же время тонких, умных песен соответствовала нашим надеждам. Что нового внесли поэты-шестидесятники в нашу жизнь? Первое — резкая антикультовая направленность. Она была общей для всех нас, несмотря на разницу индивидуальностей. Второе — «детабуизация» всех тем, на которые были наложены писанные или неписанные табу. Третье — отвращение к «барабанному» патриотизму, к национальной ограниченности. Четвертое — новый поэтический язык, включавший свежую ассонансную рифмовку, поиски новых ритмов, метафор, интонаций, безбоязненное употребление современных, даже подчас жаргонных оборотов, так называемых «непоэтических» слов. Пятое — расширение поэтической аудитории

до площадей, заставившее читать стихи даже тех, кто их раньше не читал. Шестое — триумфальный выход русской поэзии на международную арену.

Разумеется, названными именами русская поэзия нашего времени не ограничивается. Она непредставима и без ушедшего безвременно Николая Рубцова, и без многих других. Но характерно вот что: первые стихи Рубцова в Москве были напечатаны с моей помощью в «Юности», и у нас были с ним самые теплые дружеские отношения, но после его смерти некоторые критики незтично начали сталкивать его и меня лбами. В ряде критических анкет в перечне ведущих поэтов имена Вознесенского, Ахмадулиной, Окуджавы, Рождественского высокомерно не упоминались, а им противопоставлялись длинные обоймы других имен. Была изобретена фальшивая групповая теория «тихой», то есть якобы настоящей поэзии и «эстрадной», то есть псевдопоэзии. Пример профессиональной этики показал Владимир Соколов, объявленный лидером «тихой поэзии», когда он осудил такое противопоставление.

Интерес к поэзии, упавший в годы торжества лакировочных тенденций, небывало возрос. Поэтические книги, раньше залеживавшиеся на прилавках, стали мгновенно расхватываться, начали становиться даже предметом спекуляции на книжном «черном рынке». Тиражи с пяти- или десяти тысячных стали подниматься до сотысячных или выше. Издательство «Молодая гвардия» впервые в нашей издательской практике решило начать выпуск дешевых небольших книжечек стихов, исходя из предварительных запросов магазинов. Римма Казакова набрала, если мне не изменяет память, что-то около четырехсот тысяч заявок. Но когда дело дошло до имен Вознесенского, Ахмадулиной, Окуджавы и автора этих строк, то издательство растерялось, получив миллионные и двухмиллионные заявки, и не нашло ничего лучшего, чем прекратить эту серию, так как именно эти поэты беспрестанно атаковывались тогдашней «Комсомольской правдой» за «поэтическое гусарство», «пошлость на эстраде» и даже за «несмыслимые синяки предательства».

Но вкусы молодежи шли вразрез со вкусами этих критиков, и своей любовью наши читатели верно поддерживали нас в самые трудные минуты. Наше поколение раздражало своей неумеренной активностью, вмешательст-

вом во все наболевшие вопросы, и раздражение это выплескивалось порой даже на самом высоком уровне. Вознесенскому кричали: «Забирайте свой паспорт и уберите!» Это неправда, что нам слишком много было «позволено»,— свои права мы не «качали», а вырывали, иногда обдирая до крови руки.

Наша популярность раздражала и многих наших братьев по перу. На ленинградском совещании один поэт заявил с ядовитой иронией: «Евтушенко жалуется в своих стихах, что ему, видите ли, «мешают границы»... Давайте пошлем его за границу — пустите Дуньку в Европу!» Ну что ж, спасибо ему за рекомендацию. «Дунька» с той поры побывала в 85 странах мира, и, положив руку на сердце, могу сказать, что с честью несла знамя нашей русской поэзии. Когда Роберт Рождественский написал стихи «Да, мальчики...», утверждающие право молодежи на самостоятельность, Николай Грибачев немедленно ответил ему стихотворением «Нет, мальчики». Но неправильно было бы утверждать, что поддержку мы получали только в читательской, а не в профессиональной среде. Без поддержки профессионалов мы бы не выжили. Великое дело сделал для нашего поколения и для развития поэзии в целом Степан Петрович Щипачев, предоставлявший нам страницы журнала «Октябрь». Когда меня не пускали за границу как «морально неустойчивого», Степан Петрович пошел в высокую инстанцию и сказал, что ручается за меня своим партбилетом, выданным ему в годы гражданской войны. Щипачев сформировал президиум Московской писательской организации наполовину из молодежи, включая и меня, и Вознесенского. Но наш президиум просуществовал всего несколько месяцев — он был антидемократическим путем разогнан. Нас поддерживали и словом, и помощью в печатании П. Антокольский, К. Симонов, М. Луконин, Б. Слуцкий, А. Межиров, М. Львов, Е. Винокуров. Сколько нервов стоило Я. Смелякову, назначенному редактором моей поэмы «Братская ГЭС» (с хитрой целью заставить меня пойти на уступки), пробивание этого моего многострадального детища! В поэме было сделано 384 (!) поправки, но тем не менее она не рухнула, не закосилась в сторону лакировки. Мужественное решение принял В. Косолапов, напечатавший «Бабий Яр» в «Литгазете». Твардовский, несмотря

на его ревниво-придирчивое, а иногда даже мучительно-жесткое отношение к поэзии, доходившее порой до призмы, постоянно печатал меня даже в самые трудные минуты. Весьма далекий от меня по своим позициям Е. Поповкин в нелегкий момент одной из моих глубоких опал неожиданно предложил мне напечатать стихи в журнале «Москва», что и сделал (кстати, он же напечатал и роман «Мастер и Маргарита», не принятый Твардовским), Ю. Мелентьев и В. Осипов, стоявшие во главе издательства «Молодая гвардия», печатали и меня, и Вознесенского, и Рождественского, что им было совсем нелегко.

Поддержка нашего поколения исходила и от многих тогдашних работников ЦК КПСС.

Традиционную поддержку русской поэзии в ее нелегкие моменты оказывала своей любовью Грузия. Крупной поддержкой было само существование театра «Современник», Театра на Таганке, плеяды молодых художников и скульпторов, разделявших с нами наши поиски правды и методов ее выражения. Легче, надежнее становилось от появления таких фигур, как Шукшин, Высоцкий, от нравственной гражданственности старших — М. Ромма, К. Паустовского, К. Чуковского, А. Яшина. Мне и Вознесенскому повезло — незадолго перед смертью нас успел напутствовать Пастернак. Если первой нашей аудиторией было в основном студенчество, то мы начали ощущать поддержку и серьезных ученых, и космонавтов, и рабочего класса. Мы постепенно переставали становиться выразителями только своего поколения, и нашими читателями, поверившими в нас, становились и новые студенческие поколения, и люди гораздо старше нас.

Гласность, становящаяся нормой нашей жизни, не была нам преподнесена с неких «верхов» на блюдечке с голубой каемочкой. Мы эту гласность выстрадали. Демократизация поэзии началась раньше демократизации жизни в целом, была ее неотъемлемой составной частью.

Во многих зарубежных странах общественная жизнь и поэзия существуют как бы не пересекаясь. Но когда-то я написал: «Поэт в России больше, чем поэт», — и это правда, ибо ни в одной стране не существует, начиная с Пушкина, такой общественной мощи поэтического воз-

действия, как в нашей стране. Поэзия у нас не только отражает жизнь, но и во многом ее духовно предопределяет.

Меня поражает порой социальная индифферентность некоторых молодых поэтов. Ведь на самые острые темы, связанные сегодня с борьбой против саботажа перестройки, с борьбой за демократизацию, пишут не они, а опять-таки мы, «шестидесятники». Формула «все в мире лишь средство для сладко-певучих стихов» не выжила. Попытка подменить на знамени нашей поэзии Пушкина на Фета тоже не выжила. Фет при всем своем мастерстве лишен гражданского всеобъемлющего темперамента. А без такого темперамента, без способности «всеотклика» (выражение Достоевского) не может быть подлинно национального поэта. Сегодня подлинным национальным поэтом нельзя быть и без интернационализма, без ощущения кожей всех болевых точек земного шара.

Поэзия констатации никогда не будет выше поэзии протеста против несправедливостей, поэзии борьбы за утверждение братства людей. Когда сегодня некоторые поэты жалуются на снижение тиражей своих книг, сваливая всю вину на книготорг, они правы лишь частично. Но разве поэзия нашего поколения, которую днем с огнем не найдешь на прилавках, обладала какой-то особой комплиментарной рекламой? Единственная реклама, которую мы получали в ранней молодости,— это была ругань. Песни Окуджавы в течение многих лет звучали только в самодельных записях. Единственный большой однотомник Ахмадулиной до сих пор издан только в Грузии. Высоцкий при жизни так и не держал в руках своей книги. Шукшину так и не удалось снять «Степана Разина».

Критики когда-то писали, что интерес к нашей поэзии — это мода, и она скоро пройдет. Но прав был Слуцкий, сказав, что если мода не проходит в течение стольких лет, то это, может быть, не мода, а любовь. А право на любовь надо заслужить. Некоторые поэты хотят комфортабельной жизни — они не хотят ни за что бороться (за исключением самих себя), никогда не рискуют головой за дело справедливости, не проявляют никакой гражданской смелости, а потом еще удивляются и негодуют, почему их книги не раскупаются. Так уж

повелось на Руси, что в понятии нашего народа поэт — это народный защитник. Почему народ должен интересоваться теми, кто не интересуется им? Есенин гениально писал о березках. Но сведение темы Родины до посредственных воздыханий о березках современных виршеписцев — это гражданское бегство от стольких ножевых проблем реальной, а не сусально-святочной родины. Я не идеализирую наше поэтическое поколение. Все мы писали иногда и, к сожалению, пишем плохие стихи — поспешные, со вкусовыми сбоями, а иногда и те, за которые бывает потом стыдно, да поздно — что написано пером, не вырубишь топором. Мы совершали не только смелые поступки, но и шли на компромиссы. Иногда отмалчивались — а это тоже компромисс. Но каждый из нас в меру своих сил старался искупить минуты слабости новыми бросками на крепость косности, общественного застоя.

Мы сформировались духовно и профессионально во время общественного катаклизма, когда в стенах этой крепости образовались бреши. Мы проникли в эту крепость и продолжали вести нашу войну, иногда разъединенно, слыша на отдаленных улочках выстрелы товарищей. Бреши искусно замуровывались, отсекая нас от поэтической молодежи. Вырывали вокруг крепости ров с водой, чтобы следующему поколению стало невозможно прорваться к нам на помощь. Мы смертельно уставали, патроны и силы кончались. Над нашими головами начали кружиться иностранные вертолеты, гостеприимно сбрасывая заманчиво покачивающиеся над нашими головами веревочные лестницы. Но по ним карабкались только слабые, обменявшие борьбу за свободу в своем Отечестве на радиостанцию «Свобода». А мы не сдались, мы верили, что день, когда наши надежды станут явью, придет. Нет, не напрасно мы срывали наши глотки в дискуссиях и на эстраде, которая была для нас полем боя за этот день. Сегодня к управлению многими сферами нашей жизни приходят те люди, которые когда-то студентами слушали наши стихи, прорываясь в залы без билетов. Наша поэзия, наши надежды стали частью психологии этой новой формации. Мы росли и развивались вместе с ними, помогали, как могли, своими стихами, чтобы наша страна стала на путь гласности, без которой

немыслима экономическая перестройка. Эта новая формация — поколение не запятнанных трагедиями прошлого. Такая биография дает возможность нового мышления, освобожденного от комплекса вины. Конечно, мы постарели, но мы еще многое должны досказать, доделать. Мы должны бороться за дело надежд нашей молодости и помочь воспитанию тех, кто заменит нас. Мы, конечно, изменились, но не изменили нашей молодости. В решениях XXVII съезда партии и в проводимой сегодня линии мы с радостью видим многие наши осуществляющиеся надежды.

Мы иногда ссорились, и даже, к сожалению, надолго. Но на съезде писателей мы снова выступали плечом к плечу, как когда-то, и это не было групповым сговором, а было естественным, как сегодняшнее развитие истории. И вот впервые за много-много лет мы собрались вместе в Переделкине и смотрели на видео чудом уцелевший эпизод из фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича», когда-то вырезанный, где мы в 1962 году читаем стихи в Политехническом. Я смотрел на эти кадры, и, ей-богу, мне захотелось плакать...

Когда-то я написал такие строки: «Быть со старым товарищем — как вернуться на Родину». Такое чувство у меня сегодня.

Булат ОКУДЖАВА: Нас объединило и выдвинуло время.

Это были такие годы, когда внезапно и бурно начало пробуждаться общественное самосознание, родились надежды, возникла потребность в духовном общении. Мы делали попытки говорить с людьми не тем языком, который господствовал долгие годы, а тем, который таился в них. Эти попытки увенчались некоторым успехом. Оказалось, что наш откровенный диалог обоюдно важен.

О первой моей книжечке говорить смешно и стыдно. Это была очень слабая книга, написанная человеком, страдающим калужской провинциальной самонадеянностью, хорошо, что в Москве я подвергся битью своими собратьями. Это меня очень отрезвило, о многом заставило задуматься.

Моими учителями были Пушкин, Киплинг, Пастернак. Если говорить о тех, кто «вывел меня в люди» в

практическом плане, не могу не вспомнить добрым словом Антокольского, Наровчатова, Евтушенко, Григория Левина, Михаила Львова.

Нынче я — профессиональный литератор. Пытаюсь рассказать о себе с помощью прозы, стихов, музыки.

Я думаю, что «нынешние времена» явились продолжением «тех времен», и в этом смысле весь еще не израсходованный запас энергии отдаю им с радостью и надеждой.

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ: Нам всем крупно повезло.

Наша литературная молодость совпала с двадцатым съездом КПСС. Совпала с общей разбухенностью страны, народа, совпала с неожиданным и мучительным переосмыслением прошлого, с возвращением реабилитированных, с круговоротом споров, сомнений, надежд и — вопросов, вопросов, вопросов!

Задавая эти вопросы и пытаюсь ответить на них, мы искали себя, взрослели, учились жить, учились любить и ненавидеть, учились думать...

С Евгением Евтушенко я встретился в Литературном институте. Так что знакомы мы с ним (даже вспоминать страшно) аж с 1951 года!

С Булатом Окуджавой и Андреем Вознесенским я познакомился позже — году в пятьдесят пятом.

Как мы относились друг к другу в то время?

Да, по-моему, нормально относились. С большим интересом и уважением. Хотя, конечно, и не без некоторой доли «подросткового», почти юношеского соперничества. (Сейчас вспоминаю все это, и самому смешно становится: господи, какими же молодыми были мы тогда!)

Часто встречались, вместе выступали на поэтических вечерах, бывали друг у друга дома, разговаривали, спорили, читали стихи.

Помню вечер, когда Булат впервые спел две свои песни...

Долгое время нас упоминали вместе, ругали вместе и хвалили вместе. Впрочем, если вспомнить шестьдесят третий год, то, пожалуй, больше ругали, чем хвалили.

И молодыми нас называли тоже очень долго — лет

до сорока пяти. Но мы не обижались: глупо на это обижаться.

У каждого из нас были свои сложности, свои удачи и неудачи, свои находки и потери. Мы жили, мы работали, но иногда мне казалось, что мы постоянно кому-то сильно мешаем. Причем мешаем неизвестно чем. Наверное, самим фактом своего существования.

Во всяком случае, регулярно на протяжении этих тридцати лет некоторые наши коллеги по Союзу писателей устно и печатно (но зато всегда с невыразимой радостью!) заявляли о том, что наконец-то мы «кончились», слава богу, «сошли со сцены», «исписались» и т. д. И каждый раз нам торопливо подыскивали замену.

Однако проходило полгода (или год), и тем же самым коллегам почему-то приходилось выступать снова и опять яростно доказывать, убеждать самих себя в том, что уж теперь-то мы «наверняка кончились», «прошли», «исчезли с поэтического горизонта»!..

Так что «кончались» мы множество раз. И никакими «творческими некрологами» нас теперь не удивишь. Привыкли.

И все-таки мы продолжаемся. Каждый — в меру своих сил. И будем продолжаться до тех пор, пока продолжают наши жизни.

Изменились ли мы за тридцать лет?

Безусловно, изменились. Иначе-то и быть не могло!

Что осталось в нас от тех, тогдашних?

Думаю, что многое осталось. Наверняка остался стержень характера. Ведь вырабатывается он в человеке гораздо раньше двадцати лет. Осталась память о военном детстве. Осталось ощущение начала и надежда, что какие-то главные строки, главные наши стихи еще на подходе.

Осталось (и приумножилось) искреннее уважение к литературе.

Пытался ли я «изменить время»?

Ну, знаете, для того чтобы ставить перед собой подобную задачу, надо обладать воистину гигантским самомнением!

Вы только представьте, как же должен выглядеть поэт, который сидит за письменным столом и на полном

серьезе размышляет: «А что будет, ежели я время изменю?!»

А вот с теми или иными вредными, лживыми тенденциями конкретного времени бороться можно и нужно. Всегда. При всех обстоятельствах. Даже через «не могу».

Строку: «Нас мало. Нас, может быть, четверо...» — я запомнил сразу. И, наверное, запомнил не я один. Но, по-моему, Андрей Вознесенский тогда схитрил: никого, кроме себя, не назвав, он как бы предоставил другим поэтам умозрительное право «бороться» за выход в эту четверку.

Ну а если говорить серьезно, то все рассуждения о «тройках, четверках и пятерках» больше подходят для хоккея с шайбой, чем для поэзии.

Необходимо отметить главное: мы никогда не были «группой» в нынешнем, литературном (а точнее, окололитературном) смысле этого слова. И поэтому никогда не занимались тем, чем занимаются такие группы сегодня, то есть не пытались «захватить» газету, журнал или издательство для того, чтобы подкармливать «своих» и обрушиваться на «чужих».

На подобную «активную творческую жизнь» у нас не было времени. Да и желания тоже не было...

Заметных и по-настоящему молодых поэтов (из тех, кому сегодня 23—25 лет), к сожалению, назвать не могу. Может быть, они и есть, но я их пока не знаю.

Мы входили в литературу, в поэзию, в которой еще вовсю работали Твардовский и Смеляков, Заболоцкий и Мартынов, Антокольский и Светлов, Луговской и Сельвинский, Симонов и Луконин, Самед Вургун и Назым Хикмет. Работали и другие (в том числе и очень большие) поэты. Но я перечислил только тех, с кем неоднократно доводилось встречаться, беседовать, выступать, ездить по стране, а с некоторыми посчастливилось и дружить.

Все они в той или иной мере помогали нам. Помогали хотя бы тем что были! И память о встречах с ними, их советы, их принципиальность, их стихи помогают нам до сих пор.

А еще тридцать лет назад вместе с нами входили в литературу такие поэты, как Борис Слуцкий, Владимир Соколов, Белла Ахмадулина, Олег Чухонцев. Без них

наша тогдашняя память и наш нынешний день тоже будут пустыми.

Есть и наши ровесники в республиках — на Украине, в Латвии, Литве, Белоруссии, Грузии, Армении, Казахстане, Таджикистане. Двадцать пять лет назад мы подружились с ними, и дружба эта продолжается по сей день. Помогает ли нам она? Конечно, помогает...

Помогать другим — дело естественное. А вот говорить и даже помнить об этом считаю занятием необязательным.

В сопредельные жанры «вторгался» потому, что это интересно. К тому, что делал (статьи, песни, «Документальный экран»), всегда относился очень серьезно. Во всяком случае, никаким «отдыхом от поэмы» эта часть работы для меня не была. Время сейчас разворачивается настоящее, интересное, живое. Очень нескучное время сейчас разворачивается!

Быть только свидетелем происходящего, существовать по принципу: «Ну-ну, поглядим, посмотрим, что у них получится...» — это значит предать свою молодость.

В перестройке страны надо обязательно участвовать!
Так и будем жить.

* * *

У Беллы Ахмадулиной есть стихотворение, которое заканчивается строками: «И были наши помыслы чисты на площади Восстанья в пол-шестого». Как слова эти удивительно искренне и пронзительно соответствуют благим порывам в будущее молодой тогдашней поэзии! Утверждение себя в жизни и в искусстве, гражданственная наполненность дум и помыслов, удивительно распахнутое волнение за все, что происходило вокруг... И здесь же почти юношеский максимализм принципов и оценок происходящего, «маяковское» ниспровержение тех или иных авторитетов, вера друг в друга. И неважно в конце концов — четверо, пятеро (Булат Окуджава, наверное, имел в виду еще и других, когда восклицал: «Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу»). Важно другое, и об этом говорили в Переделкине почти все: они не стали «стаей», группой. Все они разные, у всех свои

пути в жизни и в литературе, к кому-то из них, вероятно, судьба более благоволила, к кому-то менее — важно другое: их путь в поэзии был ярким, заметным, плодотворным. Они сделали свое дело. Очень хорошо об этом сказал поэт Вадим Шефнер: «...Никто не предполагал, что группа молодых поэтов столь быстро и целеустремленно войдет в нашу поэзию и не только утвердит в ней себя, но и изменит расстановку поэтических сил. Конечно, этим поэтам помогло время. Но ведь и они помогли времени. К стихам их можно относиться как угодно, это — дело вкуса. Но нельзя отрицать того, что молодые поэты послужили как бы неким бродильным началом, что они подняли интерес читателей к поэзии вообще. И перед лицом массового читателя яснее стало видно, кто чего стоит и кто на чем стоит». Я бы вспомнил и произнесенную будто сегодня строку Е. Евтушенко: «Посредственность неестественна, как неестественна ложь».

Чего у них не отнимешь, так это и в самом деле одного, но самого, пожалуй, главного — таланта. Их имена знакомы каждому. И пусть их пребывание в литературе, нелегкая творческая работа, их книги, дела, поступки помогут нынешним молодым, тем, кто думает «делать жизнь с кого». Ведь истинная поэзия — это живая глава живой истории.

Февраль 1987 г.



Белла АХМАДУЛИНА

МНЕ НРАВИТСЯ, ЧТО ЖИЗНЬ ВСЕГДА ПРАВА

Самое любопытное, что от меня останется,— это письма ко мне. Своего литературного значения я никогда не преувеличивала. Я была человеком своего времени и свой долг исполняла так, как его понимала.

Мне достаточно того, что среди неисчислимых любителей поэзии есть — пусть немного — те, кого я имею дерзость и нежность назвать моими читателями. Меня не раз поражала высокая просвещенность моих современников. Я видела множество

людей, никогда не читавших моих книг и не слышавших моего имени, но это их язык был дарован мне при рождении, и он был краше и лучше моего, с ними связана я всюю жизнью до последней кровинки.

Подобное ощущение бывало со мной не однажды: как-то я выступала на металлургическом заводе, прямо в цехе. После чтения стихов завязалась беседа со слушателями, и моя благодарность им вылилась в слова: «Я люблю вас, друзья! Но, поверьте, если не думать о словесности, мы не выживем». И рабочие мне поверили. А сегодня я еще раз поняла, что между пишущим человеком и читающим, слушающим, вообще между человеком и человеком не должно быть ни подобострастия, ни фамильярности.

...Метельным вечером наши «Жигули», оставляя позади себя километры проселочных дорог, по обе стороны которых пугающе чернели леса, медленно продвигались к Москве. В кабине — тепло и уютно, об ином собеседнике нечего было и мечтать...

Ситуация такова: когда я попросил Беллу Ахмадулину об интервью накануне ее юбилея, она пригласила меня быть ее спутником в поездке на творческий вечер в один из отдаленных подмосковных клубов. Прекрасно, подумал я, времени для беседы в столь дальней дороге будет достаточно. К тому же мне придется стать свидетелем встречи поэтессы с читателями, о которых она не раз с уважением отзывалась в стихах. Поэтессы, как считается иными, тонкой, изящной, камерной — с публикой «простой», не избалованной приездами столичных знаменитостей, да к тому же, мягко говоря, не совсем разбирающейся в тонкостях поэтического ремесла. Это и заинтриговало.

Одним словом, поездка состоялась.

— Ни в моей родословной, ни в поре детства не было ничего особо примечательного: происхожу я из скромной семьи служащих. Мой отец — Ахат Валеевич Ахмадулин, моя мать — Надежда Макаровна Лазарева. Бабушка, Надежда Митрофановна Баранова, урожденная Стопани, из семьи с итальянскими корнями, давно уже перепутавшись с русскими.

Я долго не говорила, и едва ли не первым осмыслен-

ным сочетанием слов было распространенное предложение, слетевшее с моих губ, когда я увидела тюльпан: «Я такого не видала никогда». С самого раннего детства, совпавшего с предвоенной порой, мне запомнился шар, беспомощно запутавшийся в ветвях, огромные оранжевые лепестки букета маков, облетевшего при первом порыве ветра... Это ощущение хрупкости всего на свете во мне очень сильно и сегодня, и я думаю, что в этом ощущении-отчаянии есть какой-то смысл, какая-то поучительность. Ну хотя бы в том, что красота не есть то, чем ты должен обязательно владеть, что вообще всякое владение чем-то непрочное.

Помню начало и все течение войны. Я жила в Москве, а потом, как и многие, оказалась в эвакуации. И всегда при мне была бабушка, редкостный по бескорыстию человек. Ей настолько было отвратным всякое имущество, всякое обладание чем-то, было в этом что-то действительно исключительное, выдающееся. Все живое она любила удивительной любовью. Помню, как, по-видимому, желая испытать ее вот эту вседоброту, подобрала я полуубитую крысу и с жутким отвращением приволокла бабушке. Ей же и в голову не пришло этим гнущаться, ничего, кроме жалости к умиравшему существу, у бабушки я не обнаружила.

Мое детство—это Маросейка, Покровка, Чистые пруды... Какими необыкновенно таинственными казались мне густые заросли Ильинского сквера! Однажды бабушку предупредили, что с таким-то мальчиком не надо играть, он болел корью и еще не совсем здоров. Но добрейшей Надежде Митрофановне так жалко было одинокого ребенка, что мы не могли удержаться от общения с ним. И, естественно, тут же я переняла болезнь.

Помню, как ехали мы в эвакуацию, в Уфу, и во мне, в несмышленише, трепетало ощущение какого-то огромного всенародного бедствия. Помню, как бабушка читала вслух Пушкина и Гоголя, и это во мне навсегда совпало с ощущением воздушных тревог, мрака безысходности и людской утешительности одновременно.

Детство, начало начал. Все дальнейшее, к чему я постоянно стремилась, так это страсть к сочинительству: в школе, во дворце пионеров, в литературных студиях и кружках. Здесь уместно сказать: несмотря на то что

сочиняла я просто ужасно, но уже оттуда, из дальней туманной поры, человечество я знаю с лучшей стороны — люди относились к моим занятиям милостиво и благо-склонно. Поэтому меня миновало чувство какого-то тяжкого культа человека, пытающегося что-то там сочинять и этим отличаться от других.

Ученические годы прошли в школах Колпачного, а потом Лялина переулков. Это все старая исконная наша столица. Наверное, отсюда и живо во мне, неистребимо мое московское чувство: Москва-река, маленькие церквушки, несуетные скверы, спешащий люд!

Впрочем, при этом я совершенно не могу обходиться без Ленинграда и провожу там значительную часть времени. От свидания к свиданию возвышается во мне и любовное чувство к удивительному Тбилиси.

Родители надеялись, что я займусь филологией или журналистикой. В Литературный институт после школы мне поступать не разрешили, в университет я не прошла и никогда об этом не жалела.

Устроилась на работу в многотиражку «Метростроевец». Период этот совпал с моими занятиями в литературной студии Евгения Винокурова на автомобильном заводе имени Лихачева. А на следующий год с необыкновенной легкостью поступила в Литинститут.

— С той поры, Белла Ахатовна, прошло тридцать лет, и в том, что вы рассказали, мне видится некое предощущение понятия «судьба поэта». Как вы осмысливаете его? Как вообще вы осмысливаете то удивительно интересное время, когда многое и в вашей жизни, и в жизни страны еще только начиналось? Вспомните о своей юности... Ведь вы, наверное, изменились с тех пор?

— Думается мне, что у времени нет привычки ходить по обочине.

И они, эти тридцать лет, не мимо меня прошли, не стороной. Или я, во всяком случае, не на обочине находилась. Они через меня и двигались, эти тридцать лет. И мудро было бы мне не измениться. Но моя доброжелательность к моим коллегам осталась неизменной. Каждый из нас, наверно, и тогда, и сейчас отстаивает право на художественную отдельность и совершенно не собирается держаться в этой вот неразрывности имен. Эта отдельность и тогда, наверно, была заметна, но каждый

в ней, видимо, только утверждался по мере своего развития.

Я без лишнего упоения и без всякого обольщения вспоминаю собственную молодость. Я не могу быть ею зачарована, я, конечно, изменилась. Что во мне осталось от прежней? Думаю, что хорошее и в тех пределах, в которых это хорошее было мне дано. И мне не удалось с этим разминуться, потому что есть что-то изначальное, чему судьба и характер как-то следует. Но сам этот мой молодой образ не слишком для меня обольстителен. Умственное развитие мне тоже удалось претерпеть, и то состояние моего ума я вспоминаю как всегда очень пылкое, готовое к вдохновению. Я много писала, не замечая времени суток. Но если строго говорить, то это отчасти и отнимая время от моего образования, я чувствовала свое невежество, свою недостаточную осведомленность (я и сейчас не могу ее назвать достаточной), но тогда она не позволяла мне многого прочесть из того, что было нужно.

Представление о недавней отечественной истории какое-то поверхностное и смутное. Сейчас я к этому более серьезно отношусь и большую ответственность в связи с этим ощущаю. Но как важны были именно те годы. Они так много переменили в жизни общества, и это и сказывалось на успехе поэтических эстрадных выступлений, потому что люди как бы ждали от поэтов скорейшего ответа на вопросы, которые их занимали. Что касается меня, то я еще не могла сама ответить на многие вопросы, занимавшие в то время нашу слушающую и читающую публику. Я, правда, не знаю, насколько и сейчас в этом преуспела, но с годами мне пришлось поступиться какой-то все-таки суетностью слишком шумных выступлений, и сегодня к ним совершенно спокойно и строго отношусь.

Да, течение времени не может не влиять на человека. Я уверена, что эти тридцать лет, наполненные многими важными событиями, так или иначе содейли меня и те мои качества, из которых я сейчас состою. Сама же преднамеренно влиять на время никак не надеялась и думаю, что это было бы слишком развязно и претенциозно, но я думаю, что все-таки всякий человек, допущенный до каких-то художественных изъятий или

вообще любых изъявлений своей личности, так или иначе и сказывается на времени. А суждений о том, кто на кого сумел повлиять, нужно спросить у тех, кому сегодня тридцать, тех, кто родился в ту пору. Думается, что они ответили бы так же.

Кстати, когда мы начинали, тогда жили великие русские поэты Анна Андреевна Ахматова, Борис Леонидович Пастернак, и я нисколько бы не обиделась, если бы какие-то люди мне сказали, знаете, совсем не ваши выступления на меня повлияли, а присутствие этих имен в литературе. Да, один из нас сказал: «Нас мало, нас, может быть, четверо...» Но другой из нас сказал: «Я стол прошу накрыть на пять персон на площади Восстанья в полшестого...»

Да, когда мы начинали, тогда начинали многие... Просто по разным причинам иные из них не были так известны. Наш ровесник Александр Кушнер, к примеру, который жил другой жизнью, более замкнутой, более тихой и вообще незаметно... преподавал. Я говорю это к тому, что Политехнический и Лужники — не единственный путь для поэта.

Кто повлиял на меня? Мое отношение к Ахматовой и Пастернаку можно назвать только обожанием. Обожание не есть самый счастливый способ относиться к тому, кого ты любишь, потому что это как-то заведомо обречено на некоторую независимость. Хотя бы потому, что сила вот этого моего чувства никак не допускала меня до того, чтобы я искала с ними встречи, напротив, я их страшно сторонилась, ну, видела их, конечно, но не потому, что имела такую прыть, а просто по судьбе так вышло. Просто совпадение с ними на белом свете на меня очень действовало. Но были еще влияния другого рода. Скажем, Ярослав Смеляков. Я познакомилась с ним в 56-м году, еще будучи совсем молодой, и эта встреча не могла не поразить меня. Он, кстати, был первый, для меня первый из тех, кто вернулся из заключения. Я ведь рано начала литературную жизнь и сразу попала в среду старших. Кстати, те или иные мои современники, поэты были хоть не намного, но старше меня, и эта разница в возрасте незначительна, но они несомненно влияли на меня своей работой, своим недалеким присутствием. Но вот вернулся Смеляков. И мой убогий опыт, совсем малый и

совсем благополучный все-таки сумел воспринять в себя опыт, совершенно мне неведомый. Ну как соотносить собственный уют недлинной пока биографии с тем, что происходило на белом свете?

Мне как-то сразу стали помогать. Я попала в литературное объединение к Евгению Винокурову еще до Литературного института, он принял во мне живое участие, многое мне дал, его поражала моя страшная неосведомленность в литературе, искусстве. Он искренне поражался той умственной темноте, которая сочеталась во мне с какими-то светлыми порывами души. Он сам напечатал мои стихи, передал Щипачеву. Я не однажды вспоминала мягкость, доброту Степана Петровича. Во-первых, я жила тогда в огромной коммунальной квартире, а родители мои не поощряли моих литературных занятий, и Степан Петрович стал звонить им. Это совершенно поразило моих родителей. Он стал звонить и просить меня увидеться, а я от молодой гордости, за которой стояла только скованность и неуклюжесть, я уклонялась от этих встреч. Но он тем не менее все-таки нашел способ увидеться и напечатал мои стихи. Вскоре я получила письмо от Ильи Сельвинского, которое предредило легкое мое поступление в Литературный институт. Ведь стихи-то мои были совершенно детские.

Потом по сюжету моей жизни я видела писателей многих, действовавших в литературе. Трудно назвать литератора, с которым бы я разминулась, и многие имели ко мне какую-то мягкость и благосклонность, и от каждого из них во мне что-то осталось. Это было больше, чем обучение, это была жизнь, будившая дух, я проходила какую-то литературную и человеческую школу.

Старалась ли я помочь молодым? Самое большее, что я об этом могу сказать,—это то, что я, правда, всегда старалась как-то кому-то помогать разным способом, любым для меня возможным, но помянуть об этом считаю совершенно невозможным. Мне кажется, что всякое упоминание о том, что ты старался для людей что-то сделать, вообще сводит на нет значение этого маленького добродейния... Думаю, что они сами еще отзовутся когда-нибудь...

У нас есть сейчас все основания ощущать перемену времени, и мне бы хотелось это соотносить в каком-то

смысле с собой, с теми моими коллегами, которые начинали вместе со мной. Будем надеяться, что эта перемена времени несомненно благодатно скажется на появлении новых литературных имен. Потому что всякая перемена такого рода поощрительна для появления новых имен не только в искусстве, но и вообще в разных областях человеческой деятельности. Во всяком случае, я искренне надеюсь на это.

Если же говорить о влиянии времени или тех или иных обстоятельств на мое, выражаясь высоким слогом, вдохновение, то оно всегда приходит ко мне, когда я сосредоточена и замкнута в своей работе.

Хочу заметить, что никто не бывает так счастлив на белом свете, как поэт. Только он один, сколько бы ему ни выпало жить, может поражаться сочетанию цвета и света, капли и солнечного луча, осознать блаженство бытия, всегда думая о небытии больше, чем другие. Счастье для любого человека — это умение радоваться. А для поэта в особенности, потому что всем остальным людям нужно что-нибудь, а поэту — ничего...

Как читатель и как человек, я всегда думаю о судьбах великих поэтов и, имея в виду трагедии их жизни, считаю, что великий поэт никогда не уйдет раньше своего срока. Ахматовой было дано именно столько прожить со всеми ее страданиями, а Лермонтову столько, сколько он и прожил... Но именно великий поэт должен успеть сделать и то, что он должен сделать для человечества. А от чего сие зависит, это уж другое... Да и про Пушкина осмелюсь сказать, что, уже обреченный, он не покинул бы нас, если бы не смог сделать всего, что ему предначертано. А Цветаева? Никогда никакая сила не заставила бы ее уйти из жизни, если бы долг не был ею исполнен. И поэтому я точно знаю, что сослагательное наклонение здесь не применимо. Что, если бы да кабы... Я уверена, судьба поэта predetermined. Он так не случаен (впрочем, я думаю, что и никто на свете не случаен, всем судьбам есть объяснение), этот человек, наиболее призванный к трагическому способу существования. Он, как правило, не задерживается на белом свете, и удел других спасти его, но обычно из таких попыток ничего не выходит...

Несколько мрачновато, но подлинный поэт, навер-

ное, действительно трагично ощущает пульс времени. В который уже раз вспоминаются слова Гейне о трещине мира, проходящей через сердце поэта.

— Да, я уверена, что трещина мира проходит через сердце поэта. Люди доверяют поэту, делятся с ним душевной болью, просят помощи, поверяют свои сокровенные тайны. Хотя, казалось бы, коль ты художник, замкнись в себе и пиши. Но настоящий художник никогда в себе не замыкается, и обязательно все, что он творит, он творит рядом с людьми. Иначе он не может.

— Считаете ли вы свою поэтическую судьбу счастливой?

— Я считаю себя счастливым автором, ибо отчасти и на меня падает благосклонность читателей.

— Как вы относитесь к тому, что иные критики подразделяют поэзию на «мужскую» и «женскую»?

— Абсолютно не признаю этого и не принимаю! И не хочу знать, что пишут критики и литературоведы по этому поводу. Я знаю только, что у нас в России в двадцатом веке было два великих поэта женского полу. Но это ничего не значит, кроме того, что они еще претерпели те тяготы, которые выпадают на долю женщин. Человек, который занимается искусством, мужского он полу или женского, должен равно быть при всех человеческих качествах. Более мужественного, доблестного мужчины, чем Пушкин, на белом свете я не знаю. Такими же качествами обладали Ахматова и Цветаева. То есть в них тоже были и мужество, и честь, и доблесть, и при этом они были еще и женщины, что только усугубляет трагедийную сущность их существования. А что же такое поэзия женская? Я не знаю этого. А если она и бывает, то дай ей бог... Быть может, вы имеете в виду слова Павла Антокольского, который говорил: «Она не поэтесса, а поэт!» О других мне судить неловко, а про себя я бы так сказала: хоть горшком назови, только в печку не сажай.

— Извините, но сажание горшка в печку — это именно тот самый быт, который отнял, быть может, лучшие строки у Марины Цветаевой. Вам ведь тоже приходится сопротивляться быту, каким-то мелочным житейским заботам?

— Марина Цветаева старалась не замечать тягости быта, она сумела и с этим совладать как поэт, как женщи-

на, как гений. А я всего лишь несовершенный современник и соотечественник своих сограждан, и мне в этом смысле нет никакой поблажки. То есть я должна также думать и о детях, и о еде, и о муже. Только мне, может быть, легче, потому что люди помогают. А как же иначе?

— Белла Ахатовна, в последнее время все чаще и чаще говорят о том, как резко упал интерес читателей и покупателей к поэтическим книгам, что произошла некая девальвация поэтического слова. Вы задумывались над этим или нет?

— Я совершенно обратного мнения. Мне кажется, интерес к поэзии не только не упал, а наоборот, наша читающая публика по сравнению с шестидесятыми годами неимоверно усовершенствовалась. Тогда люди очень торопились читать, торопились услышать поэта. Мне кажется, сегодня интерес к поэзии не стал поверхностным, чем был раньше, а стал более глубоким.

Четверть века назад интерес к поэзии, символизируемый Лужниками и Политехническим музеем, эти огромные аудитории я вспоминаю без всякой грусти, был каким-то поверхностным, а сейчас все стало гораздо тоньше, я бы сказала, читатели стали много изысканнее, много прихотливее. Вот только беда — книг не хватает.

— Хороших книг.

— Тех, которые нужны читателю, скажем так...

— Еще совсем недавно многие авторы спекулировали на таких понятиях, как «социальный заказ», «гражданская тема», используя их, как правило, в корыстных целях для создания произведений скороспелых, поверхностных и, как правило, не нужных читателю. Что вы об этом думаете?

— Поэт не может не быть гражданином своего Отечества. Только как много всяческих спекуляций, обманов, просто словесной чуши скрывается за этими высокими понятиями. Что касается меня, то я всегда точно знала, где я родилась, где я живу и чему я, собственно, служу. Конечно, когда я пишу стихи, я об этом как бы и не думаю, ибо это в плоти и крови... Но я ни на минуту не могу забыть о соотечественниках своих, о том, как они живут, какую радость они испытывают и какие горести лежат на их плечах. Поэт не может от этого отвлекаться. Отвлечься от истории своей страны, от вещности сего

преходящего часа, сего мига. И счастье в том, что кто-то совпал с тобой во времени, на этой земле, а ты совпал во времени с ним. Меня утешает, что есть люди, которые тонко и сильно чувствуют поэзию, люди, с которыми мы совпали во времени и для которых я пишу и живу.

— Белла Ахатовна, я слышал о вас такое суждение: Ахмадулина пишет по наитию, за многими ее стихами нет конкретных реалий бытия, спросите у нее о том или ином стихотворении, и она не сможет ответить, когда и во имя чего оно написано. Так ли это?

— Абсолютно неверно! Все мои стихи рождались по совершенно конкретным поводам жизни, про все свои стихи я помню все: когда, где, как, из чего они возникли, и я не верю тем сочинителям, которые утверждают, что ничего не помнят, что пишут по наитию, что в голове у них всегда туман, облака, морока... Нет, у меня все не так...

— Часто на вечерах вы читаете стихотворение «Как долго я не высыпалась...». Скажите, оно особенно любимо вами или оно привлекает вас своим действительно «осязаемым» материалом, живыми судьбами «Мандельштама и Марины»?

— Как ни странно, это стихотворение многим нравится, хотя оно мне кажется неказистым. Оно дорого мне, пожалуй, тем, что я читала его по радио и едва ли не впервые так громогласно, «вслух» было произнесено имя Мандельштама. А вообще оно не совсем совпадает с моим нынешним представлением о существовании предмета, в нем излагаемого.

— К вам приходят молодые поэты?

— Вы знаете, лучшие не приходят. Они только письмо напишут с каким-то добрым словом, пришлют стихи, но ни о чем не просят. Сами ходят по издательствам, по редакциям. Или не ходят вовсе, прячут написанное в стол.

— Вы говорите, лучшие не приходят... Но ведь так гибнет талант: в забвении, в несмелости. Как же быть?

— Да, бережное отношение к талантливым людям необыкновенно важно. Все-таки пишущему человеку обязательно нужно печататься. И следить за этим должны другие. Часто получается, что публикации просят как милостыни какой... Горько вспоминать Высоцкого. Я

имела счастье числиться в его товарищах. О, если бы вы знали, как желала я тогда, чтобы его печатали. При жизни только раз ему удалось опубликовать одно стихотворение в «Дне поэзии». Но ничего, кроме печали, это не принесло. Сегодня видно, как вредило ему, что стихи не печатались.

Вы знаете, о чем еще я думаю: не нам судить, талантлив человек или нет, здесь время — верховный судия. Важно другое: человек должен печататься! Пишущему должна быть дана такая возможность. Особенно молодежи. По-моему, сегодня в поэзии критическое положение: где талантливые молодые поэты, где имена?! Их нету? Они есть! Но они отважены редакциями, грубым обращением издательств, чинушами от литературы, уязвлением их самобытности.

— А как сложилось у вас с первыми публикациями? Вам помогал кто-нибудь?

— Не посчитайте за нескромность, но мне помогли все. Павел Григорьевич Антокольский за меня ходил и палкой своей стучал.

О нем вспоминаю с особенной любовью. Каким необыкновенно расточительным он был на доброту, на нежность, на желание помочь молодежи. Для меня он был чем-то большим, чем просто старшим товарищем, старшим коллегой, все в его бытность как-то сместилось — возраст, годы, и я уже не замечала, что он намного старше меня... Вы знаете, нынче я вижу, как трудно заменить его для тех, кто только начинает свой литературный путь.

И другие мне помогали. Иначе откуда бы появились книги, пластинки... Сама я порога не могу переступить и попросить: «Возьмите мои стихи, пожалуйста». Никогда я этого не делала. И не буду делать.

Кстати, хочу заметить, что в журналах и в издательствах есть немало совершенно бескорыстных подвижников своего дела и им нелегко бывает — ведь поток рукописей огромен. Они истинно любят поэзию и хотят помочь многим, но не всегда это в их силах.

— Белла Ахатовна, первые ваши публикации были одобрены читателями, критикой, но потом появились разносные статьи. Как вы к ним относились?

Знаете, я всегда их вспоминаю с... любовью, эти

разносные статьи. Именно они помогли мне многое понять. Только ошибочка вышла одна — с тех-то пор и заинтересовался мною читатель...

— Мне кажется, Белла Ахатовна, что происходящая сегодня в обществе трансформация нравственно-духовного климата положительным образом коснулась и вас непосредственно. Иными словами, хотя вы и раньше временами пользовались расположением издателей и читателей, нынче, как говорится, пришел и ваш «черед». Вас, наверное, наперебой приглашают в издательства, редакции, в аудиторию?

— Я не могу сказать, что прошлые времена прошли для меня даром, поэтому никакого особого головокружения сегодня я не испытываю от того, что, как вы выразились, «пользуюсь расположением»... Я даже почувствовала некоторую опасность в том смысле, что приходится участвовать в каких-то мероприятиях: записях, съемках, выступлениях, дискуссиях, ответах на вопросы, одним словом, суетиться, и я уже тревожусь — не потерять бы за этим главное. Главное же мое дело — писать стихи, заниматься литературой. А благодарное время само, если будет надо, воспользуется плодами этого труда. Я служила и надеюсь еще отслужить жизни. И счастлива тем, что знала ее благо, была читателем прекрасных книг, пыталась творить добро и видела доброту людей.

...Так проходила беседа с Беллой Ахмадулиной, замечательным поэтом, чье творчество всегда вызывало интерес читающей публики. И публики слушающей. Положа руку на сердце, я был поражен прямо-таки магическому воздействию стихов Беллы Ахатовны на людей. Вернее, не только стихов, но и всего, что она говорила, отвечая на записки, ее манеры гордо и возвышенно держаться на сцене, ее пронзительного, всегда на высокой ноте и готового сорваться голоса. Я почему-то вспомнил Маяковского, обронившего когда-то ставшую знаменитой фразу о читателе, который должен подниматься до уровня понимания поэта, а не наоборот. Так вот, почти три часа общения Ахмадулиной с залом, три часа абсолютной тишины и внимания, проникновения в непростую и плотную ауру ее возвышенного слога потрясли всех, кто пришел на встречу. На записки гостя отвечала искренне, доходчиво, остроумно. Она вспоминала о встречах с

Ахматовой и Пастернаком, благодарила учителей в поэзии, размышляла о современной литературе, рассказывала о своих детях. На вопрос «Что в вашей жизни было неожиданностью?» Белла Ахатовна ответила: «Орденом наградили!»

О многом спрашивали в своих записках пришедшие на вечер. Но никто в этом зале не знал, что в жизни Беллы Ахмадулиной было одно событие, представляющееся ей уникальным и важным,— встреча с писателем Владимиром Набоковым. Поэтому я решился спросить ее об этой встрече.

— Русский язык Владимира Набокова был для меня столь пленителен, что я много раз порывалась написать ему и довести до сведения этого замечательного писателя, что он не вполне разминулся с Россией и что не навсегда Россия разминулась с ним.

Поверьте, когда я говорю о любви к писателю тем более знаменитому, это вовсе не значит, что я ищу с ним встречи. Если уж судьба сама меня с ним сводит... А так я считаю неблаговоспитанным и нескромным навязываться на общение. Тем не менее случилось так, что мы с мужем Борисом Мессерером оказались в 1977 году в Швейцарии и мои друзья, русские люди, живущие за границей и безмерно любящие Россию, знавшие про мое отношение к Набокову, организовали встречу с ним.

Нас соединили по телефону, и Набоков сообщил, что, несмотря на болезнь и усталость, он приглашает к себе к четырем часам следующего дня. И вот мы выехали из Женевы в небольшое местечко Монтре, где жил писатель. Последние годы жизни он провел именно здесь, в отеле «Монтре Палас».

Купив по пути цветов для жены Набокова Веры Евсеевны, мы с волнением мчались на свидание с одним из удивительнейших писателей двадцатого века.

В первые мгновения я была поражена необыкновенной красотой лица Набокова, его благородством. Я много видала фотографий писателя, но ни одна не совпадала с подлинно живым выражением его облика. Владимир Владимирович еще раз извинился, что нездоров и что много времени, к сожалению, не сможет уделить нам, но тем не менее встреча наша затянулась. Конечно же, нам

было интересно слушать Владимира Владимировича. Поэтому мы больше молчали.

Он спросил: «Правда ли, мой русский язык кажется вам хорошим?» «Он — лучший», — ответила я. «Вот как, а я думал, что это замороженная клубника».

Заговорил о своей работе, сказал, что во время болезни у него сочинился роман, по-английски. Он вообще все последние вещи писал по-английски. Кстати, многие считают, что его английский поразителен. Уточнил, что роман как бы сам собой сочинился и что остается только положить его на бумагу. Упомянул о книжке стихов, которая тогда готовилась к выходу. «Может быть, я напрасно это делаю, мне порой кажется, что не все стихи хороши». А потом пошутил: «Ну еще не поздно все изменить».

Мной владело сложное чувство необыкновенной к нему любви, и я ощущала, что, хотя он мягок и добр, свидание с соотечественником причиняет ему какое-то страдание. Ведь Россия, которую он помнил и любил, думала я, изменилась с той поры, когда он покинул ее, изменились люди, изменился отчасти и сам язык, да и многое другое, что связывало его с прошлой жизнью. Он хватался за разговор, делал усилие что-то понять, проникнуться чем-то... Быть может, ему причиняло боль ощущение предстоящей страшной разлуки со всем и со всеми на земле, и ему хотелось насытиться воздухом родины, родной земли, человека, говорящего по-русски.

Я не знала, что ему оставалось жить совсем недолго. Это был март, а летом Владимира Владимировича не стало. Я вспоминала свидание с ним как удивительнейший случай в моей судьбе. В одном из романов у него сказано, что можно ведь вернуться в Россию под видом какого-то персонажа... Я заметила ему, что он вернется в Россию именно тем, кто он есть для России. Это будет, будет! — повторяла я. Набоков знал, что книги его в Советском Союзе не выходят, но спросил с какой-то надеждой: «А в библиотеке (он сделал ударение на «о» — в библиотеке) можно взять что-нибудь мое?» Я развела руками.

На другой день, вернувшись в редакцию, я вспомнил, что в нашем отделе литературы находится небольшая, всего в две с половиной странички, статья известного

театроведа В. Гаевского «Голос Беллы». С разрешения автора привожу отрывок из статьи, во многом точно и тонко характеризующей Ахмадулину:

«Перечтите ранние стихи Беллы Ахмадулиной, вас поразит не изысканность (к этому Ахмадулина давно приучила), но трезвость. Это самые трезвые стихи, написанные в ту опьянявшую стихотворцев эпоху. Может быть, поэтому лучшие стихи Ахмадулиной классичны. В них отсутствует наивная вера в то, что слово поэта может защитить и спасти друга. Сама интонация ее детского голоса, как мольба: боже, не покарай товарищей, таких неблагоразумных. Об этом говорится впрямую. Стихи Ахмадулиной — заклинания, заговор, в некоторых случаях — спор с судьбой, в других — негромкое бормотание, в котором, однако, заключена колдовская сила».

Вдумчивый читатель многое увидит за этими словами. Более прямо, категорично высказался в свое время Павел Антокольский:

«Ахмадулина прежде всего внутри истории, внутри необратимого исторического потока, связывающего каждого из нас с прошлым и будущим...»

Мне нравится, что Жизнь всегда права,
что празднует в ней вечная повадка —
топырить корни, ставить дерева
и меж ветвей готовить плод подарка.
Пребуду в ней до края, до конца...

Настоящая поэзия всегда с жизнью. И, пока будет жизнь, людям будет нужен поэт. Тот, что внутри самой истории.

Апрель 1987 г.



Василь БЫКОВ

ТРАВА ПОСЛЕ НАС

Василь Быков, его творчество продолжают вызывать большой интерес читателей. Новые произведения, выходящие из-под пера известнейшего белорусского прозаика, пишущего в основном «про войну», сразу же обжигают людское сердце, тревожат душу, заставляют думать, берегут память.

Давно мне хотелось повстречаться с писателем, поговорить с ним. Скромный и застенчивый, многозаятый общественными делами человек, не любящий суесловия, парадности, Василь Владимирович

никак не мог выбрать время и настроение принять корреспондента. Тогда я послал ему телеграмму с вопросами, зная, что он приедет в Москву на пленум Союза писателей СССР.

МИНСК ТАНКОВАЯ УЛИЦА ДОМ ДЕСЯТЬ КВАРТИРА 132 ВАСИЛЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ БЫКОВУ ТЧК ПРОСИМ ОТВЕТИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА ОГОНЬКА ФЕЛИКСА МЕДВЕДЕВА ТЧК ПЕРВЫЙ НЕ КАЖЕТСЯ ЛИ ВАМ ЧТО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЧИТАТЕЛИ КАК БЫ ПООСТЫЛИ К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ НА ВОЕННУЮ ТЕМУ ТЧК ЕСЛИ ВЫ С ЭТИМ СОГЛАСНЫ ТО ЧЕМ ЭТО МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ ТЧК

Мой неожиданный журналистский прием оказался удачным: писатель письменно ответил на некоторые вопросы и передал их по приезду в Москву, потом мы встречались с ним в гостинице «Россия», где он жил, и два дня просидели вместе на писательском форуме в Центральном Доме литераторов. Так появилось это интервью.

— Не так давно в печати я с опаской предсказывал скорое наступление такого охлаждения. Дело в том, что мы давно и прочно привыкли существовать в ритме различных общественно-политических кампаний, которые с удивительно отрегулированным постоянством на протяжении десятилетий сменяют одна другую. Мы с шумом и упоением отпраздновали сорокалетие нашей победы в Великой Отечественной войне, когда, по-видимому, и произошло неизбежное перерасходование энергии почтения и восторгов. Наступил естественный спад — спад внимания, интереса к проблемам прошлой войны и литературы о ней. На многие, даже очень ценные вещи у нас нет твердого, устоявшегося взгляда, мы в значительной мере подвержены моде, кампаниям, постоянно жаждем новизны, эпатажа и, если их нет, очень скоро отворачиваемся к другим проблемам и сомнительным ценностям...

— В редакцию пришло письмо от женщины, которая не читает тех книг о войне, в которых герои умирают. Что вы думаете о таком читателе?

— Если не иметь в виду, быть может, какие-то особо личные обстоятельства в судьбе этой женщины, думаю,

что она принадлежит к таким читателям определенного рода, которые сформулировали свое отношение к искусству, как к комфортному мероприятию. Неважно, что должно приносить удовлетворение: роман ли, кинофильм или концерт. Если же произведение вызывает чувства другого плана, то такое произведение считается плохим или каким-то не тем. Что касается читателей, то бог с ними, таких читателей немало и у нас, и за рубежом. Плохо, что в последнее время такие мысли высказывают специалисты, критики, которые, уже после того как наша литература заговорила о негативных явлениях недавнего прошлого, почувствовали тоску и печаль по хорошим людям, по комфортным отношениям. Наверное, автору было бы приятнее написать о хороших людях, о хороших отношениях и доставить тем самым наслаждение читателю, но чего стоит такая литература, особенно в наше время? Литература, которая способна не разбудить, а усыпить. А разве в этом назначение искусства?

— Григорий Бакланов в недавнем интервью сказал, что, как показывает опыт, «самые значительные книги о войне написаны ее участниками». И это означает, что невоювавшие, то есть все те, кому сегодня до пятидесяти, не могут браться за военную тему. Вы согласны с такой точкой зрения?

Трудно не согласиться с Баклановым, хотя это мнение вряд ли понравится многим молодым писателям. Но в таких случаях в качестве оптимального выхода я указываю на пример молодой белорусской писательницы Светланы Алексиевич, родившейся после войны. Она не стала о войне сочинять небывлиц, а с магнитофоном в руках пошла к воссавшим женщинам и записала сотни их исповедей-рассказов, из которых и создала книгу. Эта ее книга прозвучала свежо и искренне даже в белорусской литературе, в которой о войне, как известно, написано хорошо и немало. Потом появилась и новая книга Алексиевич воспоминания подростков, переживших войну. Это ли не пример для невоювавших, но обнаруживших свою приверженность к теме войны, в плодотворности данного метода? Следование же по другому пути — пути чистого воображения, сколь бы плодотворным он ни был, не может застраховать от вторичности, приблизительности, эмоциональной упрощенности, особенно за-

метных в сравнении со столь мощно звучащими произведениями о войне, написанными ее непосредственными участниками.

— Василь Владимирович, по мнению некоторых критиков и писателей, именно вы наиболее естественно выражаете правду и сущность войны. Читая это, я всегда задумывался: а разве другие писатели не сказали правды о той суровой и великой поре?

— Сам я так не считаю. Наоборот, я думаю, что именно другие авторы, особенно в русской литературе (Симонов, Смирнов, Бакланов, Бондарев, Воробьев, Крутилин, Астафьев, Адамович, Гусаров и др.), написали больше, а главное, лучше меня, начавшего позже и во многом так или иначе уже учитывавшего их опыт. Может быть, некоторая моя заслуга состоит в том, что я смелее пошел на упрощение и заострение отдельных характеров и положений там, где другие авторы стремились к большей художественности, романной основательности. Но еще неизвестно, кто в конце концов окажется в выигрыше, а кто в проигрыше, это определит лишь неумолимое время.

— Один из критиков в свое время несправедливо обвинил вас в «ремаркизме». Вы не обиделись, не оскорбились? Как вообще вы воспринимаете критику в свой адрес? К сожалению, некоторые наши маститые писатели стали воспринимать даже незначительные критические замечания в свой адрес как личное оскорбление, почти навет.

— Разумеется, я обижался на многие несправедливые обвинения в свой адрес, но только не на этот укор. В то время я уже хорошо знал, что навешивание ярлыков и обвинения во всяческих «измах» — отработанный прием определенного толка критиков, но что касается Ремарка и особенно его известного романа, то я слишком уважал этого автора, чтобы обидеться за причисление к его последователям. Ремарк — большой писатель-гуманист, пришедший к нашему читателю в благодатное для нас время и добротворно потревоживший своими образами наши вдруг посветлевшие головы.

— Есть правда о войне, выраженная в ваших книгах. Есть правда нашей истории, правда о сегодняшнем быстроекующем дне. Читатели воспринимают вас как ярост-

ного правдолюбца, честного, мужественного художника. Скажите, можно ли ожидать от вас книги, я бы сказал так, не о войне?

— В последнее время у меня все чаще появляется такое желание, для которого, я думаю, в окружающем мире достаточно оснований. Но что касается недавнего прошлого и его поразительных проблем, то, будучи реалистом, не перестаешь сожалеть об отсутствии у тебя дарования бессмертного Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, своеобразный талант которого с таким блеском изображал всю степень алогичности многих общественных явлений, успешно просуществовавших до наших дней.

— На обелиске одной из братских могил под Кировоградом в списке погибших значится ваша фамилия. Случай уникальный для фронтовика, оставшегося в живых. Как это произошло?

— Зимой сорок четвертого года в ночном бою под Кировоградом был разгромлен стрелковый батальон, в котором я служил. Место это на короткое время захватили немцы. Наши части были отброшены, батальон почти целиком подмяли немецкие танки, командир погиб, многие солдаты тоже. Потом фашисты отошли, но начавшиеся в степи снегопады замели места боев и тела погибших. Хоронили убитых жители окрестных деревень только в марте, когда растаял снег. Наш фронт к тому времени был уже далеко, на Южном Буге. Поэтому всех погибших опознать не могли. У кого были документы, те были и опознаны. А те, у кого документов не оказалось, остались безвестными. В деревне Большая Северинка захоронили в братской могиле около 150 человек, и далеко не все имена были установлены. Я же в том бою был ранен и после нескольких дней приключений попал в госпиталь Пятой танковой армии, то есть в госпиталь другой армии. На поле боя осталась моя полевая сумка, а в ней мои документы. Таким образом, по штабным документам я числился убитым, поскольку в свою часть не вернулся.

— Я слышал, что вы ведете довольно аскетический образ жизни, что вы жесткий, сухой человек. Скажите, таким вас сделала война, переживания?

— В вашем вопросе до известной степени отразились

наветы моих недоброжелателей. Вовсе я не аскет и не сухой человек, но вот я думаю, как глубоко был прав Джон Стейнбек, сказавший однажды: «Ужасное это дело — утрата безвестности». Наверное, всякому живому человеку, не только писателю, трудно бывает мириться с тем, что его жизненное, отпущенное ему судьбой время беззастенчиво транжируется, растаскивается, расхищается для вздорных, ненужных дел и мероприятий. Могильщик писательского времени — телефон — тиранит сверх всякой меры. Я стараюсь избегать хотя бы части его вздорных требований, но нередко сдаюсь, загнанный в угол многоопытными организаторами никому не нужных мероприятий, и, сидя где-нибудь на очередном заседании и уныло слушая пустопорожнюю болтовню упоенных собой краснобаев, горько упрекаю себя за бесхарактерность. Выкроить полдня тихого одиночества для работы становится все труднее в век безудержного бюрократического ускорения — кажется, самой безусловной реальности, ставшей уже бытом и бытием для многих.

— Вас тянет туда, где вы бывали в годы войны, где сражались, где прошла часть вашей молодости?

— Кое-где я побывал. В Венгрии, например. Места, конечно же, изменились, многое трудно узнать. Конечно, тянет туда, где воевал, где прошла часть молодости. Но я считаю, не надо стремиться на встречу с прошлым, потому что неизбежны разочарования. Потому что настоящее никак не соответствует образу, созданному в твоей памяти. И вы знаете, я понимаю, почему Марк Шагал, когда он приезжал в Советский Союз, не посетил Витебск. Он, наверное, поступил правильно. Этот умный старый человек понимал, что он не отыщет того, чего нет. Ведь послевоенный Витебск — это совершенно изменившийся город. Хотя в нем есть дом и улочка, где жил Шагал, но это вовсе не значит, что именно такими они существовали в его памяти. Поэтому, чтобы не разрушать в себе дорогое, не надо заново искать его.

Кстати, уж коль я заговорил об этом великом художнике, замечу, что белорусская интеллигенция благодарна Андрею Вознесенскому, напечатавшему свой очерк о Шагале в «Огоньке» и в этом порыве опередившему любого из нас. Конечно, поначалу мы должны были

написать о Шагале у нас в Белоруссии. Но у нас, к сожалению, до сих пор существует разброд по отношению к имени, к творческому наследию ныне всемирно известного художника. Снова повторяется прежняя, почти библейская истина: нет пророка в своем отечестве. Уходит из жизни художник, и мы постепенно, с оглядкой на что-то или кого-то начинаем его признавать. Осенью я разговаривал с руководством Витебской области о создании музея Шагала, вроде бы возражений особых не было, но и дел конкретных тоже не видать.

— Василь Владимирович, не связано ли ваше пристрастие к Шагалу с тем, что на творческую стезю вы вступили поначалу как художник. Ваши биографы сообщают, что вы учились в художественном училище. Сохранились ли работы той давней поры? И еще — почему вы не сразу стали писать?

— Все дети имеют влечение к изображению мира в любой доступной форме. У меня же это началось со знакомства с одним человеком, приехавшим после гражданской войны откуда-то из Сибири в то местечко, где я тогда жил. Вместо обычного скарба он привез с собой предметы для искусства, несколько картин. Его пейзажи были первыми в моей жизни «живыми творениями художника». Помню, что с особым удовольствием перелистывал я старые журналы с репродукциями картин известных мастеров. С детства меня влекло к рисованию. Но условий для развития дальнейшего интереса к этому не было.

А работы мои давние не сохранились. Во время войны я еще кое-что делал по рисовальной части. Но однажды сгорел «студебекер» с нашим солдатским имуществом и сгорел мой мешок, где был альбом с рисунками. С тех пор рисованием я не занимался.

— Не погиб ли в вас талантливый художник? Впрочем, считается, что талант в одиночку не ходит. Скажите, что заставило вас взять в руки перо? Вспомните об этом.

— Первый рассказ я написал на Курильских островах, где продолжал службу в первые послевоенные годы. Я, да и не только я, а многие из фронтовиков ничего о войне не читали и читать не хотели. Война была еще слишком жива в нашем сознании. Мы старались как можно скорее от нее отрешиться, прервать эту связь с

прошлым. Но по прошествии некоторого времени я стал читать книги о войне, написанные писателями довольно известными, но я останавливал себя на том, что эти рассказы о войне меня не удовлетворяют. Вот почему я попробовал из чисто полемических побуждений написать свой первый рассказ. Мне казалось, то, что я читал, никак не соответствовало моему личному опыту, как-то все было не так и не то. Потом еще и еще. Конечно же, они были слабыми, плохими. Пытался я их напечатать, но из этого ничего не вышло. И на много лет я забросил попытки стать писателем. В 1955 году, демобилизовавшись, стал работать в газете, начал писать прозу и даже опубликовал первую книгу рассказов. Правда, это были юмористические рассказы. Позже написал несколько вещей на молодежную тему. И только в конце пятидесятых прочно засел за военную тему.

Произведения Василия Быкова широко известны. Но далеко не все знают, что о самом писателе написаны три монографии. В них, конечно же, есть и сведения биографические. Кое-что читатель, интересующийся творчеством Быкова, черпает из его статей и интервью с ним, которые, кстати, он дает не всегда охотно. Поэтому я стал спрашивать Василия Владимировича о его детстве, о его семье, о родителях. Спросил, есть ли у него дети и доволен ли он ими. Спросил о восприятии его творчества, его широкой, я бы сказал мировой, известности у него на родине. Последний вопрос в этой связи был таким: «Понимают ли его земляки, люди, с которыми он встречается, живет, из судеб которых черпает материал для книг, понимают ли они значение литературы, писательского слова. Есть ли у них ощущение его необходимости. Или все-таки им важнее хлеб насущный...»

— Родители мои — крестьяне. С ними я жил до войны. Отец умер двадцать пять лет назад, мать три года назад.

У меня два сына, один военный, другой врач. Доволен ли ими, трудно сказать. Потому что у родителей к детям отношение все-таки пристрастное. И поэтому трудно избежать крайностей, недооценки или переоценки отношения к ним. Но я полагаю, что их жизнь — это их дело. Коль они выбрали для себя этот путь, им же отвечать за этот путь. Я не вмешивался. Потому что знаю, что

любой советчик всегда рискует. Рискует тем, что его совет может привести не туда, куда он хотел, куда надо бы, и тогда его совесть будут скрести кошки.

Известность ко мне пришла, может быть, в последние годы. Да я вообще думаю, что такие вещи, как известность, слава, простые люди не воспринимают. Я помню, как-то приезжал в родные края и там с одним дядькой мы ездили рыбу ловить на озеро. Я тогда в газете работал. Он спросил: я знаю, ты пишешь, ну а работаешь ты где? Я говорю: в редакции работаю.— В редакции? Так ты пишешь там. А работаешь где же? Вот какой состоялся разговор. Человек, который всю жизнь работал физически, не может понять, как это за то, что ты водишь перышком по бумаге, тебе еще и деньги платят. Это так, дескать, твоя блажь личная, а работа — это другое. Хлеб ты должен зарабатывать своими мускулами. Боюсь, что значение литературы в жизни народа все больше падает. Я вспоминаю годы своей юности, детства, когда книга была редкостью в деревне. И если она была, ее читали. Ее читали все. Знакомые, родственники, товарищи, соседи. Причем читались все книги и в школьных, и иных библиотеках. Теперь же другая обстановка. На селе в книжных магазинах много книг. Мы недавно пережили книжный бум. Сейчас он вроде бы спал. Но даже во время бума, я думаю, покупали много, но читали не так много. И сейчас село обходится телевидением, из которого черпает всю информацию об окружающем мире. Читают мало. Мало читают в школах. Поскольку у нас вся классика экранизирована, школьники стараются обойтись без чтения книг. Это, конечно, плохо. Но какого-то выхода я здесь не вижу. Во всяком случае, в ближайшее время.

— Я понимаю, Василь Владимирович, что у вас есть свой читатель. Но вас никогда не посещает мысль, что может наступить такое время, что вообще люди перестанут читать? В том числе и ваши книги. Такое может случиться, как вы думаете?

— Вполне. Почему же нет. И об этом надо думать всем, кто причастен к книгоиздательской политике. С одной стороны, издатели не могут наводнять книжный рынок продукцией, которая не имеет спроса, не находит сбыта. Это было бы противоестественно экономически и,

наверно, морально тоже. Но, с другой стороны, издатели не должны потакать современному массовому вкусу. Если идти по этому направлению, как на Западе, тогда литература превратится в китч, когда только псевдолитература будет иметь наибольшее распространение. Потому что, как ни странно, за многие десятилетия нашего культурного строительства культурный уровень массового читателя не очень-то поднялся. К сожалению, мы продолжаем распространять интерес к произведениям, которые никак этих усилий не достойны.

— Сейчас публикуются произведения, которые по разным обстоятельствам долго не выходили к читателю. Но раздаются голоса, в том числе и среди писателей, зачем такие вещи печатать, зачем заниматься литературным некрофильством. Что вы думаете об этом?

— То, что публикуются вещи «из стола», абсолютно правильно. Более того, было бы просто преступно игнорировать и дальше то хорошее, что было в нашей литературе. Неужели людям непонятно, что хотя бы во имя справедливости это надо сделать. Потому что на многие десятилетия читатели были вышиблены из круга российской словесности по разным причинам. Когда-то был вышиблен Есенин. Когда-то не издавали совершенно эпохальные вещи Бунина. Если бы продолжалась эта линия, какие бы невосполнимые потери понесла наша словесность! У нас есть довольно старый обычай: очень уважают мертвых. Пока человек жив, его могут не издавать, третировать, но после смерти вдруг обнаруживается, какой, оказывается, жил замечательный художник. Это относится к тому же Шукшину. Многие помнят, с каким восторгом были встречены первые рассказы Шукшина, печатавшиеся в «Новом мире», в «Октябре». А теперь, когда его нет с нами, вдруг начинаем гореть любовью к его творчеству.

Так вот, я считаю, что совершенно правильно «Огонек» публикует поэтическую антологию, которую ведет Е. Евтушенко. Я считаю, что это совершенно правильно и это нужно продолжать и, может быть, давать материал даже шире, полнее. Надо понять, что, может быть, тот или иной поэт был не очень большого дарования, но он был, жил в свое время, что-то значил и разве можно его начисто вычеркнуть из литературы? Это несправедливо.

Тем более, уж если это касается таких величин, как Гумилев, Ходасевич, Мандельштам,— крупнейших поэтов начала века.

— Не оригинальный, но злободневно важный вопрос: что вы думаете о перестройке?

— Я думаю, что какие-то конкретные изменения ждут нас впереди. Все новые веяния, тенденции доходят до глубинки с большим опозданием. Вот я на днях был в одном районе, разговаривал с первым секретарем райкома. Он говорит: что делать? На почве в ночное время заморозки. Кукуруза, посеянная в такую почву, непременно погибнет. Ее нужно будет пересевать. Но из области установка: закончить сев к такому-то числу. И это не только установка, а требование отчета о количестве засеянного. Да еще за каждый день. Что делать? Я ему говорю, так вы же имеете право сослаться на известные постановления по этому вопросу, давшие вам свободу действий. Право-то правом, а к такому-то числу сев должен быть закончен. Вот вам пример. Значит, по-прежнему, как и десять, и двадцать, и сорок, и пятьдесят лет назад, продолжается одно и то же. Сильный, волевой нажим, определенные железные сроки, и ни дня позже, не считаясь ни со здравым смыслом, ни с погодными условиями.

— В последнее время появились мнения вот о чем: не перебираем ли, дескать, мы через край с гласностью, не слишком ли обнажаем наши раны, затянувшиеся и свежие?

— Я почти явственно вижу лица людей, выражающих подобное мнение, хорошо знаю их по годам «застойного» времени, для которого они немало «потрудились», чтобы сделать его почти необратимо застойным. Застой, неподвижность, окаменелость в теории и на практике — это их родная стихия, так неожиданно порушенная ныне ветром гласности. Если разобраться и трезво оценить наши трудности в деле перестройки, то, наверное, обнаружится, что самое сложное в ней именно преодоление махровой природы бюрократизма, упрямо цепляющегося за отработанные до высокого совершенства приемчики прошлого, главным из которых является пресловутое «не пущать». В течение последнего времени мне пришлось многое наблюдать на примере судьбы

одного из самых энергичных поборников перестройки, человека с международным авторитетом писателя-публициста, активного борца за мир и взаимопонимание между народами, всем известного Алеся Адамовича. Его активность, однако, во всех отношениях недешево ему стоила, отобрала массу физических и душевных сил, и вот все кончилось мелкой, но чувствительной для него мстью: недопущением на очередной форум в США, куда он был приглашен с группой советских ученых. Чиновники из Академии наук БССР отказали ему в оформлении выездных документов под тем предлогом, что он слишком часто ездит и много выступает. Они уже регламентируют участие в перестройке, по-видимому, составляя графики неучастия в ней. Они сами молчат годами и того же добиваются от других, жадно дожидаясь момента, когда раздастся трубный голос отбоя, прекратится «разгул демократии» и, как они говорят, все войдет в привычные берега мертвечины и сонного, однако такого комфортного для них благополучия. И еще. Если благородные идеи перестройки нашли в чем-либо свое наибольшее проявление, так это действительно в бурно развернувшейся гласности, пожалуй, достигшей в стране своей высшей из возможных отметки. Наша журналистика (внутренняя, конечно, международная отстает от нее пока на десятилетия) неожиданно и прямо-таки самоотверженно вырвалась в авангард гласности и вскрыла столько заботливо взлелеянных бюрократией социальных язв, развернула такую борьбу за правду и справедливость, что если даже она ничего больше не сделает, то оставит о себе память на десятилетия.

В то же время, оценивая общий ход гласности, нельзя не заметить, что в последнее время появились признаки некоторой ее пробуксовки; накопление количества не всегда приводит к качественным изменениям, забрезжила опасность девальвации слов, правильных и нужных по существу, но не подкрепленных конкретными делами, что угрожает закончиться тривиальной говорильней. Последнее было бы весьма сожалеательно, если не катастрофично для всего сложного и безмерно трудного дела перестройки.

— Я слышал такую легенду о Фолкнере. Когда он умер, в доме, где он жил, обнаружили комнату, почти

сплошь заваленную письмами и рукописями читателей. Писатель не любил переписки. А вы, Василь Владимирович, отвечаете на письма или они вас не волнуют?

— Стараюсь отвечать, но не всегда могу это сделать. Особенно это относится не столько к письмам, сколько к бесконечной веренице бандеролей с рукописями, авторы которых напрасно полагают, что стоит известному писателю позвонить или написать «куда следует», и их рукопись тут же будет запущена в производство. Но есть письма, на которые не ответить невозможно, хотя по существу отвечать надо бы не мне, а кому-либо другому, кто имеет власти больше, чем ее есть у писателя. Но дело в том, что писатель в нашей стране по давней, не нами заведенной традиции в какой-то мере все-таки продолжает оставаться народным трибуном, своеобразным адвокатом народа, к которому обращаются люди, когда все другие возможности исчерпаны и больше обратиться не к кому. Пишут не только жалобы, не только по личным вопросам — государственные проблемы волнуют ныне не в меньшей степени.

Я сказал Быкову, что однажды выдающегося американского писателя Уильяма Сарояна спросили: может ли исчерпаться материал для творчества? Сароян ответил: нет, не может, ибо материал — это я сам, пока я жив, мне будет достаточно материала для книг. Василь Владимирович прокомментировал этот разговор следующим образом: «Сароян, как известно, большой художник нашего времени, и в таком своем качестве он сказал сущую правду. Как всякий реалист, он черпает свой материал из окружающего его мира, но не меньший мир заключен в нем самом, для выражения которого ему не надобно ничего больше, кроме самого себя и своего дарования».

А мне думалось, что В. Быков мог бы это же самое сказать и о себе. Во всяком случае, как кажется, материала, пережитого и пережитого им на войне (настолько он богат, многогранен, трагичен и гуманистичен), в нем, в человеке и художнике, предостаточно. Об этом говорят и все новые и новые произведения, связанные с войной. И последние из них — повести «Знак беды», «Карьер», «В тумане», ставшие значительными достижениями современной литературы.

— Вы человек, не раз смотревший в глаза смерти.

Скажите, о чем сегодня должен писать художник, чтобы помочь спасти мир от разрушения, от гибели? Или важнее не о чем писать, а как?

— На этот вопрос недавно хорошо ответил все тот же А. Адамович, выдвинувший в качестве гипотетического императива нашего времени надобность в появлении так называемой «сверхлитературы». Правда, его тут же оспорили и, конечно, зря, потому что неверно поняли сам этот термин, истолковав его как призыв к чему-то ирреальному, небывалому в искусстве. Адамович же имел в виду вовсе не новый стиль или жанр, но — новое качество. Он подразумевал под этим символом вполне реалистическую литературу, но литературу очень высокого гуманистического звучания — такую, которая в наше время, чреватое гибелью всего человеческого рода, сквозь потоки полуправды, лжи и прямого одурачивания миллионов пробилась бы к сознанию человечества, вынудив его остановиться у последней черты. Не знаю, как Адамович, но я склонен считать, что из произведений последних лет романы Чингиза Айтматова и Владимира Дудинцева приближаются к литературе такого рода, и в этом, несомненно, обнадеживающий знак для литературы будущего.

— Из одного интервью с вами я узнал, что вам близок по духу французский писатель-экзистенциалист Камю. Мне такое признание показалось интересным. Не могли бы вы подробнее пояснить, на чем основана эта близость?

— Не то чтобы близок. Ведь, как известно, Камю причисляют к экзистенциалистам, хотя сам он всячески это отрицал. Но в данном случае это не так важно, что думает о себе автор. Все-таки он принадлежит к этому течению, это общепринято. Самое главное — произведения писателя. Наше время сложно во всех отношениях. Сложность этого времени — его драматизм и трагизм Камю чувствовал, может быть, лучше других. И он создал, наверное, одно из лучших произведений нашего века — роман «Чума». Роман этот, конечно, при внимательном чтении отвечает на многие вопросы, которые стояли до нас и которые, наверное, останутся и после нас. Я теперь очень понимаю Твардовского, который когда-то говорил и писал, что «Чума» Камю является еванге-

лием XX века. Это совершенно справедливо. Потому что в условиях беспросветных и безнадежных, в которые нас поставила научно-техническая революция, термоядерная эпоха, человеку не остается выбора. Он может только или оставаться человеком, или перестать существовать. Так вот, со всей категоричностью, я думаю, очень убедительно Камю в своей «Чуме» показывает, что значит быть человеком в этих условиях.

— Ваши творческие принципы, кредо?

— Следование правде жизни — жесткой, нелицеприятной, грязной или чистой, прекрасной или уродливой — такой, какой она существует во всех ее взаимосвязях и проявлениях. У искусства есть лишь один способ добиться позитивного изменения в обществе — это показать общество таким, каким оно является на деле. Многолетний опыт развития нашей литературы красноречиво свидетельствует, что самым старательным образом сконструированный так называемый положительный герой не способен научить ничему ровным счетом, разве что доставит несколько комфортных минут читательскому сознанию, и все благие намерения автора повиснут в воздухе. Лишь показывая человеку его истинное лицо, можно понадеяться на какие-то более или менее результативные импульсы с его стороны.

— Скажите, вы, как человек нелегкой и жизненной и писательской судьбы, ощущаете правоту своего дела, правоту вашего таланта?

— В моей биографии нет ничего необычного или сколько-нибудь примечательного — обычная биография человека моего поколения, юность которого совпала с годами кровавой войны, затем пошли годы армейской службы, работы. Я, может быть, счастлив лишь тем, что первые пробы пера, как и вхождение в большую литературу, счастливо совпали с наступлением благоприятной атмосферы, вызванной решениями известных партийных съездов, очень благотворно повлиявших на литературную судьбу многих.

О правоте? Вы знаете, естественно, в том деле, которым я занимаюсь, хотел бы оказаться правым. Если не перед лицом истории, то хотя бы в глазах моего изрядно прореженного войной поколения.

У писателей фронтового поколения, таких, как

Астафьев, Бакланов, Бондарев, издано по 4 тома собрания сочинений. У вас тоже. Много это или мало?

— Я работаю немного. Не каждый день. Между повестями у меня всегда какие-то промежутки. Иногда они затягиваются на год-два. Иногда меньше. Можно интенсивнее работать. Но, с другой стороны, зачем? По крайней мере, «ни дня без строчки» — это не мой девиз. Я полагаю, что надо писать тогда, когда повесть или роман в значительной мере созреет в душе и требует своего выхода. Если заранее этого не ощутил, то нечего торопиться. Обычно в таких случаях потом все приходится переделывать.

— Как вы считаете, может ли человек сжечь себя в искусстве, сгореть в пламени всепожирающего творческого подвига?

— В наше время вряд ли. Современный человек сверх меры трезв и рационалистичен для того, чтобы позволить своему таланту сжечь себя без остатка, игнорируя свое привередливое, капризное эго.

— Самое сильное потрясение вашей жизни: встреча, событие, чья-то книга, чей-то поступок?

— Самое большое потрясение, я думаю, ждет меня, как, впрочем, и все человечество, впереди: это успех или неуспех нашей перестройки. При любом исходе тут не избежать потрясения положительного или отрицательного свойства, потому что слишком много на нее поставлено.

— Однажды я по-журналистски позавидовал Татьяне Земсковой, задавшей Валентину Распутину прямо в лоб такой категоричный вопрос: вы большой писатель? Так вот, я от многих слышал суждение, что Быков по-настоящему большой писатель нашего времени. В частности, так мне говорил Вениамин Александрович Каверин. Простите экстравагантность этого вопроса, но... вы — большой писатель?

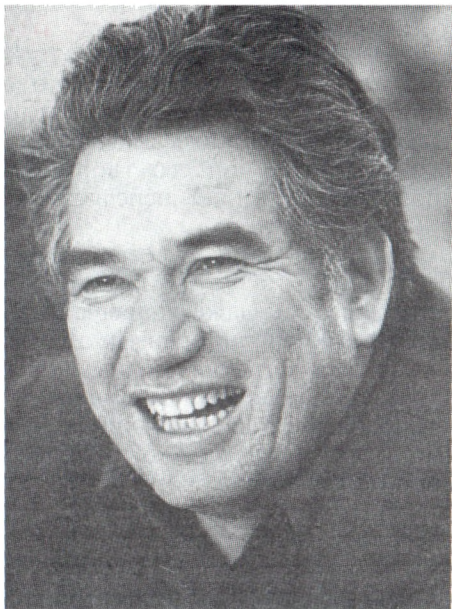
— Если мерить провинциальными масштабами, то тут я, наверное, лишь чуточку больше некоторых, но если иметь в виду Льва Толстого или Достоевского, то увы...

— Ощущаете ли вы, что годы бегут, что вам седьмой десяток, что многих друзей вы уже потеряли, что жизнь прожить — действительно не поле перейти?

— В последние годы я все чаще стал ощущать, что мне далеко уже не двадцать,— большей частью, разумеется, в физическом смысле. Кроме того, пришло явственное осознание безмерной наивности молодых лет по отношению ко многим явлениям жизни. Наверное, в этом и заключается некоторый признак поумнения. И постарения тоже...

Некоторым образом я был счастлив тем, что встречался, общался, может быть, даже дружил с очень хорошими людьми, которые и память по себе оставили хорошую. Теперь казнюсь, что мало с ними общался. Многих мог бы назвать. Твардовского. Сергея Сергеевича Смирнова, который был прекрасным человеком, немало сделавшим после войны для ветеранов. С большой нежностью и горестью вспоминаю Кайсына Кулиева, поэта, замечательного человека. Жаль, что мы как-то редко виделись, я человек сдержанный, а Кайсын Кулиев был весь распахнут навстречу, и все его добрые чувства проявлялись сразу. Сейчас чувствую, что надо бы больше дорожить людьми, хорошими людьми, их добрыми чувствами. Чтобы не сожалеть потом, что мало успел сказать им добрых слов. Помните, у Вяземского: «Она себя лишь любит в мире. А там хоть не расти трава...»? Все-таки жизнь слишком коротка, и надо думать о добре. Не себя любить, а ближнего своего, человека любить. Чтобы потом, после всего, после тебя взошла на земле зеленая трава памяти. Трава после нас.

Май 1987 г.



Чингиз АЙТМАТОВ

ЦЕНА ПРОЗРЕНИЯ

Телефонный звонок раздался почти в полночь: «Я готов начать разговор,—медленно произнес он,—если хотите, приезжайте».

Через всю Москву я мчался в такси к человеку и писателю, чье имя известно всему миру, и в который уже раз лихорадочно думал, о чем же я буду с ним говорить. О чем? О чем? Мне показалось, что нашим читателям о Чингизе Айтматове известно все: ведь количество напечатанного о нем во много раз превышает сотворенное им самим. О каждом из его

произведений, будь то «Джамиля» или «Белый пароход», «Буранный полустанок» или «Плаха», созданы исследования, о его художественной и жизненной судьбе рассказывает не одна книга. Каждый период его творчества изучен, разложен по полочкам. Он дал неисчислимое количество интервью.

Что нового может сказать писатель о себе, о своей работе?

С другой стороны, мне думалось: даже если еще вчера Чингиз Айтматов встречался с журналистами, то сегодня наступает новый день, а с ним и новая жизнь, новые заботы, новые сомнения и ему наверняка есть что сказать. А к голосу уважаемого писателя, художника прислушиваются миллионы людей, его ценят, ему доверяют.

И Чингиз Торекулович сразу же заговорил о самом главном, о самом больном, о самом насущном...

— Наконец-то мы прозрели, протерли глаза и, оглянувшись назад, увидели зияющие пустоты. Странно задуматься, что было бы с нами, если бы все продолжалось как прежде. До недавнего времени многие представления о жизни выражались с помощью клишированных, набивших оскомину междометий о самом передовом обществе в мире, о самом образованном читателе, о неизменно авангардной сути всего, что касалось понятия «наше — советское». Мы затмевали ощущение реального, конкретного, не чувствовали цели, и она перестала быть осязаемой: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме...» Профанация, чудовищный волюнтаризм... Наша цель — коммунизм — отодвинулась еще дальше. Мало того: извращены многие постулаты социализма.

— Скажите, почему в «Плахе» вы решили поставить еще недавно запретную в печати тему наркомании, а вместе с ней и проблему духовной опустошенности человека? Вы ощущали приближение каких-то кардинальных перемен в обществе?

— Да, внутреннее предчувствие того. Я всегда останавливал себя на том, что мы переживаем какой-то бездарный период истории и что вот-вот начнется прозрение... Согласитесь, то, что нынче происходит, — ведь это и есть прозрение. Медленно, но уверенно мы сбрасываем с себя путы самодовольства, самообольщения, спеси. Не

видно нарочитых утверждений, что мы еще чего-то там добились, еще кого-то там перегнули.

— Чингиз Торекулович, в нашей беседе, которая была напечатана в январе 1984 года, мне почему-то запомнились ваши слова о том, что (цитирую вас) «настоящая история начинается только теперь и только теперь прояснится и станет наглядно ясным, насколько зрело наше общество, насколько оно может быть хозяином тех завоеваний, которые оно имеет... И мы должны победить, и это будет невиданная победа». Тогда мне показалось, что в эти слова вы вкладываете особый подтекст. Повторюсь, это был январь 84-го, а не март 85-го и не 86-й год.

— Вы знаете, я всегда ощущал, как, видимо, и многие, чудовищную нехватку, а порой и полное отсутствие демократии. Мы и сегодня-то еще не готовы к ее полному восприятию. Демократия — дело весьма ответственное. И не потому, что обо всем можно говорить печатно и устно, это весьма примитивный подход; демократия в действии — это самый сложный процесс терпимости друг к другу, одних слоев общества к другим; невероятно трудный, во многом трагический процесс формирования нового взгляда на судьбу общества.

Поскольку та демократия, которая всегда была нам нужна, существовала только на бумаге, я считаю, что именно сейчас ощутимей становится подлинный смысл социализма. Я считаю, что вообще высшая цель всего на Земле воплощается именно через демократию. Любой строй можно назвать как угодно, но, если он не дает базы для подлинного раскрепощения духа, из него ничего не выйдет. Понятие счастья может быть личным, отдельным, индивидуальным, но есть и такое понятие, как общественное счастье. Так вот, счастье социализма может быть лишь тогда, когда существует полная и ясная демократия, пронизывающая все сферы жизни, человеческого существования.

— Такое время отчасти уже было в нашей истории — после XX съезда партии. Литературные критики считают, что именно те годы стали решающими в вашем творчестве. Чингиз Торекулович, ведь именно с 1956 по 1963 год вы написали «Повести гор и степей», удостоенные Ленинской премии. И было-то вам тогда чуть за тридцать.

— Я благодарен судьбе, что жил в тот период и работал. Те шесть-семь лет много стоили. Именно тогда сформировалась плеяда писателей, которые до сих пор являются главной несущей силой современной словесности. Хорошо, что тогда они были молодыми. Молод был и я. Это позволило на долгие-долгие годы сохранить в себе внутреннее достоинство и надежду.

Сегодня, к счастью, вновь открылся занавес, и если те времена были смутным ощущением надежды, то сегодня пришло время яркой, четкой, осознанной неотвратимости происходящих перемен. И посему на поприще литературы, искусства я жду настоящих вулканических взрывов. Думается, что после Валентина Распутина, которому сейчас 50 лет, а я считаю его ведущим писателем в своем возрастном поколении, а по значению, быть может, и впереди многих вообще; так вот, после него — ощущение какой-то опустошенности в литературе. И в русской и в нерусских литературах что-то приостановилось, затормозилось... Исчезли потенциальные возможности формулы «и слово было — бог».

Теперь же возникают новые таланты, от которых можно ждать больших открытий. И если завтра появится крупный романист или поэт, который поразит всех, — это будет закономерно. Пусть он потеснит всех. Мы воспримем это как явление долгожданное.

— А мне этот процесс видится не таким легким, безболезненным. Понятие завтра для утверждения демократии, по-видимому, процесс долговременный. И не все литераторы отчетливо понимают и сочувственно принимают происходящее на «дворе». Недаром Михаил Сергеевич Горбачев в одном из своих недавних выступлений употребил ставшее уже нарицательным понятие «сведение счетов», которое имеет в виду дела, далекие от подлинного искусства.

— Сводить литературный процесс к сведению каких-то личных, групповых счетов — это путь бесплодный, путь, который не может привести к продуктивным достижениям. Суестьющиеся, надменные люди, тем более литераторы, вызывают отвращение. Они отравляют жизнь себе и другим. Ненависть опустошает человека. Я знаю молодых людей, которые опустошены, и пожилых уже, опытных, много проживших, которые опустошены, ибо обоз-

лены на кого-то или на что-то. Такие люди рано или поздно становятся неудачниками. Нам всем давно уже пора понять, что жизнь наша действительно коротка и чем дольше на свете живешь, тем глубже вроде бы ты должен воспринимать это как счастье, а не как личный успех. Опустошение себя ненавистью, завистью, злобой делает человека беспомощным перед самим собой, перед своими творческими возможностями.

— В вашей биографии, Чингиз Торекулович, есть один факт, который перевернул всю вашу жизнь начиная с детства — арест отца. Этого достаточно, чтобы судьба сына арестованного сложилась под знаком трагедии, быть может, ненависти, мести. Но вы никогда, насколько мне известно, не только не пишете, но и не говорите об этом. Почему?

— Я и прежде, в то время когда вышло постановление партии по культуре личности Сталина, сам лично никогда не бравировал тем, что мой отец Торекул Айтматович Айтматов, партийный работник, слушатель Института красной профессуры в Москве, был арестован по стандартному обвинению и уничтожен как враг народа. Мне не хотелось давать повода людям к тому, чтобы в силу их неосведомленности, непросвещенности, а то и зломыслия думать, что я спекулирую этим. Лишь однажды я упомянул об этом факте в автобиографии. У меня своя судьба. Что я думаю о смерти, о горькой судьбе отца, как это на мне и во мне отразилось, — это мое дело. Я не хотел зарабатывать сочувствия или использовать этот факт в своем общественном реноме, в своих творческих делах.

Культ личности, конечно, нанес невосполнимый ущерб нашему обществу, социализму. Слишком надолго мы оказались в капкане авторитарного режима, созданного Сталиным, и только почти через тридцать пять лет, после того как его не стало, начали освобождаться и выдавливать из себя рабов культа личности. Только сегодня общество стало это чувство по-настоящему преодолевать, точнее, только начинает преодолевать и преодолевает слишком дорогой ценой. Ведь и сегодня еще много сталинистов, приверженцев прошлого. Они ничего не хотят, не желают никаких изменений. Потому если мы сумеем раз и навсегда освободиться от комплексов насле-

дия прошлого, это будет великим достижением перестройки, политическим и духовным.

Я слушал своего собеседника и понимал, как волнуют его процессы, происходящие в стране. Все заботы перестройки он принимает по-отечески, по-сыновнему — близко к сердцу. Чувствовалось, что многое им выстрадано, обдуманно, сформулировано. Человек государственного масштаба, Герой Социалистического Труда, депутат высшего законодательного органа страны, он с пониманием говорил о конкретных делах, размышлял о том, что надо изменить в нашей жизни к лучшему. Он говорил о единичных фактах и многое обобщал, анализировал, делал выводы — вдохновенно и горячо. Я не перебивал его, не останавливал своими вопросами, и мне показалось, что его разговор с собеседником выливался в страстную исповедь о самых жгучих проблемах нынешнего дня.

— Все время думаю о парадоксе: созидая социализм, отдавая предпочтение всему, что идет от коллектива, от коллективизма, мы много утратили из того, что касается индивидуальности, личности. Как сказывается сегодня эта утрата! Во многом. На многом. В качестве труда. В отношениях человека к человеку. В оценке его творческой созидательной потенции. Ценность самой личности у нас не выверена, не определена. И мы игнорируем эти проблемы, освобождаем себя от них, как бы не замечаем их. А они накапливались, назревали, они сказались на отношении человека к государству, государства к человеку, человека к коллективу. Все это, вместе взятое, требует решения тем, что мы сейчас называем словом «перестройка». Перестройка — это обширное понятие. Одним кажется, что перестройка касается чисто организационных дел, перестановки кадров, другим, что она касается только технологических, технократических проблем. Мне же наиболее важным представляются социальные аспекты взаимоотношений человека, личности и общества. Личности, индивида и государства. Я не ученый, не социолог, к этим проблемам и подхожу, так сказать, эмпирически. И мне кажется, что об этом следовало бы вести квалифицированные разговоры. Хватит догматов, заранее представленных формул. Много их уже было, догматов и формул, тормозящих движение вперед, и мы должны уйти от нивелирования, обезличивания, стан-

дарта. Всеобщая стандартизация во имя коллектива убийственна.

Мы — люди, и вся наша жизнь, чем бы мы ни занимались, складывается из повседневного быта, будничных забот. Часть общества что-то производит, часть — потребляет, между ними существует сфера услуг. Все обобществлено. Прежде человек мог обходиться, имея натуральное хозяйство, и в основном он надеялся на самого себя. На свой труд, на свое имущество, на свою землю. Нынче у нас все иначе: обо всем заботится государство.

С одной стороны, такой подход — проявление принципов социализма, с другой стороны, меня разочаровывает то, что мы не смогли по-настоящему организовать многие сферы своего существования.

Возьмем жилье.

Если раньше человек заботился о своем жилье, сам его строил, старался его сохранить, то сейчас все только ждут готовой комфортабельной квартиры. Понятно, что на это выделяются средства, существуют отрасли строительства. С одной стороны, такое положение вещей облегчает жизнь, с другой стороны — мы не смогли сделать так, чтобы жилье стало родным, уютным и неотделимым от нас. Мы не научились жить в больших многоквартирных домах, не научились сохранять свою обитель. К тому же мы плохо строим наши дома. Уже в изначальном проекте допускаются просчеты, нелепости, он не продумывается, а в ходе строительства многие элементы проекта не соблюдаются. Отсюда сплошной тупляк, лишь бы скорее избавиться от объекта.

Новые микрорайоны, которые мы видим в Москве, это лучшее, что есть в современном строительстве. А поезжайте в провинциальные города, областные. Уже из окон вагона можно увидеть и поразиться безобразию на уровне строительства наших жилищ. А ведь жилище — это наша жизнь. И сколько бы мы об этом ни говорили, как бы друг друга ни упрекали, какие бы обличительные статьи, речи ни произносили, все это остается на месте, без изменения. Ничего не происходит, не меняется. Я боюсь, что молодое поколение даже не подозревает о том, что человек должен заботиться о своем жилище. Молодым людям кажется, что все существует в готовом виде.

Итак, поскольку фондов не хватает, на жилье огром-

ные очереди, да и строительство на очень низком уровне, эта проблема одна из самых сложных в нашей жизни. Проблема, которая и отравляет нашу жизнь, и усложняет ее. Отсюда одна из моих тревог: современный человек и современное жилище.

Вторая проблема, транспортная. Проблема, которая из года в год удручает. Начну с самого дальнего действующего транспорта, с авиации. Мне приходилось и приходится бывать в других странах и пользоваться самолетами самых различных авиакомпаний мира, и я хорошо знаю, что такое хорошая авиация. Так вот, прогресса в нашем авиасервисе я не вижу. Сегодня это скудный, скученный, нервический перевоз людей в очень неустроенных условиях. Авиапорты, так же как и вокзалы, превратились в беспросветное, многолюдное, хаотическое сборище пассажиров. Где же приметы высокой цивилизации? И здесь мне хочется сказать о том, что сам по себе Аэрофлот, как таковой, никогда ничего не исправит. Должна быть создана конкурирующая фирма. Может быть, следует разделить Аэрофлот на две части и каждой из них придать свои средства, свои специфические возможности и таким образом заставить их конкурировать, сделать так, чтобы оплата труда всего летного состава, всего обслуживающего персонала зависела от качества работы.

Еще больше меня удручает, что парк самолетов устаревает прямо на глазах, мало обновляясь. Могу привести множество примеров. Азиатские рейсы, из Фрунзе в Москву, из Алма-Аты в Москву. Их количество за многие годы не прибавилось. Машины не обновились. А ведь наплыв пассажиров возрастает все больше и больше.

Самолетный парк все больше и больше приходит в упадок. Даже внешне. Сужу как пассажир. Однажды я увидел в самолете тараканов. Пригласил бортпроводника. А что вы от нас хотите, сказала она, мы не успеваем провести дезинфекцию самолетов, потому что они постоянно находятся в рейсах. Сменяются экипажи, сменяются пассажиры, а машины гоняются одни и те же. Так вот, у меня возникло подозрение: можно ли в таких условиях соблюдать необходимую технику безопасности? Еще мне кажется, что самолеты перегружены, переуплот-

нены. Такого беспощадного уплотнения я не вижу в самолетах других авиакомпаний мира.

И когда мы говорим о том, что в капиталистическом производстве главное—это прибыль, погоня за прибылью, я, честно говоря, не вижу никакой разницы: у них погоня за прибылью, у нас погоня за планом, то есть той же прибылью.

Но до последнего времени Аэрофлот был какой-то элитарной организацией, которую простому смертному невозможно было критиковать.

Все мы соприкасаемся с авиацией. Без авиации современный человек обойтись не может. Она вошла в нашу плоть и кровь, в наш быт, в наши повседневные планы. Только при помощи авиации можно что-то успеть при напряженном темпе современной жизни.

Теперь о городском транспорте. Его состояние ниже всякой критики. Все перегружено: метро, автобусы, троллейбусы, трамваи. И не только в Москве, а везде и всюду. Поток пассажиров возрастает, а средства передвижения отстают. Транспортные стрессы влияют на работоспособность людей, на их настроение, на их взаимоотношения друг с другом.

Запад тоже сталкивается с подобными проблемами, но там выручает гигантский парк индивидуального транспорта. Ни в коей мере не сравнимый с нашим.

А наши дороги? В городах, между городами, проселочные, сельские по всей стране. Если сравнить с дорогами, которые существуют в других частях света, то это не дороги. И здесь работы непочтатый край.

И вот изо дня в день мы как-то ко всему приспособляемся, раздражаемся, но привыкаем, терпим, смиряемся. Школьное образование во многом в плачевном состоянии, медицинское обслуживание из рук вон плохое, торговля—сколько раз уже писали, что она прогнила...

Я не ворчу. Я рассуждаю, я хочу лучшего. Где же выход? Многие считают, что нужно лучше организовать труд, лучше работать. Понимаю—это очень важно. Но, думается мне, что не это главное. Главное: где взять средства? Ведь государственный бюджет не резиновый. Повышать зарплату в сфере услуг? Это невозможно. Повышать цены на продукты, на услуги? Наверное, можно. Но тогда нужно повышать заработную плату.

Заколдованный круг, из которого во что бы то ни стало надо выйти. Ведь каждое поколение не вечно, как и любой из нас. И человек должен жить при достойных человека условиях.

Слава богу, как говорится, нет войны. Но почему же тогда из года в год остаются нерешенными и, более того, усугубляются многие государственные, общественные проблемы? Наверное, мы мало о них думаем. А если и думаем, говорим о них, то не всегда результативно. Почему? Внутри каждого из нас сидит догматик.

Многие мои коллеги пытаются найти ответы в каких-то схоластических политизированных суждениях. Многие догматически, инерционно говорят о преимуществах социализма, и это уже стало, я бы сказал, какой-то злоупотребительской чертой: высокое понятие мы принижаем низкими сентенциями. Куда проще констатировать, что у социализма есть потенциальные преимущества, куда сложнее раскрыть их на деле. А вот как это сделать? Не всякий ответит. Как бы хорошо раскрепостить засевшую в головах наших ученых, теоретиков, практиков, социологов, экономистов инерцию демагогизма, консерватизма...

Я считаю, что перестройка должна решить многие из названных мною проблем. Во всяком случае, хочется верить, что поможет решить. Но надо высвободить значительную часть капитала, средств, сократив расходы на оборону. Ну, хватил, сейчас же скажут мне! Нет, не хватил, давайте разберемся! Никто из нас, простых людей, не знает, сколько, куда и как расходуются эти средства. Раз мы переживаем эпоху гласности, значит, и об этом надо говорить. До сего дня расходы на оборону — совершенно закрытая часть нашей жизни, не подлежат ни обсуждению, ни дискуссии. Никто не может задавать вопросы, касающиеся обороны. А между тем все мы сегодня задаем один банальный вопрос: как это могло произойти, что недоученный пилот, мальчишка, сумел преодолеть все барьеры наших заградительных систем и приземлиться в святынях святого Отечества — на Красной площади? Наши дети, школьники из уст взрослых каждодневно слышат, что мышь не пробежит сквозь наши границы. Как же теперь объяснить феномен, произошедший в День пограничника, 28 мая 1987 года?

Как депутат Верховного Совета СССР, я ни разу не слышал, чтобы депутаты интересовались на сессиях проблемами обороны. Они всегда получают готовые цифры.

Я не хочу сказать, что мы пребываем в каком-то катастрофическом положении. Прожиточный минимум у всех у нас есть. Люди имеют крыши над головами, работают, живут. Речь не об этом минимуме. Речь о том, что, располагая передовым общественным строем, располагая нашими гигантскими просторами, необъятными ресурсами, достижениями науки и техники, мы могли бы быть во главе всей цивилизации.

Корень зла я вижу в том, что навязанные нам колоссальные расходы на вооружение, на бесконечное строительство новых и новых объектов, кораблей, крейсеров, подводных лодок, различного вида оборонительных установок, а также задействованная в связи с этим огромная масса молодых людей, находящихся вне сферы производительного труда, неимоверно сковывают наши силы, наши возможности, наше движение вперед.

Умом я понимаю, что мы еще не достигли того достаточно высокого производительного уровня, чтобы эти вот отвлекаемые на военные расходы средства не сказывались бы столь ощутимо, как сейчас, на уровне жизни советских людей. Умом, а вот сердцем...

Впрочем, выход можно найти, если увязать эту проблему с другой, с внешнеполитической проблемой. Если бы мир пришел к согласию, то бесконечная военная гонка была бы бессмысленной. Ведь давно уже мы говорим друг другу: не надо друг друга трогать, задирать, — мир и так находится на грани ядерного апокалипсиса. А что толку в этих взаимных одергиваниях, предостережениях? Конечно, если оглянуться назад, то можно увидеть ошибки, допущенные недалёковидностью нашей внешней политики довольно еще недавно. Мне, к примеру, представляется, что в начале семидесятых годов уже можно было не расставлять ракеты средней дальности. И потом, когда предлагался нулевой вариант, можно было пойти и на него. Сегодня это чувствуют многие.

Как хочется, чтобы наши мирные инициативы, подсказанные всей логикой жизни, нашли бы ответ у противоположной стороны.

Во время одного из визитов государственного секре-

таря США. Д. Шульца в Москву случилось так, что я имел возможность в числе некоторых других писателей встретиться с ним. Он очень интересовался тем, что же такое гласность в СССР. Этот вопрос его очень волновал, ибо прежний стереотип общения с нами уже как бы нарушен и уязвим в использовании. Шульц много расспрашивал нас о гласности, о перестройке, о том, верим ли мы в открывшиеся перспективы. Мы же, рассказывая ему обо всем этом, отвечая на его вопросы, убеждали его, и мне показалось, что сумели убедить, что самый лучший исход двадцатого столетия состоит в том, чтобы Запад и Восток смогли бы найти общий язык и навсегда покончить с возможностью разрешать идеологические разногласия военным способом.

Если деятель такого калибра, как Шульц, пусть на минуту, на мгновение заколебался и задумался над истинной наших представлений о будущем мире на Земле, значит, нужно использовать все до единой возможности во имя того, чтобы договориться не воевать друг с другом.

Здесь я должен заметить, что разговор с Чингизом Айтматовым, начавшийся на его московской квартире, был перенесен и продолжен сначала в самолете, затем во Фрунзе, а затем на сказочных берегах озера Иссык-Куль, что находится в трехстах километрах от столицы Киргизии, где расположено местечко Чолпон-Ата — обитель «трудов и вдохновения» писателя. И не ради праздной прогулки, очередного вояжа в родные места совершил он эту поездку, куда пригласил и нас с фотокорреспондентом «Огонька» Дмитрием Бальтерманцем.

Многим уже известна миротворческая деятельность Ч. Айтматова. Он — инициатор и организатор так называемого «Иссык-Кульского форума». Сюда, на берега Иссык-Куля, в сентябре 1986 года прибыли виднейшие представители мировой культуры, цивилизации: ученые, политики, писатели, художники. Они прибыли в СССР как личные гости Айтматова: по возвращении в Москву их принял М. С. Горбачев.

Итак, образовано новое движение в борьбе за мир, за выживание человечества, за сохранение цивилизации. До и после образования «Иссык-Кульского форума» Чингиз Айтматов много ездил по свету, организуя и формируя свою инициативу.

Так вот, на этот раз в СССР для личных контактов с всемирно известным писателем и борцом за мир прибыл президент общества Великобритания—СССР Дэвид Робертс и популярнейший на Западе писатель (его романы широко известны и у нас в стране) Джон Ле Карре. Ч. Айтматов встретил их в Москве и сопровождал в поездке по Киргизии.

Я имел возможность воочию ощутить значение и важность айтматовского начинания, ибо основой всех бесед между Айтматовым и гостями, между гостями и публикой (а такие встречи тоже проводились) была тема выживания в этом мире: как уцелеть и сохранить себя. Личное участие писателя в неформальных контактах на самых разных уровнях как бы расширяет представление о роли личности в современном мире.

Я сказал Чингизу Торекуловичу о том, как, недавно преувеличив, мы затем едва ли не принялись отрицать роль личности в истории, но сейчас, сегодня, понимаем, что перестроить нашу жизнь во всех ее проявлениях, от экономики до культуры, мы можем только опираясь на энергию, инициативу, талант выдающихся личностей, талантливых людей.

— Как, например, доктор Святослав Федоров, которого я давно знаю. О нем сейчас много пишут, приводят в пример организацию им дела, а я понял, что это незаурядный человек еще тогда, когда о нем ничего не говорили и он доказывал всем и вся, как надо работать, как в условиях социализма надо организовывать производство и что любое дело надо воспринимать как сугубо личную заботу. Особенно в таком тонком и сложном деле, как медицина. Я тогда еще подумал: вот кто был бы замечательным министром здравоохранения!

Когда мы говорим о перестройке, мы не можем не говорить о талантливых людях, организаторах, подвижниках. Но при этом мы в свое время упустили один могучий фактор — личную заинтересованность. Я уверен, пока мы не создадим атмосферу личной заинтересованности везде и всюду, очень многие наши прекрасные идеи останутся нереализованными. Да, необходима личная заинтересованность, та самая, которую мы несправедливо отторгнули сразу после революции, во всем положившись

на коллективное начало, коллективистскую психологию. Там, где есть по-хорошему личная заинтересованность, человек становится творцом, мастером. А мы чаще всего киваем друг на друга: почему я должен сделать то-то и то-то, пусть делает другой. Рождается цепная реакция регресса, застоя.

— Чингиз Торекулович, многие считают, что перестройка лишь слабой своей стороной коснулась провинции, отдаленных от центров территорий. В Киргизии, например, вы замечаете плоды перестройки?

— Конечно. Люди по-другому думают, требовательность совсем другая. Нет той безнаказанности, равнодушия, что были еще недавно. Нет того, чтобы отдельные группы людей могли пользоваться незаслуженными благами.

— Можете ли вы назвать имя простого, так сказать, человека, который бы проявился в последнее время, уже в процессе перестройки, как лидер, как истинный переустроитель жизни?

— Могу. Чабан Тахтанбек Акматов. И не хочу сказать, что он какой-то выдающийся человек, пожалуй, таких, как он, тружеников немало. Но человек этот поражает. Несмотря ни на какие реальные трудности, он добивается самых высоких трудовых показателей в республике. Пример его отношения к делу, к работе, к общим нынешним заботам — несомненный образец лидерства.

— Слово гласность происходит от корня глас, голос. Выходит, что впереди сегодня должны быть те, кто этот голос имеет: писатели, литераторы, журналисты. То есть все те, кто голос этот может подать, высказать, обнародовать.

— Да, конечно, в литературе гласность необходима как воздух. Но гласность я понимаю не только как голос. Параметры выразительности, проявления своего отношения к перестройке значительно выше и выразительнее. Конечно, журналистика, публицистика — это самая первоначальная реакция на происходящее и самая первоначальная попытка воздействовать на действительность. Книга, большая литература выполняет свои функции, но у нее возможности одни, а публицистика и журналистика — совсем другое дело. И подчас в какие-то моменты именно

публицистика может значить больше, чем художественная литература. Думаю, что сейчас как раз такой период. Газеты стали так популярны, что за ними люди рано утром встают в очередь. При таком социальном ажиотаже ответственность журналистики возрастает во много раз. Обычно мы понимаем ответственность как судебную, партийную, служебную. То есть ответственность — значит, ограничение, запрещение. Я понимаю ответственность по-другому: ответственность за то, чтобы своим собственным мнением сформировать мнение людей.

Прогресс всегда развивался через какие-то препятствия. Невозможно, что-то затаив, запретив, о чем-то умолчав, установив всяческие табу, двигаться к прогрессу. Лучше, встретив на пути трудности, пережить их, преодолеть, но продвинуться дальше в жизненном познании общества.

Я думаю, что если наша журналистика, публицистика откажется от многих фигур умолчания и найдет в себе силы свежо, ново, ясно, чисто и правдиво изображать человека и его время, то это поможет всем нам найти себя в перестройке.

— Если честно, Чингиз Торекулович, до эпохи гласности вы считали себя гласным?

— Более или менее...

— Почему?

— Мне всегда казалось, что я принципиально честно подхожу к тому, что изображаю. А сейчас вот кажется, что в романы «И дольше века длится день...» и «Плаха» я мог бы внести новые сцены, те, которые вынужден был или не писать, или изъять их из произведения по цензурным или иным запретительным соображениям. Да, я мог бы сегодня кое-что обновить, заострить, усилить... Но делать этого уже не буду. Что сотворено, пусть так и остается.

А в будущем мне представляется, что я абсолютно ничем не ограничен и могу писать и размышлять о чем угодно. Пусть оживут на бумаге все мои страсти, мой подход к тем или иным жизненным вещам, мои попытки убедить читателя, что есть добро и что есть зло, и что и то и другое нескончаемо. Нескончаемы размышления, диалог человека с самим собой и с окружающим его человечеством о том, что такое добро и зло.

Так вот еще раз, сегодня для писателей, и для меня в частности, настала замечательная пора писать о том, о чем писать и говорить необходимо. И хочется. Писать, не оглядываясь назад.

— Не считаете ли вы, что в нашей печати появилось излишне много критических статей, обобщений или это норма нынешнего времени? Нет ли здесь какого-то перекоса?

— Я не вижу перекоса. Общество должно обладать и чувством самоиронии, и чувством самокритики. Ведь еще недавно мы не могли и подшутить над собой — это воспринималось как кощунство. Отсутствовала самокритика, и мы становились все более и более самодовольны, ибо хотели и требовали все больше и больше восхвалений, самодовольного уважения к себе. Хотя понимаем вроде бы, что главное не слова, а дела. На декларациях далеко не уедешь, хотя мы и пытались. До того допытались, что производительность труда, снизившаяся в последнее десятилетие до почти критической отметки, теперь катастрофически сказывается на нашей экономике.

Вот почему мы должны смело, решительно говорить вслух о всех негативных явлениях жизни. Лучше самим сказать о себе всю правду...

— Вы можете представить себе, что процесс демократизации общества остановится и все пойдет вспять?

— Что, снова к культу личности?! К затаенным внутри общества болезням? К нарушениям элементарных человеческих прав? К застою? Ни-ког-да! Этого не должно произойти. Логика жизни такова, что гарантия ее развития — это движение вперед. Если мы остановимся, значит, мы снова будем двигаться в обратном направлении. Не так ли?

— Да, остановка все омертвит.

— И это будет катастрофой для всех. Думаю, что нет в нашем обществе таких сил, которые были бы уж очень сильно заинтересованы в остановке, в возврате к прошлому. Даже та самая бюрократия, которую мы сегодня склоняем, как говорится, и в хвост, и в гриву и видим в ней корень зла, не заинтересована в этом. Я думаю, что она не враг сама себе...

— А как вы считаете, могут ли быть пределы демократии?

— Пределы демократии? Свобода и дисциплина. Как это ни парадоксально звучит, я не представляю себе свободу без дисциплины и дисциплину без свободы. Настолько это разные понятия, но они в то же время необходимы друг другу. Свобода настолько прекрасна, насколько и опасна. Тогда, когда ее извращают. Когда свободы нет, ее требуют, когда она есть, ее извращают. Я считаю это неблагодарностью тому или тем, кто эту свободу дал, завоевал.

— А нет ли некоего «разгула демократии» в том, что существует и действует организация «Память», которая по происхождению, по замыслу, так сказать, организация полезная, нужная, но ставшая в последнее время инструментом шовинизма, антисемитизма?

— Если это разгул, то это уже не демократия. Я думаю, что сейчас у нас наступают времена, когда последствия демократии, гласности ощущаются как горький на губах привкус, ибо превращать само слово «память» в орудие против живого течения современной действительности кощунственно, несправедливо.

Думаю, что мы не научились еще пользоваться плодами демократии. Вот, к примеру, у нас введена конкурентная форма выбора кандидатов на руководящие посты и должности. Выбирается, естественно, один кандидат, второй так же естественно отпадает. Так вот, я замечаю, что второй не прошедший конкурса кандидат сразу же становится вроде бы неполноценным, презируемым. Как же так? Только что он мог стать во главе коллектива, и вдруг отбрасывается в сторону, авторитет его сводится к минимуму. Разве это справедливо? Не пришедшие к финишу кандидаты — это достойные люди, в них надо видеть кадры перестройки. Их надо задействовать, а не относиться к ним с безразличием, достойным Иванов, не помнящих родства.

— Вы сказали, что предчувствовали какие-то перемены в обществе, перед тем как засесть за «Плаху», а какое предчувствие у вас сейчас, и связано ли оно с вашим новым произведением? О чем оно, если не секрет?

— Мне трудно пока сформулировать это предощуще-

ние, но оно есть. Быть может, оно состоит в том, что мы все-таки выдержим то испытание, которое претерпеваем сейчас. Это великое испытание. Это испытание будущим. Я понимаю, какой ценой оно может быть выдержано. Нелегко отказаться от самообольщения, от фальши, от того, чтобы отворачивать от правды глаза.

Если я буду что-то писать сейчас (а я уже начал новый роман), то это будет связано с этим моим предощущением. С ценой испытания и прозрения...

— Среди многих других запретных для обсуждения зон и сфер еще недавно были вопросы межнациональных отношений народов нашей страны. Мы боялись сказать вслух о чем-то, как кому-то казалось, нехорошем. Но вот на прошедшем пленуме СП СССР национальному вопросу посвятили свои откровенные выступления многие ораторы. С тревогой говорили, например, о том, что в республиках уменьшается количество учебных заведений, в которых преподавание ведется на родных языках. Говорили и о так называемом провинциальном национализме.

Что вы думаете обо всем этом, Чингиз Торекулович?

— Да, вопрос этот важный, серьезный, не терпящий отлагательств. Начну с того, что мы как-то в последнее время реже стали писать и говорить о достоинствах социализма, о преимуществах социалистического строительства. И я с этим не согласен. Достоинства социализма продемонстрированы всему миру. С этим нельзя не согласиться.

Само понятие «человек» при социализме поднялось, выросло. Мы лишились, с одной стороны, господствующего сословия, с другой — холопского. Человек почувствовал свое величие, свое значение на Земле. И меня больше всего радует, я этим горжусь, и все мы должны этим гордиться, что на протяжении семидесяти лет у нас идет неустанная работа, чтобы в огромном многонациональном государстве все народы без исключения могли ощущать свою полноценность. Это реальное историческое значение социализма.

Когда я бываю за рубежом, я не могу при случае похвастаться, к сожалению, допустим, какими-то там изделиями, то есть продуктами материальными, но я всегда с гордостью говорю, что мы, советские люди, научились жить по-человечески.

Слово «интернационализм» мы нередко употребляем всуе. А должны беречь сокровенное и святое значение этого слова. Можно построить новые заводы, достичь новых успехов в производстве, можно многого добиться в материальной сфере, но однажды нарушенное внутреннее единство наших народов восстановить очень трудно. Вот почему каждый из народов и народностей, населяющих Советский Союз, должен заботиться о бережном отношении к понятию дружба народов, братство народов.

В последние годы появились какие-то шероховатости в национальном вопросе. Это связано, на мой взгляд, с тем, что современный интернационализм возник на фоне роста национального самосознания народов. Процесс как бы двуединый. Казалось бы, эти понятия должны как бы отвергать друг друга. Но в условиях социализма при росте национального самосознания закономерно укрепление интернациональной общности народов. И этот процесс мы должны сохранить.

Вообще, так называемые национальные проблемы во многом я считаю зеркальным отражением нашего обывательского мира. Вот мы с вами побывали в одной из фрунзенских спецшкол на встрече английских писателей со школьниками. Мы увидели наивные чистые лица детей, жаждущих узнать об Англии, о ее людях, и мне подумалось, сколько же надо прилагать усилий для того, чтобы не сбить с толку подрастающее поколение этими самыми национальными проблемами. Очень легко их ввести в заблуждение, легко разорвать тонкие нити общения людей разных национальностей.

Проблема интернационального воспитания — одна из сложнейших, поскольку она у нас заклиширована и превратилась в какие-то стереотипы на уровне заклинаний и лозунгов. Маленьких детей, школьников, которые жаждут все узнать от взрослых, мы загружаем фразеологическим балластом, не раскрывая суть и значение жизненной необходимости самого понятия «интернационализм» на конкретных примерах и ситуациях, касающихся и лично их семей, среды, города, региона, республики. То, что делают наши горе-воспитатели, непрочно и непонятно детям. Рапорты, салюты, лозунги, громкие фразы вместо живого яркого примера.

Теперь о литературе. Не существует литературы внациональной. Любое слово исходит из какого-то национального источника. Да, один человек владеет несколькими языками, другой знает только свой родной язык, многие владеют двумя. В мире и до нас жили соотносясь народы, страны, регионы, влияя друг на друга, взаимно обогащая друг друга. Но наше время, наша страна в этом плане совершенно на особом положении. Мы стали как бы полигоном великого эксперимента, и в этом мы преуспели. Эксперимент этот я считаю одним из самых главных достижений нашего общества. А ведь что происходит в мире? Куда ни посмотришь, везде нерешенные, загнанные в тупик проблемы: убийства людей, катастрофы, терроризм, озлобленность, ненависть. На Ближнем Востоке, в Африке... И причиной всему — языковые, расовые преграды.

Слава богу, чаша сия нас миновала. А ведь мы создали самую крупную на Земле многонациональную структуру. Спросят: а Китай, Индия? Да, но там проживают близкие по культурно-этническому и экономическому уровням народы. У нас же произошло объединение самых различных по составу культур, и тем не менее они обрели единый облик. Сейчас у нас происходит «выравнивание» потенциальных возможностей разных народов и наций. Однако думать, что вопрос этот уже решен, как нам предлагалось в прежние десятилетия, что не осталось никаких проблем, было бы наивно. Более того, вредно. Каждый народ эволюционирует, развивается, все больше повышается его национальное самосознание. Скажу так: не надо бояться этого. Надо бояться ненужных тенденций этого роста.

Думается, что один из главных аспектов — язык. Если прежде мы говорили об этом недомолвками, то сейчас следует прямо заявить, что для целого ряда регионов, в том числе и туркестанского, в перспективе надо иметь двуязычие, билингвизм. Все нации, населяющие туркестанский регион, так нерасторжимо слиты между собой, так наша жизнь экономически и духовно переплетена, взаимно связана, что мы не можем ограничиться бытованием одного только национального языка. Это нелепо, а главное — нереально. С другой стороны, если предположить, что мы отодвинем в сторону национальный язык и возьмем на вооружение только один язык, в

данном случае русский, это тоже будет неправильно, несправедливо.

Так вот, я думаю, что сама история подсказывает прекрасный ход, в какой-то степени уже апробированный, — двуязычие. На мой взгляд, во всех регионах должно быть обеспечено полноценное сосуществование определенного языка параллельно с развитием языка русского. Что значит полноценное? Это значит, что процесс этот должен иметь все необходимые условия для развития. Не только инфраструктуру в виде прессы, радио, телевидения, информации. Это само собой разумеется. Но гораздо важнее смотреть в корень: где формируется язык, в каком возрасте? Должны быть организованы детские сады, школы, где национальные языки изучались бы как основные, но наряду с этим изучался бы с детских лет и русский язык. Двуязычие, с одной стороны, обеспечит сохранение и развитие национального языка, с другой стороны, обеспечит освоение русского. Синтез этих двух направлений даст новые потенциальные возможности в духовном развитии наших народов. Это будет как два крыла у птицы...

Но, повторяю, вопрос этот сложный. Многие его не хотят принимать и понимать. Ни на местах, ни в Москве. К сожалению, есть силы, которые в самом народе, и это часто бывает, отрицают сами себя. Они заняты самооговором. Я называю это национальным нигилизмом. Явление такое же реакционное, как и сам национализм. А поскольку национальный нигилизм в прессе не упоминается и вроде бы никаких нареканий на этот счет никто не слышит, то некоторые думают, что они играют в безнаказанную беспроигрышную игру. Иные из таких «игроков» в корыстных целях создают себе ореол сверхинтернационалиста.

Нормальное разумное решение вопроса — в сочетании языков и в установлении, я бы сказал, протокола интернационализма. Как существует протокол в дипломатических отношениях, где все наперед сказано, как и что должно быть. Вот в протоколе интернационализма должно быть предусмотрено равноправие, равноценность, равнозначность. Равноправие во всем — и в великом и в малом. В надписях, в лозунгах, в объявлениях, в публичных высказываниях. А ведь сегодня мы этого не наблюда-

даем. В одних республиках не найдешь русских надписей, в другие приедешь — не видишь национальных обозначений, символов. Вроде бы мелочи, но из них складывается уродливая мозаика.

Считаю, что ко всем проблемам и сложностям национальных отношений надо относиться совершенно нормально и не видеть в этом проявление национализма. А ведь многих пугают именно этим жупелом: людей пугают, обвиняют, преследуют.

— Я слышал такое выражение «национальная планка». Дескать, в каждой республике есть писатели, которые не могут преодолеть высоту национальной планки. И читатели принимают этого писателя как пророка в своем отечестве. Ни этот писатель, ни читатели такого рода пошире посмотреть не хотят. Для них важнее свое, кровное. Пусть не великое, но свое...

— Это искусственное установление критериев. Если таковые и есть, я уверен, всегда появляются молодые силы, которые переступают любые искусственные пороги.

— Чингиз Торекулович, а почему вы стали писать на двух языках?

— Что меня толкнуло? Несколько причин. Поначалу писать на русском было просто неосознанным движением. Поскольку уровень критики, ее критериев на местах страдает узостью, то автору в этой среде приходится подчас нелегко. Навешиваются ярлыки, появляется несправедливая критика. В московской литературной среде подход шире, взгляды более просвещенные. Мне казалось, что если я не опубликую свою книгу в Москве, то в Киргизии ее примут в штыки. И я начинал с центрального издательства. Утвердить себя в центре — было первоначальным импульсом.

— А мне кажется, что киргизский читатель должен понимать ваши произведения глубже, тоньше, ведь все, о чем в них говорится, им близко, знакомо.

— Если взять читателя обычного, среднего, то он точно такой же, как и русский читатель. Он тоже любит читать вещи, написанные проникновенно, художественно. Я это ощущаю. И доверяю читателю и киргизскому, и русскому. Но есть ведь еще окололитературная среда, та, что пытается сразу же дать негативную оценку, причем

нередко с политическим клеймом. Публикую свои вещи в Москве, я избегал таких оценок.

— Чингиз Торекулович, вам не кажется, что некоторые ваши произведения в свое время были написаны на потребу дня и не выдержали испытание временем?

— Я могу признать, пожалуй, что на потребу дня создавалась моя публицистика, выступления, интервью. Что, как говорится, есть, то есть. Но в меру своих возможностей я понимал, что надо стремиться даже в публицистике на долговременное хранение. Я пытался все-таки рассчитывать на долгие...

— А как долго может жить художественное произведение?

— Ну, это вопрос очень сложный. И я думаю, что вряд ли кто сможет дать точный ответ и предсказать, какое произведение будет долго жить, а какое быстро умрет. У каждого конкретного произведения своя судьба, так же как и судьба писателя. В то же время существуют общие законы искусства, литературы, культуры. Существуют законы той или иной исторической формации. Принципиально новая попытка оценки литературы была предпринята уже в нашу советскую эпоху. Все, что создавалось, поверялось методом того, что мы называли социалистическим реализмом. Я не против этого термина, дело не в термине, дело в сути. Можно говорить о социалистическом реализме, критическом реализме, магическом реализме, каком угодно. Важно, чтобы художественное произведение было полноценным. Но как возникает тот или иной роман, поэма, драма и как сложится его судьба в будущем—это неподвластно ничьему предвидению.

Я не разделяю парадных заявлений, победных ликований, что методы соцреализма открыли новую эпоху, новую эру в искусстве, что вся наша литература и культура будто бы совершенно уникальна, необыкновенна. Это не так. Да, мы предприняли очень глубокую, сильную попытку изменить суть, назначение искусства. Я думаю, что есть определенные этапы, когда искусство может быть и предназначено определенным слоям, определенным классам, определенному культурному слою. Это роман бытописующий, роман, описывающий собы-

тия, известные людям, и люди-читатели являются как бы свидетелями и участниками того или иного факта исторического эпизода. Но ведь искусство может подняться на другой, как мне кажется, более высокий уровень, когда оно приобретает универсальное значение. Это уже новый горизонт. И тогда оно обращается не только к бытовым деталям, не только к тому, что происходит в действительности, но обращается к мифу, к легенде, к каким-то крупным философским обобщениям, крупным историческим изображениям, перенося изображаемое в каком-то небольшом регионе и определенной среде, но на всю человеческую сущность. Быть может, наша литература только сейчас делает попытку вступить на эту ступень. Этим я не перечеркиваю прошлое нашего искусства. У нас были интересные достижения. Но в то же время надо честно и открыто сказать: очень много усилий мы потратили, быть может, впустую. Хотя и это не совсем верно. То, что приходило в наше искусство, было одним из великих экспериментов. И не всякий эксперимент может увенчаться абсолютной победой. Были здесь свои успехи, были и просчеты. И эти просчеты входят сейчас в наш опыт.

— Вы имеете в виду недавнее десятилетие или весь социалистический реализм?

— Весь социалистический реализм. А недавнее десятилетие наиболее красноречивое тому свидетельство. Ну посмотрите сами, все устаревает. Многие из того, что мы в пятидесятых—шестидесятых годах читали, чем восторгались, уже сегодня постепенно уходит в небытие. Пришли другие читатели, с другой психологией, другим жизненным опытом. Я предвижу, что этим утверждением навлеку на себя целый ряд упреков со стороны ученых, литературоведов, которые все эти понятия задогматизировали, но меня их учения не убеждают. И пусть они на меня за это не обижаются. Безусловно, необходимы какие-то научные теории, чтобы как-то попытаться объяснить происходящие процессы. И сегодня в связи с тем, что мы переживаем глубокий процесс внутреннего пересмотрения, обновления, мне кажется, литературоведческая наука должна обновиться, измениться, перестроиться. Уж кто консерваторы в литературе, так это прежде всего наши литературоведы.

— Можете ли вы назвать произведения сороковых—пятидесятих годов, которые не выдержали испытание времени?

— Я думаю, каждый из нас для себя делает в этом смысле определенные выводы.

— Тогда что не устарело?

— Очень мало. Многое ушло в небытие через сито времени. Что осталось? Конечно, «Тихий Дон» — могучий этап в развитии нашей литературы, художественной мысли. Это полюс народной эпической литературы, идущей от корневой жизни. На другом полюсе, я бы сказал, — рафинированная, но, может быть, в том и ее достоинство, насыщенная интеллектуальным уровнем проза. Это Булгаков. Между этими полюсами можно расположить нечто из того, что еще должно волновать читателя.

— А Твардовский?

— Ну, о поэзии мне труднее судить. Конечно, Твардовский значителен и как мастер, и как выразитель больших социальных переживаний.

— В литературный обиход, в арсенал читательского восприятия пришел Набоков. Как вы оцениваете это?

— Я считаю так. Набоков и другие имена, возвращенные читателю, — все это колосья одного снопа. Сноп русской литературы. Даже то, что Набоков написал на английском языке. Все равно это русская литература. Другое дело, кому-то он может нравиться, кому-то нет. Ведь мы не привыкли читать такого рода русскую литературу. Кстати, мне кажется, что мы изобрели свои критерии оценок и пользуемся ими, невзирая на то, что эти критерии и не совпадают с общим пониманием. Исходя из этого, претензий к Набокову много, тем не менее, мне кажется, что это большой художник слова, интереснейший стилист.

Но Бунин мне нравится больше, он ближе мне, понятнее. В нем больше певучести, теплоту его слова я ощущаю почти физически. В Набокове больше изысканности. Но, вы знаете, одно здесь не отменяет другого, не уменьшает значение другого. Чем разнообразнее палитра, тем богаче литература. Поэтому я считаю, что Набокова справедливо вернули в лоно нашей литературы.

Я очень завидую Распутину. Он защищает Байкал, и это достойно того, чтобы потомки навсегда остались ему благодарны. Только за это, не говоря о том, что он талантливый писатель. У меня, к сожалению, две заботы в таком плане. Наш Иссык-Куль тоже требует ускоренных решений, решительных усилий, потому что хозяйственные нужды забирают всю до капли воду, которая должна впадать и пополнять Иссык-Кульское озеро. Свыше шестидесяти рек и речек, прежде впадавших в озеро, теперь до него не доходят. И озеро неотвратимо мелеет. Все мы это осознаем, говорим, пишем, я в частности, но не можем преодолеть собственных хозяйственных нужд. Никто за озеро не несет персональной ответственности. Тогда как за невыполнение плана люди несут персональную ответственность. В этом противоречие бытовых нужд и вечных экологических проблем. Они у нас в тупике. Глядя на озеро, как оно мелеет, уменьшается, я вспоминаю еще об одном озере — это тоже святыня народная — язык. Если не впадают в язык новые мощные пласты в виде новых поколений, если они не успевают осваивать родной язык, если для этого нет у них условий, нет необходимых детских учреждений, школ, то это тоже обмеление языка, это тоже, если не экологическое, то, значит, национальное бедствие. Вот об этих вещах до сих пор не принято было говорить, не могли мы говорить. А когда мы начали вслух об этом говорить, то почувствовали, как велика инерция прошлого. И еще одна — это уже катастрофическая проблема, проблема Арала, Аральского моря. Я не отделяю Арал от Иссык-Куля, так же как не отделяю Байкал от этих крупнейших водоемов страны, но я рад, что у Байкала есть свои заступники, защитники. В катастрофе Аральского моря повинен в основном человек. Наши хозяйственные дела, хлопковая монокультура, которая буквально произвела экологическое опустошение, поскольку погоня за урожаем, за валом убивает Арал. Да, говорят, что много хлопка шло и идет на экспорт. Понимаю необходимость валюты для государства. Но так или иначе произошла крупнейшая экологическая катастрофа: озеро исчезает, море ушло от своих берегов на сорок с лишним километров. Все это стало опустошенной зоной, пустыней. Что вызвало климатические изменения, социальные бедствия, болезни, отравлен-

ный воздух. О многом мы пытались предупредить ответственные органы. Но безуспешно. Казахский писатель Нурпеисов, крупнейший прозаик, знаток Аральского моря, написал большой очерк и отдал в «Правду». Три года этот материал не печатали, я считаю это преступным отношением и к самой проблеме, и к автору. Многое упущено безвозвратно.

— Мой любимый вопрос: Гоген сказал: «В искусстве я прав». Вы можете сказать такое о себе?

— Я могу так сказать. То есть я не хочу сказать, что я достиг вершин искусства и все, что я сделал,— шедевры, но я прав в том, что я считаю справедливой красотой и зло безобразным.

— Есть ли у вас собственные законы искусства?

— Я не думал об этом, в чем они, мои законы, и как я их устанавливаю для себя. Но существует изначально, какое-то общечеловеческое понимание того, что есть хорошо и что плохо.

— Для вас существуют муки творчества или нет?

— Для меня это чисто субъективные вещи, давайте поговорим о другом.

— О чем?

— О читательской реакции на «Плаху». Дело в том, что до недавних пор творчество того или иного писателя нередко с лестной подачи какого-то критика газеты воспринимают как бы на одной волне. Кто-то или что-то заявил, и все органы печати высказывают свои мнения по ранжиру. Полифония самых разных голосов и разногласия оповещает нас о том, что наступила пора широкого демократического обсуждения любого произведения. И вот я думаю, что первым пробным шаром оказалась «Плаха». На нее обрушилась буквально лавина. Самых разных, иногда диаметрально противоположных читательских мнений, но я-то понимаю, что идет от глубокого понимания, что от поверхностного, что от тенденциозного, что от искреннего. То есть я за всем этим вижу самые разнообразные побуждения, но вместе с тем я вижу и очень высокий взлет критической мысли и в профессиональном смысле меня это устраивает, я не боюсь широкого обсуждения и бурных кипений страстей.

Есть читательские письма, которые надо читать не

один час. Огромные письма, длинные, они говорят о том, что многие годы не могло служить предметом разговора.

— Чингиз Торекулович, вы, Джон Робертс и Джон Ле Карре являетесь рабочими участниками «Иссык-Кульского форума». Расскажите об этой вашей инициативе в борьбе за будущее человечества.

— Я считаю, что нынешняя поездка — это ростки, побеги «Иссык-Кульского форума». Раньше редко так случалось, чтобы официальные контакты превращались в личные добрые отношения. И это уже не просто знакомство, идет процесс взаимного обогащения, посвящения в заботы и тревоги друг друга. Я очень доволен, что Джон Ле Карре, который для меня был малоизвестен как личность, высказал интересные наблюдения, взгляды, которые во многих случаях совпадали с моими. Да, мы — не философы, не ученые, но мы считаем, что государство сейчас настолько всемогуще, что человек полностью находится под его диктатом. Конечно, коллектив и личность — это вечное, поскольку человек не может жить сам по себе. И в разных социально-экономических структурах по-разному складываются эти отношения. Тем не менее нигде еще не существует идеально найденной основы, суть которой звучит так: счастье каждого отдельного индивидуума. В этом заветная цель, смысл человеческого существования, достоинство человеческой жизни. Как этого достичь? И художник обязан думать об этом, предлагать пути к достижению этой цели. Такова тема одной беседы с Ле Карре. Вторая беседа сложилась как размышления о феномене секретности в современном мире. На эту тему писателем написан роман. Что такое секретность? Кому она нужна? В каких размерах? Мы понимаем, поскольку существуют разные политические системы, государственная секретность — неизбежная вещь. Но плохо, когда она превращается в некий самодовлеющий феномен. Мне кажется, что мы иногда любим излишне засекречивать. Есть люди, которые из этого делают какую-то привилегию, особое положение их выделяет. И потом, вокруг секретности должен быть особый аппарат, а вокруг аппарата еще один аппарат, и так бесконечно. В любом обществе на этой почве создается определенная прослойка, преследующая какие-то корыстные выгоды и цели... Я говорю об этом честно, и, возможно, найдутся

люди, стоящие на страже секретности, которые возненавидят меня за эту откровенность. Но очень уж жаль той энергии и тех средств, которые мы затрачиваем на обеспечение секретности. Помню, до недавних пор мы засекречивали все очередные вылеты в космос. Людей показывали со спины, космонавт рапортовал человеку или прощался с человеком, у которого мы видели только край спины. Но я думаю, что это только для нас было секретом, а для тех, кому это нужно, они, наверное, все знали.

Я думаю, что «Иссык-Кульский форум» — это один из признаков гласности. Нам никто не мешает, никто нас не контролирует, что говорить, о чем нам говорить. И о чем не надо. Это большое достижение, я бы сказал, одно из новых определений свободы в наши дни. Есть люди, которые много говорят о свободе, но ничего не делают. А мне кажется, что многие даже не представляют, что такое свобода. Иные думают, что свобода — это когда все позволительно, что в голову взбредет, то и делает, то и говорит. На самом деле это не так. Свобода — это обретение все новых духовных пространств, новая ступень в нравственном, социальном совершенствовании человека.

* * *

Много впечатлений осталось от поездки в Киргизию. За пределами этого интервью интересные размышления Чингиза Айтматова и о других, не менее важных проблемах нашей сегодняшней жизни, нашего недавнего прошлого. Для меня это были беседы с человеком, по-своему анализирующим жизнь, глубоко думающим о ее процессах, предлагающим пути ее позитивной перестройки.

Я видел Айтматова в окружении людей, доверяющих и верящих ему как писателю и человеку. Ибо в нем, в его биографии, в его творчестве, в его общественном подвижничестве отразились разломы нашего времени, его трагическая сущность.

Высокое, мощное течение современного бытия должно коснуться каждого из нас, думалось мне в эти дни. Как касается оно судьбы Айтматова всем-всем: от фило-

софских бесед с известнейшим английским писателем и отцовских воркований с дочерью Ширин, которая сопровождала отца в поездке, до восхищения горными красотами Заилийского Алатау и вспышек тягостных воспоминаний о судьбах предков на кладбищах, которые мы посещали. Как касается оно самого главного в его жизни — его книг, того, что зарождается в душе писателя, творца новых произведений.

Июль 1987 г.



Расул ГАМЗАТОВ

НАД И ПОД КРЫЛОМ ОРЛА

Он стоял у самолета, седоголовый, тяжеловатый, смущающийся человек. Уставший, он излучал радушие и доброжелательность. К нему запросто, по-свойски подходили люди. Он жал им руки, перекидывался словом, находил секунды уединения. И все называли его «Расул». Сколько гостей принял он на своей гостеприимной земле, сколько раз вылетал отсюда в столицы мира посланцем солнечного Дагестана.

Расул Гамзатов. Поэт. Философ. Сын Гамзата Цадаса. Отец Патимат, Заремы и Салихат. Дед

четырёх внучек. Балагур-рассказчик. Дипломат. Эпикуреец. Хитрован. Наивен. Открытая душа, распахнутый щедрый характер. Человек-эпоха. Удачливый, везучий. Обласканный Сталиным. Гаргантюа и Пантагрюэль одновременно. Санчо Пансо и Дон Кихот. Собеседник Шолохова. Друг Твардовского, Фадеева и Симонова. Живой классик. Легенда. Непоседа, объездивший полмира. Проведший часы общения с Фиделем Кастро и Индирой Ганди. Вечный слуга двух самых преданных ему женщин на свете: поэзии и жены Патимат. Коммунист. Наш прославленный современник. Автор ста книг. Почти памятник.

Народный поэт Дагестана. Лауреат Государственных премий. Лауреат Ленинской премии. Секретарь правления Союза писателей СССР и РСФСР. Член Президиума Верховного Совета СССР. Герой Социалистического труда...

Я пробыл с Расулом Гамзатовым восемь дней. По горным дорогам, на вертолете, на машинах мы объездили большую часть Дагестана. Эта страна потрясает. Удивляет. Лишает сна. Красота ее неопишима.

Расул Гамзатов — один из ее добрых хозяев. В стихах, книгах, в этом его слове о родной земле, о нашем времени, о том, что происходило в недавнем прошлом и происходит сегодня в умах и сердцах советских людей,— многое из того, что передумано, пережито...

— Я рад, что мы беседуем с вами в доме моего отца, в его ауле Цада. Это когда-то оторванное от всего мира высокогорное селение связано теперь со всем миром. Отсюда широко и далеко видно. Однажды меня спросили, где находится твой родной дом, и я ответил словами одного из горских мудрецов: «Над и под крылом орла».

При жизни отца здесь побывало много известных гостей, писателей, деятелей культуры. И уже ко мне в гости приезжали Твардовский, Симонов, Гроссман, Казакевич, Крон, Михалков...

Иногда говорят, что меня, дескать, поэтом сделали переводчики. Что ж, я рад, пусть будет так. Правда, об этом я не думал и не думаю. Со всеми своими переводчиками я учился в Литинституте в послевоенные годы, дружил с ними еще тогда, когда никто не знал, кем и чем

мы все будем на этом свете. Я благодарен им, что они помогли мне обрести всесоюзное имя, стать известным русскому читателю.

Да что говорить, у меня есть национальное чувство, а националистических чувств нет и не может быть. Да и не только у меня, у всего моего народа.

Вот видите, идет дорога. Называется она русская дорога. Нам, мальчишкам, говорили когда-то: «Бегите до русской дороги и обратно». Горский народ всегда шагал до русской дороги и возвращался обратно в свои аулы. По русской дороге все дагестанцы пошли — и весь мир увидели, и историю свою утвердили, традиции прославили. Революция много дала и России, и всем народам, ее населяющим.

Есть такое выражение: в того, кто выстрелит из пистолета в прошлое, будущее выстрелит из пушки. Сейчас идет перестройка, ломка старого, но я считаю, что нельзя все ломать. Хорошее надо беречь, хранить, восстанавливать. В рубке с плеча можно многое потерять, и потерь этих нам не простят.

Будто в груди у меня два сердца бьются: одно «за», другое «против». Будто надвое я разделен, на вечер и утро. По-моему, очень плохо, если бывает в стране так, что все от одного человека зависит. Был культ личности, а потом стал культ должности. Я не принадлежу к тем людям, которые при гостях гостей хвалят, за них пьют, объясняются им в любви, а когда гости уходят, начинают их ругать вдогонку.

Молчать о людях, которые принадлежат истории, несправедливо. И я хочу знать, чему я так верил, почему меня обманули и в чем? Если и вправду за время, в которое мы жили, были преступления, их прощать нельзя и оправдывать их не следует. Но делать это не без оглядки, а учитывая и взвешивая конкретные обстоятельства. Многие трагически ошибались, они думали, что государство укреплялось. Если оно и укреплялось, то человек-то мельчал. Считаю, что и сегодня мельчает, ибо в него внедрилась болезнь, которую Ленин называл комчванством, бюрократизмом.

В последнее время все чаще и чаще я слышу такие вопросы: «Что же мы так? Неужели все у нас плохо?» За

рубежом меня спрашивают об этом, в ауле родном, да и сам я спрашиваю себя: «Что же получается, работали, трудились, жили, пели, танцевали — и все руководители после Ленина были, оказывается, «плохие». На этот вопрос четкого ответа я еще не слышал. Ответить же на него надо. И ответить правильно.

Вы спрашиваете меня о том, как, будучи в течение двух десятков лет членом Президиума Верховного Совета СССР, я тоже голосовал за те или иные ошибочные указы, постановления, за награждение тех или иных «героев», как мы теперь знаем, недостойных людей. Если честно, я часто сомневался, я думал, сколько золота идет на эти ордена и медали, сколько средств тратится. Но подход к делу и здесь был бюрократическим: в десятой пятилетке — столько-то наградить, в одиннадцатой пятилетке — столько-то. Разве так можно?! Вот и функционирует без продыху ведомственное издательство Верховного Совета СССР. А что издает? Стенографические отчеты сессий Верховного Совета на пятнадцати языках. Эти же указы затем издаются на местах. А надо ли так? Ведь лежат те фолианты, напечатанные на хорошей бумаге, мертвым грузом. Конечно, голосовали за многие решения, правильные, человеческие, справедливые. Только как жалко, что, несмотря на эти решения, преступность медленно снижается, что с алкоголизмом приходится вести яростную борьбу, что здравоохранение у нас не на высоте. Я раздвоен. Одна истина остается по левую сторону, другая — по правую. Наверное, разные поколения по-разному думают, по-разному оценивают события.

Я вырос в Дагестане, в семье, в которой Ленина изучали по Сталину. Самого Ленина мало изучали. Больше Сталина цитировали. И первое стихотворение я о нем написал: совсем мальчишкой напечатал ту оду. Редактор газеты восклицал в передовой статье, что в горах не будет человека, который это стихотворение не выучит наизусть. Как тогда праздновали день приезда Сталина, ведь он автономию республики объявил!

За поэму, написанную о событиях тех лет: приезд вождя, получение автономии, рождение республики, день, который каждый считал днем своего рождения (я это искренне написал), я получил тогда Сталинскую премию.

В то время у моего народа все было связано с ним одним. Быстро меняется история: сегодня дата празднования автономии в республике перенесена.

С другой стороны, я считаю, что у меня украдено время. Часть жизни украдена. От меня многое, оказывается, скрывали. Я жил в ауле, ходил в школу, и от меня скрывали какую-то часть истории, целый ее пласт. Одних поэтов скрывали, а других преподносили. Полностью я не знал тогда даже Маяковского. Я воспитывался на стихах Жарова, Безыменского, Виктора Гусева. Жизнь была огромным театром, и что происходило за его кулисами, о том не ведал. Я просто всему наивно верил. И когда в 1937 году четырнадцатилетним мальчишкой из газет я узнавал, что людей стали репрессировать, то мне воистину казалось, что сажают врагов народа. Было такое, было...

Меня часто спрашивают, сильно ли было влияние отца? Как тут ответить? Я считаю Гамзата Цадасу великим поэтом, но стихотворцем я стал, когда самостоятельно, без его влияния серьезно занялся поэзией.

В 1945 году, после войны, я приехал в Москву, поступил в Литературный институт. Приехал из многоязычной республики. В Дагестане националистических тенденций никогда не было, национальное, может быть, было, а националистического — никогда. У нас считалось (не приписываю себе, у нас так говорят), кто соседа ругает, это дурак дома, глупец дома, кто другую нацию ругает — это глупец той нации, кто другую страну ругает — это дурак страны. Уважение к старшим, хорошее отношение к женщинам, гостеприимство — все это извечные горские традиции. Детство мое было счастливым — отцовский дом всегда был открыт гостям.

К отцу приезжали Николай Тихонов, красавец Владимир Луговской. Одиннадцать лет мне было, когда первые свои стихи я им читал. А они читали свои стихи отцу. Это они открыли отца всему свету. Позже приютили меня в Москве. При сдаче экзаменов в институт в первом же сочинении я сделал шестьдесят ошибок, ровно столько, сколько сделал и мой сосед по парте. Много возились со мной, много. Я не знал в ту пору самого элементарного: кто такие чукчи, евреи, кто такие русские. Я просто

об этом не думал. Каждый день открывал для себя что-то новое. В Большом театре Уланову в первый раз увидел — открытие. Тарасову во МХАТе — открытие. Пастернака встретил — открытие. Эренбурга услышал — открытие.

Митинги, обсуждения, осуждения — тоже открытия. Как молодой коммунист, я участвовал в одном из них и тоже кого-то там клеймил. Рядом со мной стояли иные известные писатели, которые тоже разоблачали. Обо всем увиденном я написал отцу. Тот срочно вызвал меня в Дагестан. «Ты читал произведения писателей, которых клеймишь?» — спросил он. «Нет, не читал, — ответил я, — но пишут же о них в газетах». Отец строго посмотрел и произнес: «Ну какое же ты право имеешь, не читая писателя, судить его».

Не скажу, что тогда я очень уж послушался отца, но в дальнейшем старался не поступать так опрометчиво. А митингов много было. По Пастернаку, по Твардовскому, по музыке, по космополитизму...

Но что же стало с моим народом в те годы? Вся партийная организация республики разгромлена, вся интеллигенция, которая революцию делала. Сжигались книги, библиотеки, которые люди, ставшие по чьему-то произволу виноватыми, собирали долгие годы. Еще не так давно мне хвастались люди, которые сжигали в свое время целые вагоны книг так называемых буржуазных националистов.

Радостно сегодня, когда Россия как нация, большая великая нация, отмечает юбилей Куликовской битвы, «Слова о полку Игореве», Пушкина... Но, к сожалению, значение истории подчас принижается. В Махачкале отменено, например, изучение дагестанской истории в университете. Как же так можно? Изучение истории своего народа не мешает изучению истории других народов. Лично я, например, очень благодарен арабской культуре, потому что мой отец был образованнейшим человеком. Романа Роллана, Толстого, Чехова, другие книги он читал по-арабски.

Я считаю, что любая культура заслуживает того, чтобы преклоняться перед нею. Как долго у нас считалось, что лучшее разрешение национального вопроса —

умалчивание о нем. Все делалось так, будто вопрос этот давно уже снят с повестки дня.

Как же мы хотим приукрасить себя в своих собственных глазах!

Проблема отцов и детей во всем мире существует. У нас же делали вид, что она разрешена окончательно и бесповоротно.

Будто бы все у нас гладко, без сучка, без задоринки. До того дотянули, что тяжело стало ошибки исправлять.

Многое я пытался выразить в своих стихах. Я, правда, не публицист. Гражданственность у нас по-разному толкуют. Сейчас идет перестройка. Оглядываясь назад, нужно идти вперед—это необходимо. Иначе нельзя. Только стремление свое не показывать надо, а доказывать.

Но в каждом хорошем начинании, к сожалению, появляется иногда порча. Сейчас наблюдается то, что я бы назвал однобокостью: крикуны, говоруны, ниспровергатели. Под видом гласности—голосистое кликушество. А истина-то в серьезной дискуссии, в сопоставлении разных взглядов.

С другой стороны, если оглянуться назад, одноцветность очень помешала развитию литературы. Какая радость—возвращение многих писателей.

Далеко не каждый сегодня принимает на себя ответственность за происходящее. Очень эгоистичны мы стали. Больше о себе думаем, забывая о ближнем своем. Как же приблизить нашу идеологию к душе и сердцу каждого?

Если мы каким-то преступникам амнистию объявляем, почему в литературе амнистий не объявить! Как Бунину когда-то. Мы простили его и по-прежнему любим. А если бы не вернули, не простили?! Чего-то бы не хватало нам без Бунина, брешь зияла бы в литературе.

Появление новых «старых» имен не должно умалять других авторов, которых мы знаем и любим. Литература—не та сфера, где, если кто-то пришел, другой должен уступать место. В литературе места всем хватит.

В Дагестане тоже иные думают: а не проглотит ли русская литература нашу национальную? Уверен, что нет. Это абсурд. Именно русская литература, революция у-

вердили нашу культуру, возвратили нам во многом нас самих.

Три учителя у нас: природа, годы и гениальность веков. О многом из того, что мы сейчас переживаем, еще Ленин предупреждал нас. О комчванстве, например. Коммунист у меня всегда ассоциировался с чистотой взглядов. Но сколько среди них было и есть еще случайных людей. Бумажных коммунистов.

Я был участником, делегатом семи партийных съездов. Особенно мне запомнился XXII съезд и XXVII. Потому что на них говорили о человеческом достоинстве, о совести, о правде, о взаимоотношениях людских. Я участвовал и во всех писательских съездах, начиная со второго. Второй съезд и последний, восьмой, были, по моему мнению, самыми интересными. Я не хочу умалять значения остальных съездов, они были в чем-то важными, но не было на них критических выступлений, все больше аплодисменты звучали, больше было показного, неискреннего единодушия. Не хватало на них яркого острого слова Валентина Овечкина, Александра Твардовского, Михаила Шолохова.

Мне запомнились все речи Фадеева, произнесенные с чувством, с достоинством, со страстью.

В рабочем кабинете под трель телефонных звонков

— Недавно я был в Англии и от многих там слышал, что духовная столица мира сегодня — Россия, Советский Союз. Еще недавно мало интересовались тем, что у нас происходило. А нынче на нас смотрит действительно весь мир. Смотрит с надеждой, с озабоченностью: победит ли перестройка? Я тоже задаюсь этим вопросом. Да, мы против культа личности, против насилия, против нарушения прав человека. Но я вижу ростки культа должности, препоны со стороны чиновников.

По нашим аульским законам вначале всегда старшего спрашивают, того, кто больше звезд видел. А сейчас собрания откладываются, свадьбы откладываются... Ждут, пока районный милиционер придет, он «долж-

ность» привезет с собой, без которой нельзя начинать мероприятие. Я, естественно, не против должностей, но не следует преувеличивать их значение в каждом людском деле.

Ко мне, как к депутату, приходят люди: «Помогите попасть к тому-то и к тому-то». Мне уже кажется, что к министру простому человеку попасть невозможно. Тысячи людей ищут правду. Тысячи людей стоят в очередях канцелярий, пребывая в бесконечных ненужных командировках, отпусках за свой счет.

Сама наша борьба с бюрократизмом превращается подчас в говорильню. По-прежнему много различных бумаг, много пустых решений! Каждый день какие-то инициативы появляются. Но надо же старые доводить до ума, не забывать о них. Чувствую, что заседаний больше стало, во всяком случае, в наших писательских организациях. И многие нерезультативны. Ибо царят на них занудство и тоска.

Литературное мастерство стало наследственным даром. В Литературном институте учились отцы, а нынче учатся их дети и внуки. Я бы назвал это родственным эгоизмом.

Эгоизм этот и в науке есть. И в искусстве. И в дипломатии. Даже в торговле. Слышал я такое недавно: на родственном совете решили одного представителя своего клана «сделать» Героем Социалистического Труда и все труды и заслуги приписали ему одному. Что бы вы думали? Удалось.

Не нравится мне суета некоторых уже немолодых писателей, которые поскромнее должны бы себя вести. Они считают, что перестройка благодаря им наступила. Да, настал черед Пастернака. Но ведь не секрет, что иные из этих «немолодых» голосовали за исключение Пастернака. А ведь они знали уже тогда все его стихи, все его произведения, знали, что он подарил России прекрасные переводы Шекспира, Гёте, Бараташвили. Отчего же молчали?

О Твардовском много сегодня говорят и пишут. Твердят, что музей Твардовского надо открывать и все такое... Но, дорогие мои, сходите на его могилу, посмотрите, в каком она запущенном состоянии. Хоть бы

цветок положили. Где были те или иные из нынешних смелых, когда на публикации «Нового мира» сочинялись коллективные письма под названием: «Привлечь к ответственности за...»? Где были они, когда травили Твардовского, уже больного, били лежачего?! Почему же тогда не защитили большого поэта?

Последние годы мне посчастливилось: я очень дружил с Твардовским. Я не люблю хвастаться документами, но есть его письма ко мне, он приходил ко мне в гостиницу, я бывал у него дома. Что меня лично в нем привлекало? Отличное знание всей европейской поэзии, восточной поэзии, Хафиза, влюбленность в китайскую поэзию. Он был скромн. И в статьях своих, и в разговорах, и в делах. Был самостоятелен, самобытен. Никогда не стремился кому-то понравиться.

Вспоминаю знаменитый бар около Литинститута. Частенько я там бывал. Приходил и он. Не забыть душевных разговоров. Мои стихи, честно говоря, он никогда не хвалил, а «Мой Дагестан» напечатал.

Стал я членом редколлегии «Нового мира» — и «Литературная Россия», членом редколлегии которой я был тогда, написала гнусную статью о «Новом мире» и об Александре Трифоновиче. Твардовский мне говорит: «Я написал протест, и ты, если хочешь, выбирай между мной и «Литературной Россией».

Он меня другом считал, но я не могу назвать его другом. Он для меня слишком могучий человек. Он не любил почему-то ездить в республики, но ко мне приезжал в аул, вместе с женой Марией Илларионовной.

Я не видел его ни разу записывающим что-либо в записную книжку. Все старался запомнить. Как хорошо, что в моем архиве сохранилось много снимков о пребывании Твардовского в Дагестане! Глядя на них, я ощущаю, каким духовно богатым он был в тяжелые моменты своей жизни...

Поэму «Два сердца», написанную давно, я дал Твардовскому на прочтение. Он ответил мне письмом, которое я, конечно, храню. Письмо было суровым. Александр Трифонович резко меня критиковал. Я не обиделся на него за это, хотя считаю, что он не во всем был прав. Зря Твардовского некоторые считают безгрешным. Безгреш-

ных людей нет. И я его уважаю так, как, быть может, мало кто уважает. Это великий писатель. Но у него тоже были грехи. Быть может, в чем-то он был неискренен. Время было иное. Вообще история разберется.

Письмо его, хочу вернуться к этому, меня удивило. Он корил меня за то, что я беру тему из загробной жизни, что я якобы у кого-то другого перенял художественные приемы. Возможно, на себя намекал. Если так рассуждать, Твардовский в своем «Теркине на том свете» тоже не нов. Сколько до него было написано об аде и рае. Потом я понял, в чем дело, почему Александр Трифонович так разъярился на меня. Его покорило то, что свою поэму я читал какой-то другой персоне. А ему об этом сказали. Да, читал, но ведь это было моим правом. Персона — тогдашний редактор «Известий» Алексей Аджубей. Поэму мою он не напечатал. Так она пролежала в столе 25 лет. Твардовский называл себя другом, но на самом деле он был учителем. Но этого он никогда не подчеркивал. Не выпячивал свое наставничество, свое учительство. Его поэзия была на стороне слабых, рядовых людей. А мы очень часто были на стороне сильных. Хотя это противоречит природе, природе литературы, мы как бы сало мажем маслом.

Меня тогда трогало, как дружили Фадеев, Федин, Светлов, Смеляков. Все встречались в ЦДЛ, за чаем или бокалом вина, подолгу засиживались за дружеской беседой. Единственно Твардовский мне однажды сказал: «В ЦДЛ не ходи. Если хочешь выпить, иди в другое место».

Среди развалин древнего Дербента

Откуда только пошла гулять пресловутая формула о «преклонении перед Западом»? Преклоняться перед Гёте, перед Флобером, перед Гейне, преклоняться перед японской поэзией или китайской поэзией Ду Фу — разве это плохо?!

С другой, правда, стороны, взаимовлияние Запада и Востока нивелирует национальные черты.

Быстрые побеги дает лишь национализм, подлинный интернационализм труднее воспитать. Вот примеры. Дагестанец женится на русской. Это преподносится как факт

интернационализма. А дело-то все в самом элементарном и банальном, что полюбили друг друга молодые люди. Или — в колхозе работают люди пяти различных национальностей и живут они мирно, дружно, не дерутся. Плоды интернационализма, кричат твердолобые догматики. Значит, если колхозники намылят друг другу шею, не поделив, допустим, очередь за импортной косметикой, — это национализм? Глупость! Вообще мне кажется, что в Дагестане проблемы интернационального воспитания разрешены лучше, потому что в многоязычной нашей республике сама жизнь этого требовала. Конечно, великий русский язык стал для всех нас объединяющим вторым языком. Да, я поддерживаю двуязычие, билингвизм. Двуязычие для наших народов — это как бы два родных языка. Но двуязычие нельзя насаждать. Я говорю о своем народе, а личное дело грузин или эстонцев принимать билингвизм или нет. Я считаю, что чем больше языков знаешь, тем лучше. Для малочисленных народностей это особенно важно. Вспомним сказанные кем-то слова: сколько ты знаешь языков, столько раз ты человек. Я рад был бы сейчас и английским владеть, и французским. Но увы... Новое поколение, думаю, будет образованнее нас, а значит, — «интернациональнее».

Языки, с материнским молоком впитанные, не исчезают со временем. И идет сейчас процесс не исчезновения, а утверждения языков. Только в последние годы в Дагестане созданы детские журналы на родных пяти языках.

Правда, в городских школах сложно наладить изучение языков. Города у нас многоязычные, на всех языках сразу преподавание в школе не организуешь, поэтому обучение идет на русском языке. Но в этом ничего плохого нет, это естественный процесс.

Я с подозрением гляжу на людей, которые высокомерно говорят про историю других народов: «Приукрашивание...» В Узбекистане — древняя история. В Грузии — древняя история. В Армении — древняя история. Разве можно сомневаться в этом? Да и зачем? Что есть, то есть. Чья-то история моложе, чья-то древнее, глубже. Надо изучать друг друга. А не завидовать, не развращаться злобой. Это же прекрасно, когда народы будут знать историю друг друга. Ведь столько еще не-

познанного в любой истории. Да, к примеру, русских людей повсюду привечают, как старших братьев. Но элемент недоверия вызывают назначения, допустим, в хлопковые районы людей из Рязани. Это дает пищу для разжигания националистических настроений.

Сейчас нужен культ человека. Не культ должности, а культ человека. Даже в 1937 году мы пели: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Но вольно дышать — это не только жить у себя дома, но и мир посмотреть, по Парижам поездить, лондонского тумана вдохнуть. Надо чаще выезжать за границу. Не общаясь с зарубежными странами, не имея научных, литературных, культурных связей, как можно двигаться вперед? Хорошо, что много в этом отношении сделано XX и XXII съездами партии. Надо срочно облегчить человеку оформление поездок за границу, снять нервность в этих делах. Сколько комиссий надо пройти, бумаг оформить, чтобы выехать за рубеж! Ощущаю это на себе. В конце концов я не прогуливать еду, а по литературным, государственным делам.

Образование получить у нас — подчас тоже бюрократическая волокита. Зачем, к примеру, человеку из республики при поступлении в вуз писать сочинение на русском языке? Меня старославянский язык обязывали учить. А он мне ни разу не пригодился. Наверное, знание старославянского не лишнее, но лично у меня такой надобности не было. Так вот, за сочинение с ошибками абитуриент из республики не попадает в институт. Считаю, что это несправедливо.

Как необходимы сегодня связи между людьми, народами! Есть у нас телефонная связь, есть почтовые связи. Вот душевных связей больше надо, они самые главные.

На месте пленения Шамиля

— Очень больной для дагестанцев вопрос — судьба Шамиля, которого даже Маркс считал героем освободительной борьбы. Национальным героем. В свое время Чернышевский, Добролюбов, многие другие люди высоко оценили его борьбу против колонизаторов. Он первым не напал на Россию. Это царские генералы приказыва-

ли сжигать селения, аулы. И Шамиль возглавил борьбу за свободу. Почему его и сегодня иные продолжают считать реакционным деятелем? Писатель Пикуль бросил совершенно бездоказательное обвинение Шамилю, публично объяснившись в ненависти к нему. Но кто виноват, что появился такой герой — Шамиль? Ответ один — царь, его завоевательские устремления. Если нападает враг, нельзя сидеть сложа руки. Это не в характере горца. Сам Шамиль никого не обидел. Только вот «обижал» царя в течение 25 лет, пока боролся с его экспансией, выражаясь современным языком...

Давно уже я написал и до сих пор не могу напечатать поэму «Шамиль». Не скажу, что это хорошая поэма, что это моя большая удача, но искренне верю тому, о чем рассказал. Некоторые люди у нас боятся имени Шамиля больше, чем волка в степи. Больше, чем самого царя, который воевал с ним. У одного руководящего работника я спросил: «Почему вы так боитесь Шамиля?» «Из-за того, что я Шамиля не упомянул, ничего не случится, а за то, что упомянул, меня снимут с работы», — ответил он мне. И в самом деле это так. В Дагестане шла пьеса, отражающая шамилевские битвы. Никто из руководства ее не смотрел. Между тем пьесу сняли по телефонному звонку.

Чего мы боимся? Истории? Правды? Самих себя? Или снова и снова страшимся жупела национализма? Но у Дагестана своя национальная история, а в этой истории свои герои, судьбы, свои сложные социальные коллизии. Зачем же «вырезать» историю, она ведь не киноплёнка. Дагестан — республика, а не только заготовительный пункт. Имя Шамиля нельзя вырвать из нашего прошлого. Нельзя! К движению Шамиля, к его действиям с симпатией относились не только дагестанцы, но и лучшие русские люди, лучшие писатели России, социал-демократы. Этому движению сочувствовал великий украинец Тарас Шевченко, его приветствовали ученые Азербайджана, Грузии, Казахстана. И в нашем современном Дагестане нет такого поэта, который бы не помянул добрым словом имя легендарного народного вождя.

Мне дорога Россия. Я перевел многих русских писателей. Но почему же иные русские писатели, ученые бесцеремонно вторгаются в нашу историю, искажая ее, уродуя. Ведь нельзя отнять то, что в душе у народа.

Мы привыкли к «Хаджи-Мурату» Толстого; нельзя требовать от Шамиля и от Хаджи-Мурата, чтобы их сложные судьбы «вписывались» в сегодняшний день. Они противоречивы. Ведь их борьба с царем длилась четверть века. Сами противники его уважали. Нельзя быть вульгаризаторами истории. Каждый народ в свое время воссоединился с Россией при разных исторических обстоятельствах. Если будем рассматривать их борьбу за независимость как борьбу против русского народа, это будет глубокой ошибкой. Оскорбительной не только для коммунистов, но и для всех мыслящих людей.

В свое время вместе с Гией Данелия и Владимиром Огневым я написал сценарий «Хаджи-Мурат». Данелия должен был снимать эту картину. Но нашлись люди, которые сразу же приклеили нашей работе ярлык: дескать, она мешает дружбе народов. Но почему мешает? Лев Толстой не мешает, а я мешаю? О Шамиле существует огромная литература, в том числе повесть Петра Павленко, давно не переиздававшаяся. С именем Шамиля связаны те или иные страницы уже нашей современной истории. Многие поплатились карьерой, судьбой, а то и жизнью только за то, что писатель сказал правду об отношении к Шамилю, о его роли в истории дагестанского народа. Если кто-то думает, что для интернационального воспитания нужно именно так исказить историю, то он глубоко ошибается. Такое отношение озлобляет человека, с уважением относящегося к истории. Перестройка должна коснуться и имени Шамиля. Это очень важно.

В запасниках галереи

Мы смотрим на картины знаменитого дагестанского художника Халила Мусаева. Судьба его трагична. Родился он в селе Чох. Рано раскрылся как талантливый художник. Первый из дагестанских художников, иллюстрировавший русские, советские журналы. Он писал образы горянок, прекрасные картины, природу талантливо писал, с большой душой. В 1921 году Халил поехал учиться в Италию, там женился. На Родину не вернулся, остался на чужбине. Умер Мусаев в Нью-Йорке в 50-е годы. Его картины на Западе получили признание, имя

его широко известно в Европе, в Америке. А вот в Дагестане имя Х. Мусаева запрещено. Те, кто любит искусство, знают о нем, знают его творения. Но официального признания он не получил до сих пор. Разве так можно? Судить человека, который не сделал ничего плохого своей Родине, своему народу?! В Дагестане не так уж много выдающихся художников. Разве можно бросаться такими, как Мусаев?! Он был, кроме всего, смелый, мужественный человек. У нас до революции запрещали рисовать человеческие лица. Халил рисовал образы людей, героев, образы певцов, образы красивых женщин. Он любил человека, горца, горячего, пылкого патриота. Повторяю, мы уголовников амнистируем, а вот талантливых людей, оставивших в истории свой след, амнистировать боимся. Почему?

Во всемирно известном селении Кубачи

Еще одна проблема гложет меня. Судьба золотого и серебряного дела в Дагестане. Всего четыре мастера осталось... А там — конец, некому перенять секреты уникального народного промысла в республике. Сейчас мастер — как поэт-единоличник. Индивидуальное хозяйство поэта — его душа. И у златокузнеца также. На весь мир известен дамасский кинжал. У нас не хуже — амузгинский. Клинками, изготовленными в Амузгине, пользовались полководцы, маршалы, сам Шамиль. Но вот аул переселили, и исчезли мастера. Да и аул сам исчезает, две-три семьи остается. А мастера эти были в свое время такие же прославленные, как кубачинские. Сегодня уникальные поделки находятся только в музеях. Ленин называл дагестанских художников — великими. Как же вышло, что в Дагестане не оценили этих мастеров? Приезжают туристы из-за рубежа, восхищаются, смотрят, ищут редкостные изделия. А мы к ним, можно сказать, равнодушны. Почему? По какому праву прервали нить времен? Это всесоюзного значения вопрос, всемирного значения. Сегодня наши народные мастера — это не художники, с горькой усмешкой говорю я, потому что работают они для плана, стаканчики делают, роги. А скажите, как запланировать любовь? А мастерство?

Иногда Министерство культуры заключает с мастерами договор. Все заказы отражают современный стиль. В плохом смысле. Потому что и современный стиль бывает хорошим. Со слезами я слышу стоны мастеров: «Мы умрем, нас не жалко уже никому, нам некому передать свое искусство...»

По дороге в театр на вечер, посвященный 110-летию Гамзата Цадаса

Меня тревожит массовость в искусстве, в литературе. Ведь искусство не спорт. Одних писателей сейчас чуть ли не одиннадцать тысяч. На писательских съездах, стыдно было участвовать в этом, самый большой спор разгорался не по какой-то важной творческой или государственной проблеме, а во время голосования, вокруг кандидатур. Но если по высокому счету подходить, разве имеет значение та или иная кандидатура? Значение имеет только одно — талант. Как часто у нас случается: сначала мы раздуваем авторитет, а потом начинаем его поносить. Разве можно так подходить к духовным ценностям: то белым мажем, то черным. И наоборот. Как разобраться в этих метаморфозах поколениям молодых читателей? О наградах и званиях... Я народный поэт. Но я не хочу, чтобы меня народным называли. Твардовского не называют, Маяковского не называют, Блока не называют, Пушкина не называют. А почему в России нет звания народного поэта? Во Франции, в Италии? В нашей Грузии, наконец?! Если хочет народ, сам назовет. Ведь в слове «поэт» большая обязанность, ответственность, но не звание, не должность.

До какого бюрократизма мы докатились: по телефонным звонкам запрещаем спектакли, песни, по телефонным звонкам даже звания присваивают. Один чиновник звонит другому и, не глядя друг другу в глаза, решают серьезные творческие общественно значимые, я бы сказал, народные дела. А хочется открытых обсуждений, серьезности подхода к судьбам поэтов, художников.

Хоть мы критически оглядываемся назад, но я с удовлетворением вспоминаю прошлые дни литературы, широкие обсуждения литературных произведений.

Какими демократическими были отношения друг с другом в годы моей молодости! Когда писатель писателю был ровесник и земляк. Фадеева я видел много-много раз, но поначалу все стеснялся подходить к нему, скромность мешала. Но зато он был простым в отношениях с молодыми людьми, сам приходил в Центральный Дом литераторов, не считал для себя зазорным. Иные же нынешние руководители считают ниже своего достоинства посидеть рядом с начинающими.

Думается мне, нам надо самокритично подходить к своим поступкам в прошлом и соотносить их с общественным поведением сегодня.

Я тоже ошибался. Но и у меня временем много украдено. Самобичеванием я не призываю заниматься, но храбрецы на час нам не нужны. Как пышно, приторно отмечался юбилей пятидесятилетия Союза писателей. Какие юбилейные дифирамбы пелись! Складывалось впечатление, что без одного-двух человек всей литературы не было бы вообще.

Сейчас поэму напечатать тяжелее, чем раньше. Сейчас редакторы считают, что больше 500 строк в поэме не может быть. Кто им дал такое право? Если бы так было, Твардовский поэмы не печатал бы, Блок поэмы не печатал бы. Почему нельзя печатать хорошие поэмы?! Тем более что многие из них — летопись революции. Ярослав Смеляков в журнале «Дружба народов» редактировал мою «Горянку», это четыре тысячи строк. Ее ведь напечатали. В «Литературной газете» Константин Симонов напечатал целиком мою поэму «Разговор с отцом». После этой публикации я получил от Фадеева письмо. Хорошее, доброе, доброжелательное письмо. Дело в том, что именно тогда у меня в нескольких местных журналах появились подборки стихов. А Фадеев, оказывается, за всем следил, по-отцовски внимателен он был к своим товарищам, коллегам-литераторам. Меня это очень удивило — как подробно он разбирал мои публикации. Но в письме было главное: «Не слишком ли Вы торопитесь печатать? — писал он. — Надо торопиться работать, трудиться...» — был его совет.

«Не слишком ли торопитесь?» Я в вопросах приема не понимаю, но почему дело обстоит так, что дагестанского или якутского писателя сразу принимают в члены СП

СССР? Пусть он сначала проявит свое лицо в родных местах, получит признание народа. Раньше писатели шли на бедность ради поэзии, а сейчас бедные сразу хотят быть богатыми через поэзию.

Отношение к поэтам сейчас изменилось, чиновников стало много. Раньше Константин Симонов звонил или телеграмму давал, просил о чем-то. Это вдохновляло.

Поэзия — интимное понятие. Поэзия — не парад, со стихами человек уединяется, хочет побыть наедине с собой. И со словом. А у нас в поэзии митинговая любовь и телефонные поцелуи.

Может быть, поэтому, когда на встречах с избирателями я говорю о перестройке, об искусстве, о поэзии, а меня спрашивают, когда завезут колбасу и когда будет водопровод. Понимаю их, своих избирателей, задача перестройки — дать людям и кусок хлеба, и честное, искреннее слово правды. Здесь надо уметь совместить. И хлеб важен, и лира необходима. Без хлеба поэзия может, но хлеб без поэзии — увы...

В аэропорту Каспий — при прощании

Сейчас я закончил книгу под названием «Концерт». Жизнь — концерт, мир — концерт, история — концерт. Здесь и скрипки, и рояль, и рок-музыка, и орган... Я помню, что в последний предвоенный день, в субботу 21 июня 1941 года, по радио был большой концерт. Песни, музыка, мажор... А на границах уже высаживались немецкие десанты. И начинался концерт войны, пляска смерти. По всей Европе рыли могилы и пели последние песни. Кодовое название одного из наших наступлений было «Концерт». Название книги можно принять за шутку, если бы не было настоящих «живых» концертов в фашистских лагерях смерти, в колымских лагерях.

Современная жизнь порой мне кажется непрекращающимся концертом. Развеселым, трагическим, будничным, одурманивающим. Читал я как-то эту поэму в одной аудитории. И меня спросили: «Почему в ней нет концерта Пугачевой, рок-музыки?» Я не знал — то ли смеяться, то ли плакать?

Мне кажется иногда, что то ощущение нестабильности, эскапады перемен, та сменяемость эпох, личностей, которые творятся на наших глазах,—это тоже некий великий вселенский несмолкаемый концерт, действие с трагическими нотами. Труба, балалайка, орган... Одно возносится, другое — в пропасть.

Чем закончится этот великий концерт нашего бытия — знать бы.

Октябрь 1987 г.



Виталий КОРОТИЧ

БОЮСЬ БЕЗВЕРИЯ, ИЗМЕЛЬЧАНИЯ ДУШИ...

Это интервью, пожалуй, самое необычное в моей журналистской практике, и вот почему. Если все предыдущие материалы я делал по заданию журнала «Огонек», то этот, по вполне объективным причинам, там опубликован не был. Дело в том, что я беседую со своим начальником главным редактором «Огонька» Виталием Коротичем. Хотя щекотливость этой ситуации можно объяснить тем, что В. Коротич — известный поэт, прозаик, публицист. Не впадая в излишнюю комплиментарность, хочу

тем не менее заметить, что с его приходом летом 1986 года журнал преобразился до неузнаваемости. Большинство его публикаций вызывают жаркие споры и восторги, похвалу одних и... неприятие других. «Огонек» буквально рвут из рук, его трудно найти в газетных киосках, растут его тиражи и число подписчиков... И в довольно большой мере своей возросшей популярностью «Огонек» обязан своему главному редактору.

Итак, первый вопрос моему собеседнику:

— Виталий Алексеевич, как-то вы писали о том, что, подписывая ту или иную статью в печать, вы, бывает, не спите ночами. Что тревожит вас? Ведь вы лично и журнал «Огонек», которым вы руководите, вершите правое дело — перестройку.

— Тревожит то, что часто правда подменяется разного рода «соображениями», а, значит, она далеко не так всемогуща, как хочется. Мы давно уже усвоили, что понятие правды само по себе далеко не однообразно, и, споря, мы отстаиваем каждый собственную истину, свой взгляд на нее. Но при этом никогда не надо отождествлять себя и только себя с нашим социальным строем, с идеалами Октября. Не умею спорить с демагогами, которые лгут в глаза, подгоняют под ответ великие процессы и непростые споры. Чего я боюсь? Усталости, безверия, измельчания души, предательства... Я достаточно опытен как писатель и как редактор и не верю, что человек может быть счастлив, занимаясь не своим делом. В то же время понимаю, что моя открытость — отличная мишень для многих, кто видит «Огонек» прежде всего трибуной для сведения счетов. Боюсь устать...

— Я нередко слышу, что «Огонек» вот-вот кончится, исчерпается материал, которым журнал «кормит» читателя, и не на чем будет печь «жареное». А как вы на это смотрите?

— Журнал не кончится, покуда не будет разорвана связь с живой жизнью. Все «кончавшиеся» журналы «кончались» в результате потери своих читателей, а не административно. «Новый мир» Твардовского не кончится никогда. Дело ведь не в «жареном» — это не способ завоевывать стойкий авторитет. Дело в том, чтобы ощущать правду и нести ее людям. Покуда правда жжется, она производит впечатление раскаленной сковороды, месяца

в ладонях гоголевского черта. А затем то, что еще вчера жгло, становится привычным. Надо ощущать истинную остроту факта, владеть искусством отбора. «Жареные» факты? Да, в том же смысле, что и жареная картошка: не едите же вы сырую...

— Ваша жизнь за последнее время резко изменилась: из Киева вы переехали в Москву, с поста редактора украинского журнала «Всесвіт» стали редактором «Огонька». Новая обстановка, новые люди, новые задачи, новый темп жизни. Что вы испытываете сегодня — удовлетворение от новой работы, от того, что испытали себя в новом качестве? А может быть, разочарование, сомнение в чем-то?

— Я много лет в Правлении Союза писателей СССР, состою в разных комиссиях, в Советском комитете защиты мира, во многих международных организациях. Москву знаю не хуже многих москвичей — бывал здесь едва ли не ежемесячно в течение очень многих лет. В Москве у меня много верных и близких друзей, видите, сколько раз я употребил слово «много». Киев остается городом-родиной, но не хотите же вы, чтобы я принялся перечислять всех людей, многолетне связанных с Москвой и душевно ее любящих, чья жизнь и чье творчество корнями уходят в Киев. Не считите это нескромностью — просто историческая аналогия, — но Михаил Булгаков из того же города, что и я, даже закончил тот же медицинский факультет. Достаточно? Колебался и не соглашался я довольно долго и по причине совсем другой — жизнь в Киеве казалась мне вполне устроенной, не требующей перемен. И служба, и бытовая устроенность, и даже, простите, материальное обеспечение были выше того, что я имею в Москве. Говорю об этом только потому, что хочу подчеркнуть, насколько важен для меня сам **смысл** дела, которым я занят. И я счастлив, делая то, что хочу. Приобщение к величайшему событию в судьбе народа (простите за высокопарность) — это счастье, на которое далеко не у всех хватало жизни. Вовсе не тоскую, что так мало пишу — такого раньше не бывало, а в этом году я не написал почти ничего. Очевидно, творческий потенциал может реализоваться и в редакторской деятельности, хотя устаю так, будто пишу по толстому тому еженедель-

но. Но это счастливая, рабочая усталость; каждому из тех, кого люблю, пожелал бы такого счастья.

— Работая с вами, я замечаю ваше несколько скептическое отношение к современной поэзии. Вы считаете, что главное сегодня — публицистика, острое сиюминутное слово?

— Это не скепсис. Попросту мне кажется, что литература по активности своей уступает сегодня тому, что творят средства массовой информации. Она сильнее образительно, долговечнее, бессмертнее, что ли, но ведь еще только наращивает свои усилия, к тому же и раздерганные междоусобицами. Возьмите самые популярные произведения прозы последнего времени — как сильны они своей публицистичностью, а иногда и просто публицистическими отступлениями! К числу таких отношу и астафьевский «Печальный детектив», и распутинский «Пожар». И слабость романа Василия Белова «Все впереди» именно в том, что напряжение мысли, острота ее, современность и точность недостаточны. Думаю, что для вечности изначально писать невозможно; полагаться же на суд всемогущих потомков — наивно. Мы творим процесс, где именно сегодняшние результаты необыкновенно важны. Не примитивизируя литературы, поэзии в частности, я тоскую, расстраиваюсь, читая многие стихи из редакционной почты. Очень уж они несоизмеримы со временем. Может быть, и созвучны даже, но по глубине причастности — все равно несоизмеримы.

— Именно поэтому вы, известный украинский поэт, почти перестали писать стихи?

— Недавно я написал четыре стихотворения. В журнальной текучке трудно находить состояние, необходимое для стихов. Завершил киносценарий. Пишу прозу, очень медленно, но пишу.

— В последние годы вы больше занимались публицистикой. Но ведь она, по мнению многих, быстро умирает...

— Я люблю ее. Мне кажется, что для вечности работают одни только графоманы: изначально для вечности, не веря в суды современников. А мне надо, чтобы жизнь просветлялась сегодня, сейчас, и я стараюсь отдавать все силы для этого. Будут ли меня читать потомки? Это их дело. Вкусы потомков столь странны и

определяются тем обществом, тем миром, той духовной средой, которые мы им завоюем. Когда Маяковский писал «пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм», он был, думаю, очень искренен. Надо жить, писать сегодня и для сегодня, а будущее — оно разберется...

— Вы дружили с Миколой Бажаном, Назымом Хикметом. Расскажите о них.

— Есть несколько великих стариков, которым я особенно благодарен. Думаю, что многие беды литературы нашей вообще от того, что стариков так мало: мы платим за тридцать седьмой год, за войну — старшие поколения выполоты, прорежены, их нет в необходимом объеме, мы страдаем от литературного сиротства, от того, что у нас непропорционально мало 75—80-летних людей, авторитетно и давно работающих в литературе, определяющих ее непреходящность, преемственность. Что говорить...

Мне повезло, потому что у моей литературной колыбели в конце пятидесятых годов стояли мудрые и порядочные люди. Назым Хикмет и Максим Рыльский. Они первыми поверили в меня, первыми заговорили со мной о литературном деле как деле жизни. Я ведь врач по образованию и довольно долго совмещал литературную деятельность с медицинской. В 1965 году впервые стал редактировать молодежный журнал «Ранок» в Киеве и был избран секретарем правления Союза писателей. Тогда же и прекратил занятия медициной навсегда.

Недавно я пришел в московскую квартиру Хикмета, где прежде никогда не был. Мне много рассказывали о том, что он говорил обо мне, как читал мои стихи... Почти невыносимая ситуация по нынешним временам: найти писания молодого поэта в океане повседневных публикаций и добровольно взять над ним шефство, написать о нем в «Литературной газете» две статьи — без писем и просьб с моей стороны, без знакомства — мы никогда не виделись... Подобные же уроки порядочности и ответственности давал мне Максим Рыльский в Киеве, а позже Микола Бажан — сложнейшее явление в европейской культуре, поэт высочайшего ранга, мыслитель, каких мало. Он непросто для поверхностного восприятия, очень самобытен (с кем его сравнить — с Рильке, Пастер-

наком, Тихоновым — такими разными?). Когда ушли мои старики, очень много мы потеряли, многим стало некого стыдиться. Думаю, будь сегодня жив Твардовский, многим творцам околелитературных дрызг было бы куда сложнее. Но ведь они, эти люди, сознательно губили его, как препятствие на их пути, и погубили. Так или иначе, в нашей повседневности отчетливы следы прежних десятилетий, шрамы, казалось бы, ушедших времен — и тридцатых, и сороковых, и совсем недавних...

— В вашей жизни было много интересных встреч. О ком бы хотелось написать воспоминания?

— Не поверите, но мне действительно очень хочется этого. Сожалею, что не вел по-настоящему дневников, не фиксировал многих интереснейших бесед, но вспомнить есть что. Мои пятьдесят с небольшим лет жизни набиты событиями столь туго, что надо понемногу вытаскивать самое памятное на свет. Но когда?..

— Я замечал на вечерах «Огонька», что вы легко, профессионально владеете аудиторией, аргументированно и быстро парируете вопросы, умеете убеждать. А в книге о вас, недавно вышедшей на Украине, прочитал, что еще в свое время вас принимали в Канаде, например, не просто как киевского врача, украинского поэта, но как «специально вышколенного в Москве дипломата». Вы врач по диплому, вы чемпион Украины по боксу, когда же вы успели окончить дипломатическую академию?

— Это от медицины. Она учит общению, подпускает к человеку так близко, как никакая иная профессия, учит узнавать фальшь, вранье. Затем — у меня велик опыт публичных выступлений и дискуссий. С 1956 года, с зари нашего телевидения, я вел передачи в Киеве. К прошлому году и на радио, и на телевидении эти месячные передачи были достаточно популярны и горячо обсуждались, о них писала и киевская и московская пресса. Кроме того, я много ездил по стране, изъездил Грузию и Прибалтику, Север и Таджикистан, выезжал за рубеж еще в шестидесятых годах, по полгода пробыв в Канаде и США как стипендиат ЮНЕСКО, выступая в самых разных аудиториях, учась спорить на чужом языке, понимать иноязычную аудиторию. Преподавал в американских университетах, множество раз выступал по телевидению за рубежом, отвечал в студии на вопросы по телефону (популяр-

ная в США форма передач). Так что опыт велик; хочется думать, что есть и некий запас знания. Что до дипломатии, то в 60-х годах мне предлагали перейти на постоянную дипломатическую работу, но я отказался.

— Вы успеваете читать периодику или только портфель «Огонька»?

— Выписываю больше десяти газет, с десятков журналов. Стараюсь читать на нескольких языках как можно больше: в свое время учился быстрому чтению специально. Но такое скорочтение имеет смысл лишь для листания периодики, куда глаз и мозг не уткнулся в нечто настоящее, в «Плаху» или в «Печальный детектив», к примеру. А это так редко случается... Очень много читаю для «Огонька», в том числе уподобляясь петуху из басни Крылова, подсознательно или сознательно ищущему жемчужные зерна.

— О вас ходят разные слухи, и в частности о том, что вы вскоре уйдете из журнала, новое становление которого связано с вашим приходом. Что вы можете сказать по этому поводу?

— «Общественный отдел кадров» во времена перестройки неумоим — он все время кого-то назначает и увольняет. Не раз «передвигали по должности» и меня. Думаю, что новый, нынешний «Огонек» у одних вызывает желание «повысить» редактора, чтобы огоньковские принципы распространялись на другие сферы жизни, а у других — прогнать его прочь или понизить так, чтобы и не нашли. Отсюда слухи. Их обилие, особенно в период подписной кампании, я воспринял едва ли не как желание отворотить потенциальных подписчиков: мол, уходит редактор и все будет по-старому, как было когда-то. Как было — не будет, даже если убрать меня; никто не уберет из человеческого сознания того, уже совершенного демократизацией и перестройкой за последние годы. В этом, а не в личностях (вернее — не только в личностях) залог прогресса.

— Как вы расцениваете позиции некоторых уважаемых наших писателей, Василия Белова например или Распутина, которые, не желая печататься в новом «Огоньке» (хотя «Огонек» отметил 50-летие Распутина, поместив на обложку его портрет и опубликовав статью о нем Владимира Солоухина), ставят своим условием

публикацию в журнале определенного рода материалов. Например, Василий Белов настаивает на публикации каких-то документов, в которых якобы скрыта некая тайна... убийства Сергея Есенина в гостинице «Англетер». Кому-то это может показаться бредом, вымыслом, а кто-то ведь верит в заговор с целью устранения великого русского поэта. Как вы на это реагируете, как воспринимаете все это?

— Считаю, что «Огонек» ныне вполне определен и достаточно популярен. Если кому-то удобнее жить без него — на здоровье. Мы послали письма многим писателям, в том числе уважаемым мною В. Белову и В. Распутину, кстати, широко печатавшимся в журнале прежде. Если они или кто угодно условием своего печатания в «Огоньке» будут выдвигать некие требования, то разговор станет невыносимым, поскольку шантаж на любом уровне, в том числе литературном, непристойен. Что же до истории с убийством Есенина, то прошу всех, кто может документально изложить ее, связаться с «Огоньком». По моему мнению, байка эта — из черносотенного сундука. Но — если материал будет доказателен — напечатаем немедленно, и этим я извинюсь за нынешнее свое отношение к нему.

— Как вы считаете, были в «Огоньке» за последнее время какие-то ошибочные публикации или такие, которых, быть может, печатать не стоило? Ведь журнал находится под пристальным вниманием самых широких читательских кругов.

— Не было публикаций лживых, это главное. Были «недотянутые», где сам факт преобладал над попыткой его осмысления. Мы набираемся сил, растем, формируем авторский и редакционный коллективы, до идеала нам еще далеко. Но — читатели не могли этого не заметить — публикуем самые разные точки зрения на одну и ту же тему, ищем мыслящих собеседников. Любая ошибка, если она признана и исправлена, не страшна. Кроме тех, разумеется, что преследуются Уголовным кодексом.

— Вы депутат Верховного Совета Украинской ССР. Как вы успеваете, живя в Москве, исполнять свои депутатские обязанности?

— Раз в месяц выезжаю в Киев принимать избирателей. Часто переписываюсь с ними. Впрочем, несколько

месяцев не выезжал из-за отпуска и последовавших командировок. Но в любом случае я в более тесном контакте с избирателями, чем многие символические депутаты, коим звание положено по должности, и они даже не ведают толком, где избирательный участок, доверивший им парламентское представительство.

— Я заметил, что в газете «Московский комсомолец» появился новый автор под фамилией Коротич. Это ваш сын? Он идет по стопам отца?

— Сын, Виталий-младший, заканчивает школу, хочет в журналисты. Он трудно, ревниво, закрывая локтем написанное, пробует силы. Газета помогает парню, дает ему задания. Моей помощи сын не хочет, считает, что я его пытаюсь «подавить». Бог, как говорится, ему в помощь. Сам был таким же строптивым. Да и до сих пор этого качества не поубавилось.

— Когда-то вы были одним из тех, кто написал о Бабьем Яре. Тема эта, ставшая символом отношения к фашизму, еще не исчерпана?

— В Киеве, где я был во время войны ребенком, военная боль каждодневна. И думается, что не только в Киеве. Мне до сих пор снятся киноархивы, в которых я работал. Мечтаю сделать документальный фильм с названием «Если бы Гитлер победил», показать всю бездну, которую разверз перед народами фашизм. Эх, времени бы побольше...

— Часто на встречах «Огонька» с читателями вас спрашивают, есть ли пределы демократии, гласности? Что вы обычно отвечаете?

— Пределы правды, если они устанавливаются искусственно,— преступны, унижительны для самой правды. Демократия тоже должна быть беспредельной. Важно лишь, чтобы рядом с тягой к правде и демократии шла ответственность. Ты должен отвечать за все, что творишь, за каждое произнесенное и написанное слово. Вот и барьер, вот и предел: гражданская ответственность, чувство долга. Тогда правдолюб и болтун, принципиальный человек и демагог будут разделены и противопоставлены в любой миг народного бытия.

Процесс демократизации—это и процесс борьбы за достоинство. Тем более надо привыкать, что только нами же осмысленные дела и поступки, а не доносы, сочинен-

ные здесь и там, не скороспешные характеристики, выданные с ходу, должны определять оценки и самооценки наши. Очень хочется, чтобы то вот самое, неоднократно цитированное выражение из первого советского букваря: «Мы не рабы! Рабы не мы!» — становилось жизнью.

Еще один важный вывод, прорастающий для меня сквозь накопленный опыт — о бдительности. Силы, мечтающие повернуть время вспять, неутомимы, терять им нечего. Если уж мы творим революцию, то слова о том, что революции нужно уметь защищаться, не должны умереть. Ощущая на себе весь опыт, все средоточие прожитых народом десятилетий, мы движемся вперед. И ни один из уроков непростого нашего прошлого не должен забыться во имя тех, кто выстрадал эти уроки, во имя будущего нашего.

Ноябрь 1987 г.



Сергей ОБРАЗЦОВ

НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА

Об интервью с С. В. Образцовым, честно говоря, я не думал. Но журналистская работа подлежит, как правило, неожиданным вторжениям быстротекущего бытия. Сергей Владимирович Образцов сам пришел в редакцию. Заговорили, разговорились, присели, проговорили несколько часов. Я к беседе не готовился, Образцов тоже, ибо вся его удивительно богатая, интересная жизнь — материал для прекрасной книги. Слово за слово, мысль за мыслью — мне показалось, что я беседую с интереснейшим человеком.

— Мне 86 лет. Вместе со страной я пережил и счастливые, и нелегкие, подчас трагические годы нашей истории. Близко к сердцу принимаю не только то, что происходит сегодня, но и то, что происходило вчера. Читаю роман Рыбакова «Дети Арбата», и мне кажется, что это все и про меня. Ведь многое творилось со мной рядом...

Интересно, что и мой брак — своего рода продукт эпохи. Несколько лет мы жили с женой не расписываясь. Время было тревожное, и как-то подумали: вдруг нам тоже не повезет и однажды ночью раздастся неожиданный стук в двери. Кто будет тогда носить передачи? И мы побежали в загс.

Вы знаете, о чем я думаю: вероятно, живут где-то те самые ребята, которые тогда смотрели наши спектакли. Я был бы счастлив, если бы сейчас кто-то из них, прочитав эту нашу беседу, написал бы мне хоть пару слов. Как напоминание о молодости, об интересной работе, о суровой тогдашней эпохе.

— Кто из людей искусства советской эпохи вам особенно интересен?

— Мейерхольд, Таиров, но особенно Михоэлс. Его судьба — это судьба умнейшего человека, понимавшего, что происходило вокруг. К сожалению, я не могу похвастаться тем, что дружил с Михоэлсом. Трагедия его жизни — это трагедия человека страстного темперамента, подвижника и в жизни, и в искусстве.

Интересный был человек Соломон Михайлович, талантливый, очень умный. И очень советский.

— Какой смысл вы вкладываете в это понятие?

— Вы знаете, мой отец, беспартийный, член ВЦИКа двух созывов, был тоже очень советским человеком. Его именем названы институт в Ленинграде, техникум, улица в Москве. Как только произошла Октябрьская революция, он понял, что создается новая страна, понял радость строительства невиданного дотоле государства. И в новой России стал крупнейшим ученым, специалистом по железным дорогам.

Не все интеллигенты сразу приняли революцию, наоборот, многие долго сомневались. Вчерашние товарищи, коллеги от него отказались и не подавали руки. А отец с еще большей энергией отдавал свои силы, талант новой жизни.

Вот так я и понимаю слово «советский» — бескомпромиссное участие в общем деле переустройства жизни. И сегодня это понятие не менее актуально. Участвовать в перестройке — значит быть советским человеком.

— Не могли бы вы конкретизировать ваши слова? Ну, например, известно, что на старом Арбате в Москве молодые художники за деньги рисуют прохожих. По-советски это или нет?

— Когда я вижу такое в Париже или Нью-Йорке — людей, рисующих за деньги прямо на улицах, я огорчаюсь. Жалею, что общество поставило людей в такое положение. Лежит кепка, рядом стоит человек и играет на скрипке. Для меня это все равно что нищий, и я его жалею. И когда я вижу такое же на нашем Арбате, то я не понимаю, в чем дело. Что же такое, значит, этот молодой человек вынужден зарабатывать на жизнь таким способом? А может, он получает больше, чем наша театральная машинистка, имеющая оклад 100 рублей, или научный сотрудник в нашем театре, получающий 110—120 рублей?

— Но что же здесь плохого — ведь инициатива нынче приветствуется? К тому же у таких художников имеются патенты, значит, они платят государству налог.

— Но эта «экзотика» мне не нравится в Москве.

— Потому что вы старый москвич?

— Дело не в том, что я старый москвич, я советский человек. Государство должно быть так организовано, чтобы подобных явлений не было. Я вообще не переношу всяческого унижения человеческого достоинства. В Испании есть плакаты, посвященные корриде, на них оставлено пустое место, чистая строка. Для чего? Для того, чтобы потом вписать свою фамилию и всем показывать: вот какой я, Образцов, герой — быка убивал. Я там на эти корриды не мог ходить. Считаю, что если человек получает наслаждение от присутствия при чужой опасности, то этот человек дрянь. В Индии я видел, как юноша за деньги прыгал с высокой стены вниз головой в небольшую яму с грязной водой. Промахнешься — смерть. Стоят люди и за один доллар наблюдают: разобьется или не разобьется? Что за радость?

Честно говоря, я не люблю цирк и не хожу туда. Что

за радость думать, кто кого победит, укротитель тигра или тигр укротителя, бросится тигр на человека или не бросится? Это же атавистический характер наслаждения. Не могу смотреть на дрессированных животных. Не люблю бокс, не принимаю его.

Наш бокс еще как-то могу смотреть, а в Японии, например, количество раундов не оговорено, дерутся до нокаута, еле-еле ходят по рингу. Люди кричат, подзадоривают, радуются... Я не понимаю таких вещей.

О Москве... Восемьсот сорок лет создавалась Москва, строилась. Потом ее начали разрушать и многого добились. Но представьте, что мы ее сохранили и жили бы в старых, зачастую без удобств домах. Разве мы смогли бы жить в таких условиях? Думаю, что нет. Конечно, когда идет развитие человечества, цивилизации, неизбежно что-то старое должно разрушаться. Тут невозможно иначе. Вы же не можете продолжать жить в избе по-черному. Я знаю, что это такое, — жить и спать в такой избе, где дым стоит под потолком, как будто натянутая материя. Это было в экспедиции, которую вел мой отец, а я пребывал в ней в качестве рабочего. Там, где сейчас вышки стоят, нефть течет, там ничего не было. Просто нефть сама текла из земли, все было залито нефтью, чуть ли не озера нефтяные были. Только уши заячьи торчали, потому что зайцы завязли лапами. Тайга удивительна, и там были тогда удивительные избушки на курьих ножках, без окон и без дверей. Бор сосновый называется яг, мох называется ягель, думаю, что Баба Яга там как раз и жила. Так вот, я в такой избушке спал.

И в баньках по-черному мылся. Интересно, экзотично. Но сейчас я бы не хотел так жить.

Так вот, в движении вперед неизбежно что-то пропадает. Если сейчас вместо больших домов поставить трехэтажные, то Москва в поперечнике будет не 60 километров, как сейчас, а 200. Недавно я впервые оказался в Бирюлеве. Подмосковье я знаю хорошо. Ведь я вырос в теперешнем городе Видное, а когда-то это была просто маленькая станция Расторгуево.

Я не только русский, я еще и москвич. Поэтому мне было бы неуютно даже в Ленинграде, куда я с удовольствием езжу, люблюсь им, люблю его по-своему. Но

жить я хочу в Москве и Подмосковье. Я привязан именно к Подмосковью.

В Бирюлеве великолепные здания. И ничего, что многое одинаково. Торжественный вид одинаковых зданий — это тоже искусство, и оно в чем-то тоже замечательное, лично я не считаю, что коробки — сплошное безобразие. Суммы этих коробок дают ритмы. Но в то же время я очень люблю старые здания.

— Значит, по-вашему, неизбежен процесс разрушения старинных построек, памятников зодчества?

— Это не неизбежно. Кстати, я против того, что в Кремле выстроен Дворец съездов. Какой-то аквариум среди церквей. Зачем надо было разрушать соборы?! Церковь Покрова, что на Покровке стояла, разрушена. Я знаю о многом утраченном, потому что мой сын архитектор. Конечно, возведение только монтажных зданий — неверная позиция. Я был во многих странах, очень интересные здания в Японии, современные, большие, но очень своеобразные. Так что мне одновременно и жалко многое из того, что снесли, но приветствую я и современные поиски архитекторов.

Когда-то в Москве была очень красивая площадь, называлась она Скобелевской. Там стояла фигура генерала Скобелева. Потом вместо Скобелева поставили обелиск Свободы, а потом памятник основателю Москвы. Так вот, та Скобелевская площадь была красивой. Точно такая же площадь была в Твери, не знаю, сохранилась она или нет. Маленькая красивая площадь.

Сколько красивых площадей в Ленинграде! А в Москве почти нет. Площадь Маяковского? Какая же это площадь! Разве она как-нибудь спроектирована?

— Сергей Владимирович, знаете ли вы родословную своего дома?

— Я живу на улице Немировича-Данченко, в доме, построенном в начале XX века. О моем доме нельзя ничего не знать, он весь облеплен досками: «Здесь жил и работал...»

— Вы многих знали из тех, кто жил и работал...

— Не только знал, но и дружил с ними — Москвиным, Грибуниным, Тархановым... Тарханов был замечательный эстражник.

— С Качаловым вы были близки?

— Да. Он был человеком обаятельным, умевшим расположить и целый зал, и каждого человека. На сборных концертах никогда не торопился выйти на сцену. Русланова нервничает, орет, а он курит папиросу и ждет. Любил рассказывать разные истории. Во время одного такого ожидания рассказал мне забавный случай: «Отдыхал я в санатории «Сосны», под Москвой. Пошел как-то погулять. Зима. Ели стоят, снегом припорошенные. Мужичонка с хворостом едет. А дорожка узкая. Я постороился, чтобы он проехал, и оступися нечаянно. Махнул палочкой, лошадь испугалась и в сторону. А мужичонка кричит: «Но, но! Какого еще дерьма испугалась?!» И поехал. Вот такая была встреча народного артиста с народом».

В театр меня принимал Владимир Иванович Немирович-Данченко, так сказать, мой крестный отец. Тоже здесь жил, в нашем доме. Миша Немирович, его сын, мой товарищ по театру, к сожалению, умер. В квартире живет внук Немировича. Так что все ушедшие для меня — живые люди.

— Каково ваше мнение о современной советской драматургии?

— Честно говоря, я мало ее знаю. Могу только сказать, что мимо нас прошла целая эпоха европейской драматургии практически уже нового времени.

В одной из передач по телевидению я сказал о том, что идеи мы превратили в лозунги, а лозунги заштамповали, и они перестали работать. Потому что есть замечательная (я-то «закон божий» сдавал в свое время) заповедь: «Не помяни имени господа бога твоего всуе». Вы улыбаетесь, понимаю — такие сравнения. Но, повторяю, мы во многом затрепали наши идеи, а без идей молодежь не может, она обязана быть чем-то увлеченной.

Вы знаете, мне кажется, что мы живем немножечко в декадентское время, и меня это очень огорчает. Да, да, мы переживаем отчасти ту эпоху, которую я когда-то уже пережил: десятые годы двадцатого века.

— Вы имеете в виду декадентство в искусстве или в жизни вообще? А в чем оно выражается по-вашему?

— Людей волнует, под каким знаком зодиака они родились. В 1918 году это никого не волновало. Заниматься таким темным делом и верить в него — значит

самообращением заниматься. Всякая астрология, магия, парапсихология для меня бред собачий, декадентство.

— Но ведь людей всегда тянуло к мистике.

— Тянет тогда, когда нет настоящих идей. Нет, нет, не спорьте, увлечение мистикой — это плохой признак, плохой сигнал. Перестройка — не для пропаганды мистики, идеалистических восприятий...

Я беспартийный, но абсолютно уверен, что коммунизм наступит. Я проехал почти полсотни стран и знаю, что так, как живут во многих из них, жить нельзя. Не может же сегодня человек родиться, чтобы думать только о том, как бы не умереть завтра. Я видел спящих бездомных и умирающих на тротуарах одиноких людей.

Нет, так люди жить не могут. Человек — это действительно звучит гордо. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие тридцать седьмые. Надо понимать, что люди не стулья. И два человека не больше, чем один. Это два стула больше, чем один. Каждый человек единствен, уникален, неповторим. И беречь надо каждого.

Для того чтобы любить человечество, надо еще научиться любить человека.

— А как насчет конфликта поколений в вашей семье? Большая она у вас?

— Сын, дочь, внуки, вот правнучка в школу пошла. Живем мирно, дружно.

— Без споров, без трений?

— Спорим иногда. Но спорим по чисто «вкусовым» вопросам, когда кому-то что-то больше нравится, кому-то меньше. У нас нет принципиальных разногласий по основным жизненным позициям. Никто из моих внуков не был стилигой, хотя джинсы, конечно, носят, да и сам я ношу джинсы. Дети и внуки мои — современные люди, но они не в конфликте со мной, со стариком.

— Может быть, потому, что у вас характер хороший, мягкий, добрый?

— Нет, я думаю, потому, что у меня с моим отцом не было конфликтов.

— Так, может быть, это ваша наследственная черта — бесконфликтность характера, натуры?

— Я думаю, что характер не наследуется. Наследуется темперамент. Темперамент может создать бандита или героя, это зависит от обстоятельств жизни человека.

Воровство может наследоваться плохим воспитанием, но чтобы оно было в крови — такого не бывает.

— Скажите, а как воспитывались дети в вашей семье?

— Вы удивитесь, но мои дети больше воспитаны моим отцом и моей матерью, чем мной, потому что их мать умерла при родах. И они уже воспитывались не родной матерью. Воспитание взяла на себя их бабушка, она стала им матерью. Дед, конечно, подавал пример, он был замечательным человеком. Семья моего отца и моей матери эталонна, потому что, например, не было во всей их совместной жизни даже пяти минут, чтобы они поссорились. Такого я не знаю, не помню. Такого и быть не могло.

— Что вы принимаете и что не принимаете из того, что нынче происходит?

— Меня раздражает расслоение в обществе. Расслоение по цвету машин, например. Верю, что в результате свершаемого переустройства многое изменится к лучшему.

— У одного есть «Жигули», у другого — «Волга» — разве это расслоение?

— Вы имеете право иметь любую машину. Но как понять особые больницы, особые пайки, особые закрытые магазины? Я могу еще сказать, что мне нравится и что не нравится. О том, что касается моей работы. Например, выборы художественных советов, по моему разумению, — ужасная новация. Театр — это вроде конструкторского бюро. Режиссер — это тот же Туполев, тот же Антонов, которые подбирают себе конструкторов, необходимых им по деловым качествам, по знанию, по таланту. Так вот мне, как главному режиссеру и директору театра, нужен художественный совет, который не защищает актеров от меня (для этого есть местком), а который помогает мне создавать театр. Это конструкторское бюро, мы конструируем сердца человеческие. И детские в том числе, что архиважно. Значит, мне нужен совершенно определенный театровед, совершенно определенный художник и так далее. Художественный совет должен создаваться руководителем театра, так он подбирает себе помощников.

У нас в театре три раза выбирали художественный совет, а он все равно несовершенен. Актеров у нас 55

человек, а музыкантов двадцать. Так вот, от музыкантов выбрали четыре человека и от актеров четыре тоже. Вот и выходит, выбрали односторонний художественный совет.

Дальше. Обязательное переизбрание актеров. Каждый в течение десяти лет переизбирается. Не понимаю зачем. Во-первых, из одного изюма сделать кулич нельзя, нужно тесто. Пусть данный актер даже постарел, пусть он не может играть каких-то там ролей, но он ведь несет идею театра, он его создавал, я без него не могу обойтись, он держит этику театра. А что же я, из одних гениев сделаю театр? Ничего не выйдет. Второе. Нельзя, чтобы актеры все время жили под страхом, что их вот-вот переизберут. Мне кажется, что главный режиссер отвечает за труппу, за актеров, за состав. Он должен его создавать, но он может и утверждать данного актера, и предложить художественному совету освободиться от иного актера.

Хорошего много сегодня: мы сами решаем вопросы репертуара, сами заказываем пьесы, сами имеем дело с авторами, над нами не висит репертком. Это просто здорово.

— А заметны ли, по-вашему, изменения в иных сферах жизни, в быту?

— Я пока не заметил больших социальных изменений, потому что по-прежнему в магазинах очереди за продуктами, особенно за хорошими продуктами. Очереди, как и раньше...

Очень серьезный сейчас вопрос — детский. Наш театр — один из учредителей Детского фонда имени Ленина. Некоторые вещи мне непонятны. Например, в детском доме живут дети, у которых есть родители. Почему же они не платят алименты? Мне непонятно. Почему мать, которая отказалась от ребенка уже в родильном доме, спокойно выходит из него и не платит алиментов? Если бы ей сказали: «Пожалуйста, оставьте ребенка, только платите 25 процентов вашей зарплаты», — она бы тогда подумала. Мне кажется, что тут что-то не продумано.

Моя трудовая деятельность началась с того, что я был воспитателем сиротского детского дома, еще оставшегося от царского времени. Это было в двадцатых годах. Кстати, дети тогда снабжались лучше, чем взрослые. У взрослых не было сахара, а у детей он был.

— Как вы считаете, изменились ли с той давней поры принципы педагогики?

— Мне трудно ответить определенно. Я уверен в другом, в том, например, что хороший преподаватель математики в школе должен одновременно быть и воспитателем.

Но самое серьезное в том, что воспитывает не школа и не семья, хотя, конечно, семья и школа во многом влияют на детей, а воспитывает ребенка, на мой взгляд, старший товарищ по двору. Он действительно воспитывает, дает пример. Если он курит, то закурит и его младший товарищ. Если он стреляет из рогатки по кошкам, то и других научит этому озорству.

В свое время я был на приеме тогдашнего первого секретаря МГК партии Гришина, предложил в строящихся кварталах отводить помещения для клубов по интересам. Это бы вытасило ребят из подъездов. Ведь детишки очень «клюют» на интерес.

— И Гришин с вами не согласился?

— Он, к сожалению, меня не понял. Он мне не понравился. Он как-то полусогласился, но вяло, неохотно, не загорелся моей идеей. Так ничего и не было осуществлено. Хочу с этим предложением пойти в комсомол, ибо считаю свое предложение архиважным. Кстати, в плохом воспитании детей во многом виноват и комсомол, ибо он не сумел возглавить по-настоящему пионеров, не увлек их романтикой. Я всю жизнь, с детства, голубятник. К сожалению, совсем недавно мне пришлось расстаться со ста двадцатью голубями, потому что у меня началась от них аллергия. Вы знаете, какое счастье, когда шестьдесят голубей сидят на яйцах, а шестьдесят в небе! Все мое детство было занято голубями и аквариумами. Из-за этого увлечения мой брат стал биологом. Я не стал биологом, но, думаю, мои увлечения повлияли на мою профессию. До сих пор, когда я иду на Птичий рынок, меня там встречают не как народного артиста, а как голубятника, как аквариумиста. Сорок пород рыб я привез из-за границы в Москву, первым привез неоновых, хеннен-гуппи. Я обожаю Птичий рынок, это удивительное учреждение.

Я думаю, что из кружка конструкторов вырастают инженеры, изобретатели, из кружка филателистов —

историки, из кружка аквариумистов — биологи. Ребятам нужно всегда что-то увлекательное. То, что потом может стать их профессией. Так вот, я за то, чтобы на каждой улице были клубы по интересам.

— Сергей Владимирович, а сколько детей побывало на всех ваших спектаклях?

— На всех не знаю, но вот, например, «По щучьему велению» сыграли несколько тысяч раз. «Необыкновенный концерт» больше шести тысяч раз, ни один спектакль в мире так долго не держится.

— Вы наблюдали детей в самых разных странах. В чем их отличие от ребят нашей страны?

— Это мне трудно сказать. В Японии они очень раскованные. А у нас, с одной стороны, много хулиганов, а с другой стороны, многие наши дети как бы зажаты.

— Что нужно, чтобы прожить долго и интересно?

— Что посоветовать? Я был знаком с актером Театра сатиры Тусузовым, прожившим 92 года и до последнего дня игравшим на сцене. Когда его спрашивали, что помогло ему так хорошо сохраниться, он отвечал так: никогда не делал гимнастику, никогда не женился и никогда не обедал дома. Смешно? Лично у меня все было иначе. Гимнастику я, правда, тоже не делаю, женат я два раза, первая моя жена умерла после того, как родила мне дочку, а со второй женой я живу долго. Как-то в Швейцарии зашли с женой в кафе самообслуживания, набрали на маленькие подносики еду, пододвинулись к молоденькой кассирше. Заговорили по-немецки. Она спросила: «Вместе?» Я ответил: «Уже 52 года вместе». Она: «Ужасно».

Но в последнее время я все-таки сдал. Мне сейчас 86 лет, стало трудно ходить, развился ревматизм пальцев. Врачи не пустили меня в Китай и в Японию. Жаль. Там меня ждали, я написал книгу о китайском театральном искусстве, изложил законы китайского музыкального театра. Когда я был в Китае, а был я там целых два месяца, каждый вечер садился с китайцем — знатоком своего дела, — и он мне подробно обо всем рассказывал...

Каждый раз вхожу в театр и думаю: «Как такое могло случиться, что у нас замечательнейшее здание? В нем все красиво: и залы, и мебель, и аквариум, и канарейки,

вплоть до того, что в зимнем саду цветут и дают плоды кофейные деревья».

— Каким вы видите будущий театр?

— Чаще всего театр умирает вместе с создателями. Не знаю. Что будет с нашим театром после меня, я не знаю и, по правде говоря, даже не должен об этом думать. Если я буду об этом думать, мне труднее будет работать. Я должен думать только о том, что живу.

Ноябрь 1987 г.



Элем КЛИМОВ

А ПАМЯТНИКА НЕ НАДО...

Однажды, это было лет семь тому назад, Элем Климов, будучи за рулем, нарушил правила. Сотрудник ГАИ остановил машину, проверил документы, а потом спросил: «Где вы работаете?» — «На «Мосфильме», — ответил задержанный. «Кем?» — «Режиссером». — «Такого режиссера на «Мосфильме» нет». И автоинспектор перечислил фамилии многих известных именитых режиссеров, назвал фильмы, которые были тогда «на кону», то есть оказался настоящим знатоком официально признан-

ного кинематографа. Свою тираду он закончил фразой: «Так что не надо обманывать, товарищ водитель. Нехорошо».

Элем Климов стал широко популярен в последние годы, и не все знают о его нелегкой и необычной творческой биографии.

— А широко известными стали в последнее время и другие режиссеры: Кира Муратова, Алексей Герман, Александр Сокуров. Вот на экраны выходит фильм «Комиссар» Александра Аскольдова. А ведь эти люди жили и работали не на другой планете, а здесь, рядом с нами, в нашей стране.

Да, странные для нашего искусства переживали мы времена. Печатали про один лагерный день Ивана Денисовича, антисталинскую «Тишину», а Пастернака исключили из Союза писателей, предлагали покинуть Родину. Показывали «Чистое небо», закрывали «Андрея Рублева». А погромы так называемых «абстракционистов»?

— В это же время родились «Современник» и «Таганка», появилась и проявилась целая когорта молодых поэтов, прозаиков, кинематографистов.

— Я как раз принадлежу к довольно малочисленному поколению режиссеров кино, которое заявило о себе тогда, в начале шестидесятых: Тарковский, Шукшин, Шепитько, Иоселиани, братья Шенгелая, Параджанов, Кончаловский, то есть те, кто успел сделать свои первые и вторые фильмы, успел, как мы говорим, пролезть в узкую историческую «щель» во времена такого кратковременного и странно противоречивого нашего «ренессанса».

Одна из моих первых картин называлась «Похождение зубного врача», фильм о судьбе таланта, извечно сложной судьбе. «Разве может быть в нашей стране сложная судьба у талантливого человека? — заявляли нам. — Это опорочивание, оскорбление нашего общества, нашего строя». Тогда же я познакомился с еще одним выражением — «киноконтра». Так уже окончательно, не успев еще твердо встать на ноги, я попал в «черный список», где пребывал отнюдь не в гордом одиночестве. Моих соседей по этому списку теперь знает весь мир, они — гордость нашего искусства.

В это же время стала заполняться пресловутая «полка», то есть появились запрещенные и полузапрещенные фильмы. Одним из них и стал этот фильм о враче, недавно, кстати, показанный по Центральному телевидению. А сколько погубило замыслов! Сколько сценариев не дали снять, сколько судеб исказилось и сломалось вовсе! У многих тогда появилось ощущение, что в кинематографе ничего серьезного, проблемного, оригинального сделать уже нельзя. И это было страшно, потому что ты как бы лишался будущего или должен был приспособиться, изменить своим принципам, устремлениям. Некоторые так и поступали, предали себя.

— Я помню, кстати, расхоже-популярные тогда выражения: «зарезали» картину, «ленту обкорнали».

— Да, приказывало «резать», перемонтировать, сокращать, переозвучивать наше начальство, а резали мы, режиссеры. Или не резали, не шли на уступки. С соответствующими, естественно, последствиями. Паузы между фильмами достигали порой пяти-шести лет.

— А у Александра Аскольдова она продолжается уже двадцать лет!

— Были, конечно, и другие кинематографисты, жизнь у них складывалась совсем по-иному, скажем, благополучно, а у некоторых и весьма. Конечно, вопреки всему и фильмы хорошие, честные появлялись, не хочу мазать все одной черной краской. Но кто вернет многим талантливым людям лучшие годы их жизни, проведенные в бессмысленной, отупляющей борьбе? Каким мог бы стать наш кинематограф, все наше общество, не случись этого самого «застоя»? И где теперь ревнителю идейных догм, приведшие страну на грань катастрофы? Одни покоятся в самом сердце России, у Кремлевской стены, а города, районы, улицы, пароходы продолжают носить их имена, другие доживают свой век в полном и завидном благополучии и с искренним интересом следят за драматическим ходом перестройки. Третьи продолжают трудиться, они рядом с нами, и их немало. Надо, конечно, различать людей, что-то осознавших, переосмысливших, и тех, кто готов выполнить «любое задание любого правительства».

Что нас спасало тогда, что помогало выстоять? Одним словом не ответишь, да и у каждого это было по-

своему. Мне повезло, что рядом со мной была Лариса Шепитько, у которой тоже все складывалось не лучшим образом, далеко не лучшим. Два режиссера в семье, а нам порой почти не на что было жить. Постоянно брали в долг. Под будущие картины. А потом, когда этих будущих картин что-то совсем не было видно, перестали и в долг давать. Вообще, хочу заметить, обывателям, как правило, кажется, что режиссеры получают бешеные деньги. Это не так. Когда случаются хорошие заработки, то они обычно уходят на отдачу долгов. Пока делаешь следующую картину, накапливаются новые, а между картинами зарплата у нас не идет...

После окончания Московского авиационного института Элем Климов работал в конструкторском бюро у известного создателя отечественных вертолетов М. Л. Миля. Работал недолго, год с небольшим. Но уже в МАИ, занимаясь самодеятельностью, студенческой сатирой, подумывал он о поступлении во ВГИК. Поступал к Ромму, но он его не взял.

ВГИК Э. Климов все-таки окончил в 1964 году, его мастером был Ефим Дзиган, режиссер классического фильма «Мы из Кронштадта», а с Михаилом Ильичом судьба свела его вновь, когда на «Мосфильме» он сделал дипломную картину «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Ромм посмотрел картину, очень доброжелательно к ней отнесся и пригласил молодого режиссера в свое творческое объединение «Товарищ».

— Но ведь ни ВГИК, ни Госкино не поддержали этот фильм...

— И все время боролись против него, пытались остановить начатое. Мы спешили, торопились снимать, и фильм сделали очень быстро, на четыре с половиной месяца раньше срока — своего рода производственный рекорд. Но готовую картину закрыли, и она пролежала несколько месяцев, пока ее не посмотрел Хрущев.

— В чем дело, каковы причины столь высокого внимания к той давней работе?

— Дело в том, что кое-кто посчитал фильм антихрущевским, и возникло «мнение». Мнение, как всегда, анонимное. «Где-то», «кто-то», «что-то»... Официально нам, авторам, ничего предъявлено не было. Воцарилось молчание, неизвестность. К защите диплома не допускают...

Потом, много позже, стало кое-что проясняться. В фильме есть эпизод, где мальчику, герою картины, привиделись похороны бабушки. Такие комедийные, пародийные похороны. Несут ее друзья-старички большой фотопортрет. А бабушка полная, лицо круглое, и волосы как-то расплылись, исчезли при большом увеличении. При просмотре кто-то из редакторов воскликнул: «Да они Хрущева хоронят!» Мы, естественно, ничего подобного в виду не имели, это была сатира на бюрократичивание детской жизни, на ее заноменклатурирование. Тогда я впервые узнал выражение «антисоветский фильм», ярлык, который впоследствии лепили кинокартинам, чем-то кого-то не устраивавшим. Я уже рассказывал коллегам о фразе, примерно в то же время услышанной мной от одного из редакторов Госкино: «Мы, редакторы,—цепные псы коммунизма». Я думаю, что коммунизм в «цепных псах» не нуждается, иначе это уже не коммунизм, а что-то иное. Но, между прочим, последователи у этого редактора не исчезли, мы и сейчас с ними сталкиваемся. Они бдят и бдеть еще долго намерены, иссушая все живое и неординарное, диктуя нам, во что и как надо веровать, по каким законам творить.

— Ну и что Хрущев?

— Он фильм посмотрел, и именно он разрешил пустить его в прокат. Хотя страсти не утихали и после.

В один такой период, когда надежды на получение работы не было, мой брат Герман, к тому времени заканчивавший учебу на Высших сценарных курсах, предложил взяться за тему нейтральную — о спорте. И вместе мы сделали фильм «Спорт, спорт, спорт». В это же время параллельно мы с Марленом Хуциевым занимались материалом неоконченной картины Ромма «И все-таки я верю...» Задача была непростая. Кто может довести картину режиссера, сделавшего «Обыкновенный фашизм»? Кстати говоря, я думаю, что молодые зрители, очевидно, не знают этого прекрасного фильма, а хорошо было бы его повторно показать в прокате и, наконец, по телевидению. Это этапная вещь в истории нашего кино.

Итак, Михаил Ромм взялся за новый фильм, работа шла мучительно сложно. Он хотел сделать фильм-размышление на материале маоистского Китая. Потом ясно стало, что этого не дадут. И взял тему шире: о

западной молодежи, о состоянии духа на Западе. Он хотел вместе со зрителями подумать, откуда грозят миру основные беды, из чего они могут родиться? Наконец, каким будет мир, если ему суждено продолжиться. Михаил Ильич собрал огромный хроникальный материал, снял отдельные интервью, были записаны и наброски голоса «от автора». Потом Ромма не стало. Что было делать с этим материалом? Уничтожить его? Отвезти на склад? Законсервировать? Или попытаться придать ему какую-то форму, сохранить наметки замысла? Мы с Марленом Хуциевым взялись за эту работу, втянулись в нее, увлеклись и наконец смонтировали картину под названием «И все-таки я верю». Конечно, это был не роммовский фильм, чуда не произошло, не могло произойти. Эта работа — дань уважения к памяти выдающегося мастера кино, и мы не жалеем, что делали ее.

...Смена кинематографического начальства, вместо А. Романова председателем Госкино СССР становится Ф. Ермаш. Он-то и предлагает Элему Климову, что по тем временам, в конце 1972 года, было рискованно, взяться за фильм «Агония». Работа эта стала принципиальной в нашем кинематографе с самых разных точек зрения. О ней в свое время много говорили, околodomокиношные кумушки чесали языки, фантазеры слагали легенды, О ней говорят и сейчас. И у нас, и за рубежом. Поэтому я попросил Э. Климова подробнее рассказать обо всем, что связано с «Агонией».

— На «Агонию» меня подбил Иван Александрович Пырьев. После скандала с «Зубным врачом» он позвал меня к себе и со всей присущей ему прямоотой сказал: «Ты понимаешь, Елем (он так меня называл), что тебе теперь до-о-олго не дадут снимать?» — «Что делать?» — «Приближается пятидесятилетие Советской власти, тебе надо сделать юбилейный фильм». — «Не умею делать юбилейных фильмов и не научусь никогда». — «Ты вот что, не горячись и прочти пьесу Алексея Толстого «Заговор императрицы». Я прочел и говорю: «Извините, Иван Александрович, не хочу обижать автора, но пьеса написана вблизи событий, в угоду обывательскому пониманию истории». «Хорошо, — настаивает Пырьев, — возьми тома протоколов допросов Комиссии Временного правительства, в которой работал Александр Блок... И Распу-

тина, Распутина Гришку там не пропусти». Я прочел эти удивительные документы и понял, что у меня в руках уникальный материал. Вскоре началась работа над сценарием, но от съемок нас отделяло еще семь лет, дважды мы приступали к работе над фильмом, дважды нас «закрывали». И только с третьего раза картину удалось снять. Так что к тому юбилею мы не успели, к следующему тоже...

Очень много времени ушло на изучение архивных документов, знакомство с мемуарной литературой. Иногда мы умышленно отступали от факта, допускали неточности в пользу образного решения...

— В чем, к примеру, вы отступали от конкретики?

— Ну вот, скажем, сцена убийства Распутина, известная по воспоминаниям самих убийц, полицейским донесениям и т. д. Во-первых, мы показали ее фрагментарно, показали не все убийство — ведь это преступление, это безумная ночь русской истории — целая эпопея, многосложная повесть со многими подробностями. Это и события в подвале дома Юсуповых, стрельба в саду, избивание кистенями вроде бы уже мертвого Распутина; можно было показать, как везли его в автомобиле, как бросили в прорубь на Малой Неве, что испытывали при всем этом участники убийства... Мы сняли, собственно, только начало убийства, иначе надо было посвятить этому событию целый фильм, а это не входило в наши намерения. Имея подлинные фотографии юсуповского подвала, отделанного, как дорогая бонбоньерка, мы тем не менее сделали его более аскетичным, более «средневековым». Для чего? Чтобы у зрителей возникла ассоциация с целой чередой дворцовых политических убийств, которыми так богата российская история, преступлений во имя власти. Через фильм идет несколько образно-смысловых пунктирных линий, одна из них связана с этой сценой.

Разрешительное удостоверение на показ «Агонии» у нас и за рубежом мы получили 12 апреля 1975 года. Некоторое время все шло как бы нормально, а потом пошел тревожный слух, что с картиной неладно, что кто-то ее посмотрел и остался недоволен. Однажды ко мне подошел Тарковский и попросил показать фильм. И я организовал едва ли не последний тогда просмотр на

«Мосфильме». Зал был свободен только в восемь утра, но Андрей пришел. После просмотра он сразу же сказал: «Ты погиб». «Почему?» А картину смотрели и другие мои коллеги, и она многим понравилась, хотя сам я уже относился к ней критически. «Ты погиб потому, что «Агония» далека от стереотипов советского исторического фильма, разрушение которых тебе не простят».

На экраны страны «Агония» вышла весной — летом 1985 года, а за границу ее продали значительно раньше, после показа на закрытии Московского кинофестиваля 1981 года. За границу продавали, у нас не пускали. Я недоумевал. Выходило, что нашему зрителю меньше доверяют, чем зарубежному?! В одной крупной латиноамериканской стране фильм был арестован «за пропаганду революционных идей». Во Францию продали «Агонию», позволив ее перемонтировать и сократить на 45 минут, в США урезали на целый час. В этих странах вырезали как раз политические сцены, сокращали в угоду кассе. О чем это говорит? А о том, что советские режиссеры практически лишены авторских прав и с нашими работами можно делать все, что заблагорассудится. Но это же цинизм — все на продажу, все на валюту!

— Ну, а кто все-таки конкретно запрещал картину?

— Запрет шел, насколько мне известно, и от Суслова, и от Гришина, и от Косыгина. Но были, я знаю, и другие поборники «правильного» кино. И хотя даже академик Минц — один из главных специалистов по истории Октябрьской революции — дал самый благожелательный отзыв, все равно это не имело значения. Преобладали вкусовые пристрастия, «дачные мнения»: «Слишком много Распутина, царь не тот (не карикатурен), где роль партии большевиков?..» Короче, прогноз Тарковского оказался верен. Таковы перипетии одной работы, которой я так или иначе отдал почти двадцать лет своей жизни.

Творческая биография Элема Климова действительно насыщена драматическими событиями, поворотами. В ней не только отметины сложного периода нашей жизни, но и как противостояние этим сложностям воля, характер, мужество человека, который отдавал всего себя искусству. Двадцать лет отдано «Агонии», десять лет (включая параллельно десять из двадцати предыдущих)

фильму «Иди и смотри», получившему высшие кинематографические призы и ставшему событием в нашем искусстве.

— В 1976 году мы вместе с Алесем Адамовичем затеяли делать фильм «Убейте Гитлера» по «Хатынской повести» писателя. Дело предстояло большое, сложное, и нас очень поддерживал, был нашим, так сказать, добрым гением первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Петр Миронович Машеров, замечательный человек. Он летал с нами по республике на вертолете, показывал места партизанских боев, где он и сам сражался, где казнили его мать в Рассонах, на Витебщине. Он всячески нам помогал, и это вселяло надежду.

К сожалению, Петр Миронович тогда заболел, уехал лечиться в Москву, и тут я вспомнил о том, что «аппарат сильнее Совнаркома». Началась тихая, «кабинетная» атака на сценарий. Я всегда изумлялся, откуда у этих людей такое изощренное сознание, такая своеобразная, странная фантазия. Парень и девушка, герои фильма, пробираются через топкое болото — «пропаганда эстетики грязи»; нога деревенского старосты наступает на муравейник — «унижающее уподобление нашего народа муравьям»; немецкая пуля убивает на ночном поле корову — «натурализм, смакование»; далее: «где размах партизанского движения, почему позволили сжечь деревню?..» А 628 полностью, со всеми жителями сожженных деревень, а два с четвертью миллиона погибших на территории Белоруссии? Фашистская машина была отлажена, работала беспощадно, на полное уничтожение. Об этом и снимали: какого зверя нам удалось победить, что преодолеть и в себе в том числе — не вызвериться, не уподобиться врагу, остаться людьми. В сценарии был эпизод, когда наш юный герой, пройдя все круги военного ада, расстреливает как бы всю биографию Гитлера и гитлеризма, но в последний момент опускает винтовку, не стреляет в Гитлера-младенца, еще безвинного ребенка. Сложный момент, но объяснимый и нормально теперь воспринимаемый зрителями фильма «Иди и смотри». «Всепрощенчество, абстрактный гуманизм, неклассовый подход»... Этот последний «невыстрел» был принципиальной позицией для нас, авторов, согласиться с претензиями Госкино мы не могли, работы по фильму были

приостановлены. Через несколько дней мы должны были начать съемки. Шло лето 1977 года...

Нервный срыв, тяжелое заболевание, депрессия. Все мрачнее и мрачнее становилось вокруг, казалось, что теперь-то уж точно конец, финиш. Надеяться больше было не на что. Такое ощущение, естественно, было не только у меня, иначе я бы и не говорил об этом. А вокруг гремели победные трудовые реляции, из всех приемников неслось ликующее «БАМ, БАМ, БАМ!..», «наверху», не уставая, награждали друг друга высокими наградами, произносили длинные бумажные речи. Окреп и расцвел жанр анекдота. Да, мы все равно смеялись. Все равно верили, что справедливость придет, не может быть по-другому.

А потом случилось самое страшное в моей судьбе. И все прежние беды показались вмиг мелкими и ничтожными...

В июле 1979 года, в самом начале съемок фильма «Матёра» по повести В. Распутина «Прощание с Матёрой», погибла режиссер Лариса Шепитько, жена Элема Климова. Пять членов съемочной группы попали вместе с ней в автомобильную катастрофу на Ленинградском шоссе неподалеку от Калинина. Никого не осталось в живых. Климову было предложено продолжить эту работу.

— ...Я продолжил работу Ларисы, не мог иначе. Это, я думаю, помогло и мне хоть как-то пережить сильное горе. «Работа лечит», — точно говорят. «Жизнь — это преодоление» — тоже согласен. Однако одно дело преодоление естественных препятствий, пусть и самых сложных, оно закаляет характер, приносит удовлетворение. Другое — когда чуть ли не вся наша жизнь построена на борьбе с абсурдными, бессмысленными преградами, с тупостью, чванством, хамством. Тогда и жизнь сама превращается в долгосрочную муку, теряет свой смысл. Вот тут мы, кажется преуспели.

Итак, с готовым фильмом (теперь он назывался «Прощание») мы оказались в Малом Гнездиновском переулке, в Госкино СССР. Первое, что мы услышали:

«Уберите ку-клукс-клан!» — это про людей, распутинских пожегщиков, которые в прозрачных полиэтиленовых накидках приехали сжигать Матёру. «От имени какой власти они приехали?!»

«Крестов не надо!» «Но это единственный надмогильный крест, который принесли с варварски разрушенного кладбища». «Крестов нам не надо!» И т. д.

Фильм оказался «мрачным, излишне трагедизированным, авторская позиция базируется на неприятии научно-технического прогресса, зиждется на реакционных почвеннических позициях, есть налет религиозности».

Никакие объяснения мои и автора повести успеха не имели.

«Пока мы здесь сидим и служим, картина в таком виде принята не будет».

Сдавали мы фильм почти год. Дело дошло до того, что мне намекнули: надо будет уходить с «Мосфильма», так как план студией не выполнялся. Я подводил огромный коллектив. Говорили, что если не я, то другие порежут фильм, отберут его у меня. Тогда я стал интересоваться авторским правом, есть оно у нас или его нет. Встречался с юристами и с ваповцами, выяснил, что авторское право кинорежиссера настолько размыто, что практически оно не имеет силы. Кстати, с той поры мало что изменилось. Сейчас идет большая работа над новым авторским правом, но идет очень туго, пока никак не удастся убедить наших оппонентов в главном: авторское право должно принадлежать авторам, людям, которые, собственно, и творят кинопроизведение,— сценаристу, режиссеру, оператору и т. д. (сейчас право принадлежит студии).

— Так что же «Прощание»?

— Фильм был неожиданно принят, принят, что называется, в одночасье. Все эпизоды остались на своих местах, работники «Мосфильма» получили премии, сотрудники Госкино продолжали сидеть в своих креслах.

— И так бывало?

— Бывало и так...

Приближалось сорокалетие Победы, и возник вопрос, что, быть может, все-таки следует поставить тот фильм, который мы с Адамовичем задумывали семь лет назад. Удалось отстоять все основные положения сценария. Я уехал в Белоруссию уже с новой группой, с новыми исполнителями. Съемки начались весной 1984 года, и девять месяцев я не был ни одного дня дома, девять месяцев я не видел сына. Весь ушел в водоворот съемок.

Для меня это были даже и не съемки, а подлинная борьба за рождение фильма. Я чувствовал, что если хотя бы на один день выйду из того магнитного поля, которое там возникло, то все разрушится. И я не позволил себе ни разу отлучиться, и не только я — мои товарищи вели себя так же. Заканчивали съемки на льду реки Березины. Так возник фильм под новым названием «Иди и смотри»...

К сожалению, мы не успели снять нашу центральную кульминационную сцену, из-за которой фильм, собственно, и получил такое название. «Иди и смотри» — это один из поэтических рефренов Апокалипсиса.

— Не успели почему?

— Не хватило времени, организация съемок была далеко не идеальной. Вот мы и уперлись в зиму. К тому же фильм снимался кадр за кадром от начала к концу, чего обычно в кино не бывает в силу определенной специфики: учитывается занятость актеров, возможность съемок того или иного объекта... А тут из-за подростка, который должен постепенно пройти (он же не актер, ему 14 лет) самый страшный отрезок своей жизни, духовно перемениться, возмужать, сделаться другим, надо было снимать последовательно, ничего не пропуская. Эта последовательность и стоила лишних полутора месяцев работы, которых на ту важную сцену и не хватило. Правда, если честно, то, прокручивая в своей голове все обстоятельства, мы пришли к выводу, что зрители могли и не выдержать, если бы мы сделали эту сцену. Это апокалипсическая сцена на гигантском торфяном поле и с лесом, чудом сохранившимся на нем, вокруг которого идет бой равных сил: немцев и партизан, — никуда в сторону нельзя шагнуть, уйти, ускакать, потому что провалишься в горячий торф, как в ад, и нет этому бою конца, бой идет до полного уничтожения. Солнце как бы остановилось над лесом и ждет, когда люди добьют друг друга. А тут же и мирные жители, и коровы, и дети, и раненые — одним словом, конец света. Сцена была бы очень мощной. Жаль, что мы этого не сняли.

«Жаль, что мы этого не сняли...» Мой собеседник не раз произносил такие слова. Он говорил о муках недовольства, неудовлетворенности той или иной работой. Собственно, нет ни одного снятого им фильма, который успокоил бы его душу и сердце, дал бы ему возможность

умиротворения. Он не удовлетворен «Агонией». Причем почувствовал это сразу же после окончания работы над фильмом. Вдруг понял, что по-настоящему не был готов к работе над материалом, хотя долго его добивался, говорил себе: «Буду снимать, и все». Даже на грани полного поражения твердил: «Буду!» Но, снимая, не всегда доверял чутью и как бы подменял подлинную режиссуру режиссурой внешней. И сам себе предъявил суровый счет. Но, к сожалению, в чем-то уже было поздно, поезд ушел. И он захотел реабилитироваться в собственных глазах, доказать себе, что все-таки может снимать сложные и сверхсложные человеческие состояния. Натолкнулся на повесть Алеся Адамовича. Сделал картину, получившую высокие отзывы, но снова неудовлетворенность. Конечно, не во всем, но... Он говорил Адамовичу, что если делать такой материал,— а более или менее авторы фильма знали правду о фашизме в Белоруссии, ведь она поведана, зафиксирована, знали, что такое Хатынь, что такое фашистский геноцид,— то это надо делать так страшно, считал Климов, что люди не смогут смотреть. Адамович возражал: «Так и надо делать. Будут смотреть». «Но решительности все же нам не хватило,— говорил Элем Германович,— зрителей мы поберегли».

...История с избранием Климова первым секретарем правления Союза кинематографистов СССР тоже неожиданна и драматична. Он и не предполагал, и не собирался заниматься никакой административной деятельностью. Как считает, не имеет к этому расположения. Но на выборах не нашел в себе силы для самоотвода. В тот момент в нем, как рассказывал мне Элем Германович, возобладало чувство уникальности того исторического мига, момента, когда, как ему казалось, можно многое в киноискусстве изменить к лучшему. Он как бы мгновенно ощутил меру и значимость ответственности, на него возлагаемой. И согласился.

— Пройдет несколько лет, и я, быть может, другому расценю свою слабость, свой «неотказ», ибо никаких тщеславных притязаний у меня не было. Я всегда хотел быть просто режиссером, чтобы по возможности свободно выражать то, что мне хотелось выразить. Годы бегут, идет, условно говоря, вторая половина жизни и надо спешить делать фильмы, каждый из кото-

рых может оказаться последним. У режиссеров, увы, так получается, что только до определенных лет они могут себя проявлять по-настоящему, многое связано с возрастом, с восприятием мира. Я понимал, что лучшие годы прошли или проходят, надо спешить... И вдруг надо перестраивать целый кинематограф.

Удовлетворен ли я, одним словом не скажешь. Прожита, быть может, самая бурная полоса моей жизни, много сил и душевной энергии отдано новому делу. Когда энергия отдается производству, то она потом восполняется производением. А здесь ощутимые результаты появятся когда-то позже, в отдаленном будущем. Кинематограф должен переориентироваться, активизировать свой творческий потенциал, осознать и ощутить новые задачи, обрести новое мышление. Только тогда произойдет явственный качественный скачок. Как этого добиться? Путь тут только один: демократизировать нашу творческую деятельность во всех ее аспектах, получить действительную, а не мнимую самостоятельность в решении наших общих кинодел — финансовых, производственных, кадровых. Мы спутаны по рукам и ногам бесчисленным количеством инструкций, многие из них происходят еще с тридцатых годов. Я как-то попросил нашего юриста собрать их все и показать мне. Он принес много книг разной толщины общим весом, как мы прикинули, около семи килограммов. Все это мешало и мешает нам работать, сковывает в каждом движении, учит хитрить, обходить, ловчить. И я подумал: вынести бы все эти книги на какой-нибудь помост или эстраду и сжечь публично. Вот это был бы настоящий праздник для кинематографистов!

Все надо строить теперь совершенно по иным, разумным и справедливым, законам. Невозможно дальше двигаться с путами на ногах и руках, с кляпом во рту, который мы еще так хорошо ощущаем.

Гласность. Гласность — полугласность — четвертьгласность. Мы говорим, пишем, снимаем и все время на кого-то оглядываемся, с кем-то внутри себя шепчемся. Так нас приучила жизнь, и боюсь, что это еще надолго. А зритель хочет, требует скорейшего появления нового кино... Прошедшие десятилетия не прошли даром ни для кого, страх, долгий страх поселился в наших генах, раз-

двоил нас, расщепил на разные существа, проживающие в одном телесном обличье. Навести бы и мне поскорей порядок в собственной душе, а потом пожелать этого и для других. До подлинной гласности, до настоящей демократии нам еще предстоит продираться через бурьяны прошлого, постепенно отвыкая от привычки к рабскому повиновению, к безголосому существованию. Придется учиться диалогу, не только говорить, но и слушать. Эх, как это трудно — слушать и слышать. Знаю по себе. И по другим. Гласность и демократию всем нам еще предстоит сотворить. Поэтому с фанфарами на эту тему не будем пока спешить. Один из участников недавнего пленума Союза кинематографистов с тревогой говорил: «Существует ли уже механизм, созданы ли уже те демократические механизмы, которые гарантировали бы нас от возврата к прежнему? Первая и главная задача творческой интеллигенции — способствовать, в том числе всей своей работой, созданию этих демократических механизмов, этих гарантий». Вот в какую сторону сейчас должен быть направлен вектор всех наших сил, отдана наша гражданская и творческая энергия.

...Ну а пятый съезд Союза кинематографистов, вы знаете, был особым съездом — острым, принципиальным, бурным (не всегда даже парламентские формы соблюдалась). Почему? Вы попросили, я вам рассказал историю своих фильмов, а теперь помножьте ее на большое множество подобных историй, на развал кинопроизводства, низкий уровень техники, несправедливую оплату труда, авторское бесправие, давно сбитые критерии оценок, утерю контактов со зрителями, все нарастающий поток киномакулатуры, серятины... С этого съезда, собственно, и началась перестройка в кино. Идет она трудно, тягостно трудно, но идет. Съезд консолидировал наши силы, но нас же частично и разобшил. Подумайте, кого-то покритиковали, кого-то куда-то не выбрали — появились обиды, люди замкнулись, стали злиться. Дотронулись и до наших «недотрог» — «киногенералов», которых прежде критиковать в печати было не принято. Так проявилась определенная поляризация некоторых групп, слоев в нашем киносообществе. Вернее, все это существовало и раньше, но было, что называется, «под водой». Другие же, у которых явно недостает

дарований, поняли, что реформа в кино осложнит их жизнь, ибо теперь только талантом своим можно будет доказывать право на постановку, на работу. Некоторые в силу привычек, возраста, необратимых внутренних процессов, может быть, уже не смогут соответствовать новым требованиям жизни, им надо помочь по-другому устроить свою судьбу, но не отмахиваться от них. Это драматический момент. Сегодня определилась и другая когорта кинодеятелей, людей с «крепкими локтями», со связями, с громким голосом. Эти без боя свое не отдадут, они уже и пошли в бой. На «Мосфильме», скажем, они требуют разделения студии на две по примеру МХАТа (весьма дорогое удовольствие), призывают вернуться к прежним, а лучше к предпрежним временам. Такого рода люди пытаются удержать, сохранить самое главное для них — привилегии, свое место под солнцем, у пирога жизненных благ. Процесс переустройства выявляет, высвечивает многое — и кто за чем стоит, и кто за что стоит. Меня радует то, что самые достойные люди в кинематографе категорически поддерживают перестройку. И замечательно, что среди них много молодежи.

— Элем Германович, вспомним еще раз те фильмы, которые лежали на полках до создания той самой конфликтной комиссии, которая появилась после V съезда Союза кинематографистов и которая «реабилитировала» многие талантливые картины.

— Два фильма Муратовой «Короткие встречи» и «Долгие проводы», «Проверка на дорогах» Германа, «Ангел» и «Родина электричества» Андрея Смирнова и Ларисы Шепитько по Олеше и Платонову, «Иванов катер» Осепяна, «Интервенция» Полоки и много других.

— Вы уже называли «Комиссар».

— Да, этот фильм спорный для некоторых по своим художественным достоинствам. Тем не менее почему он должен был больше двадцати лет лежать в забвении?

— Осталось что-то еще из забытого, неопубликованного?

— Вы знаете, основную массу фильмов комиссия уже просмотрела, но работа еще не окончена.

— Комиссия распадется или будет существовать?

— Она будет существовать постоянно, может быть,

переменятся ее функции, но споры, дискуссии, конфликты, я думаю, не оставят нас. Дело-то творческое.

— В кинематографе сегодня существует цензура или нет?

— Дело в том, что цензура в кино была и есть. Цензура, которая следит за тем, чтобы не были показаны или раскрыты какие-то государственные и военные тайны, чтобы на экране не было порнографии, сцен умышленной, самоцельной жестокости, могущих ранить психологию молодого зрителя, чтобы фильмы не создавали враждебного отношения к тем или иным народам, нациям. Практически с официальной цензурой мы не имели конфликтов. Но создалась другая цензура, которая присвоила себе право говорить от имени народа, судить о том, что народ поймет или не поймет, что ему вредно, а что не вредно. Это редакция Госкино, которая присвоила себе право цензурирования, а точнее, оскпления сценариев, готовых фильмов, вмешивалась даже в актерские пробы. Я столкнулся с этим еще при работе над первой своей картиной «Добро пожаловать...», когда мне заявили, что актер Е. Евстигнеев не должен играть начальника пионерского лагеря, а должен играть такой-то актер. Потому что, дескать, тогда этот образ в случае чего можно списать на «дурака», а не на социальный момент. Но кто же, кроме режиссера, может решать такие вопросы?

— А как сейчас решаются эти вопросы?

— Работать стало уже легче и проще. Подобные рецидивы прошлого вряд ли уже возможны. Хотя бдительность терять не следует. Одно из важных достижений прошедших месяцев — это то, что мы, Союз кинематографистов, начали находить с Госкино, с его новым руководством общий язык, работать в товарищеском, деловом взаимодействии. Это делает всех нас сильнее, увереннее. Это вселяет надежду.

— Вы можете назвать имена тех, кто стоял на пути всего талантливого, насущного, передового? Пусть им будет стыдно.

— Зачем убивать людей? Самым совестливым из них, наверное, и так нелегко. А некоторые просто ничего не поняли из того, что происходит сегодня в нашем обще-

стве. Только обозлились. Об этом сужу, потому что иногда приходится с ними встречаться, видеть глаза. В глазах — ненависть. Но и в их грудь не хочется вбивать осиновый кол, называть имена, клеймить. Это их любимый жанр, им его и оставим.

— А из тех, кто продержался, выдюжил, не сломался?

— Многие. Лариса Шепитько выдержала. Алексей Герман, Иоселиани. Тарковский выдержал. К сожалению, ценой жизни. Эльдар Шенгелая не изменил себе ни в чем. Кира Муратова, Александр Сокуров. Правда, многие? Шукшин, хотя он и не сумел сделать своей главной работы — о Степане Разине. Каждый режиссер должен иметь в своей творческой жизни какой-то главный фильм, центральную работу. Для Шукшина, как он сам считал, такой работой и должна быть экранизация романа «Я пришел дать вам волю...». Ведь поначалу он написал просто сценарий, сценарий не пропускали, тогда он написал роман, чтобы через него вновь вернуться к фильму. Возвращение к фильму через роман стоило ему огромных сил, но в конце концов и они иссякли. Дело остановилось. И вот уже не хватило ему ни здоровья, ни самой жизни. А ведь он хотел играть Разина. И фильм этот должен был быть абсолютно авторским...

— А что вам не удалось, что не осуществилось?

— «Левшу» хотел снимать, не удалось. Фильм про Ивана-дурака — не удалось. «Бесы» Достоевского мечтал экранизировать, но в свое время и говорить-то об этом было нельзя серьезно. В свое время мы с Юрием Карякиным, блестящим знатоком материала, человеком, по-настоящему глубоко понимающим Достоевского, много работали над «Бесами». Мы хотели воплотить на экране самый спорный, самый пророческий роман великого писателя, но увы... С Виктором Мережко подготовили экранизацию неоконченного рассказа Василия Шукшина «А поутру они проснулись...». Жестокий был сценарий, назывался «Пьяные». Действие должно было происходить в вытрезвителе, который как бы не имел конца, такой «всесоюзный» вытрезвитель. Один из наших руководителей прочитал и сказал нам: «Ну, ребята, напугали. После такого фильма у нас вообще пить перестанут, ха-ха. Вы что?» Не дали поставить сценарий, который мы написали

с моим братом Германом в 1982 году,— «Преображение». Сложный и необычный замысел, очень российская история, действие происходит в малоизвестном нам по литературе и экрану XVIII веке. Тут дозволяли снимать только первую часть, а вторую нет. А мы ради второй и писали в основном этот сценарий.

— А «Мастер и Маргарита»?

— Я, как и многие (наверное, почти все) наши режиссеры, мечтал экранизировать этот роман с момента его напечатания. Однажды на короткое время мечта почти стала реальностью. Это произошло, когда у нас снимался совместный советско-итальянский фильм «Красная палатка». Тогда мы познакомились и подружились с Клаудией Кардинале и ее мужем продюсером Франко Кристалди. Они-то и предложили идею странного сочетания двух режиссеров в одном фильме «Мастер и Маргарита». Линию Христа должен был снять Федерико Феллини, а «советскую» часть — мало кому тогда известный Элем Климов. На роль Маргариты, естественно, без проб приглашалась Кардинале. Проект существовал недолго, тогда осуществление его казалось фантастичным. Дело это, конечно, лопнуло.

— Элем Германович, простите за такой вопрос, но некоторые говорят о том, что вы воспользовались служебным положением и «захватили» монополию на экранизацию романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Что вы можете сказать по этому поводу?

— Если бы я вам сейчас рассказал, что про меня и других секретарей нашего Союза говорят «некоторые»... Мифотворчество, сплетни, слухи — это у нас сейчас весьма популярный жанр. Но это и оружие в борьбе «некоторых» против перестройки.

«Мастера» мне разрешили снимать еще до V съезда. Договоренность уже тогда существовала. И если бы не съезд, который так повлиял на мою судьбу, я был бы уже на пороге съемок.

Я все больше понимаю, что прямая экранизация романа, текст которого знают досконально миллионы читателей, невозможна. Неизбежно люди начнут сравнивать, сличать. Большая часть зрительской энергии уйдет именно на это. Роман очень литературен, во многих своих

фрагментах не поддается экранизации в обычном понимании этого слова. Значит, надо искать другой путь.

Есть еще одно обстоятельство, о котором я мучительно и долго размышлял. Вот текст «Мастера». В сознании большого количества людей он как бы канонизирован, незыблем. Способствует этому и наше знание драматической судьбы самого автора, его романа. Создалось триединство — «Булгаков — роман — читатель». И к этому моменту надо отнестись очень бережно, сберечь его. Должна быть создана, как мне представляется, параллельная киноверсия романа, в какой-то мере даже фантазия на главные темы великого произведения, без претензий экранизировать всю вещь. Это потребует кропотливой и долгой литературной работы. И определенного рода смелости. Но Михаил Афанасьевич и сам занимался такой работой для кино. Вспомним хотя бы его работу над сценарием по мотивам «Мертвых душ». И не робел.

— А фильм о современной жизни вам не хотелось бы сделать?

— Хотелось бы. Но пока не попался подходящий сценарий, не поверхностно актуальный, а подлинно проблемный и человечный. Может быть, он уже кем-то пишется, этот сценарий. Для театра, кстати, такие пьесы еще тоже не написаны. И литература нас пока не балует.

Сейчас у нас лидируют документалисты. Работы у них оказалось много. Столько в обществе наболевшего, столько неразвязанных узлов, так стремительно развиваются события — только снимай. Они и снимают, снимают, зачастую жертвуя художественностью, не очень-то успевают «вылизывать» свои картины, за что и получают критические оплеухи от наших любителей совершенного. Вот этим-то картинам, которые на передовом крае перестройки, сейчас приходится труднее всего. Они для кого-то опасны. Они кого-то затрагивают. Но они же для того и снимаются, чтобы на что-то повлиять, что-то изменить в лучшую сторону. Теперь появилась новая форма, нет, не запрета, а полузапрета. Не «полка», а, как мы грустно шутим, «этажерка». Фильм — я имею в виду острые, проблемные работы документалистов — принимают, но практически зрителям не показывают. Или только условно, смехотворно малым тиражом выпускают на экран. А вы говорите — расформировать конфликтную комиссию...

Над этим интервью мы работали с Климовым три полных дня и три... полных ночи. В самом прямом смысле. За это время я, по-видимому, лишь чуточку почувствовал, понял характер, натуру этого неординарного человека. С одной стороны, он человек медлительный, плотно обдумывающий обстоятельства, действия, предпринимаемые им ежедневно, ежечасно подолгу работающий, как мы уже знаем, над каждым из своих фильмов, с другой стороны, бывает так, что те или иные действия, поступки его непрогнозируемы. Отсюда невозможность ответной реакции, сложность контакта с ним. Элем Германович «нажимал» на меня, с тем чтобы отложить это интервью: «Некогда», «Потом», с другой стороны, «поддался» моему нажиму и, оставив почти на произвол судьбы свой родной, уважаемый нами «киношный» Союз на три рабочих дня, с головой ушел в размышления о нашем сложном времени, о судьбах кинематографа, о своих личных перипетиях. Темы наших бесед, помимо всего, рождались спонтанно, неожиданно. Я увидел на столе только что вышедшую книгу «Лариса» о его жене Ларисе Шепитько, и мы несколько часов проговорили о ней, самом родном и близком человеке, друге, соратнице.

— Лариса ушла из жизни, находясь на самой вершине своей судьбы. Только что пережила всемирный успех «Восхождения», ей разрешили снимать «Прощание с Матёрой», а отношение руководства к повести было тогда негативное. Потребовался большой дипломатический дар, которым она обладала сполна, весь ее ум, обаяние, чтобы убедить, добиться этой работы.

Через неделю после похорон Ларисы и ее товарищей осиротевшая группа с новым режиссером, оператором, художником приехала на место съемок.

Что делать? Как делать? Вначале попытались подражать. Одну сцену сняли в подражание, другую. Поняли, что это не путь, надо находить свой подход к материалу, создавать свой замысел и даже писать свой сценарий. По ночам с моим братом мы работали над сценарием, днем — съемки. Погода ухудшалась, лето кончилось, дожди, неудачной была и осень. Доснимались до снега. Нам дали паузу до следующей весны, и в эту паузу мы сделали маленький фильм «Лариса». Потом была закончена и основ-

ная картина. Мы решили назвать ее «Прощание». Это мы прощались с нашими друзьями, а я и с родным человеком.

— Еще о Ларисе Шепитько. Ведь она человек поразительный, может быть, даже уникальный.

— Редчайший случай в истории кино, чтобы на режиссерский факультет приняли молодого человека, да еще девушку семнадцати лет, сразу после окончания десятилетки. И к кому? К Довженко, выдающемуся мастеру! Вот интуиция! Как он почувствовал, каким образом? Да еще на вступительных экзаменах. Он опекал ее, как родной отец, и Лариса обожала его до последних дней жизни, боготворила, исповедовала его личность, его высокие нравственные принципы. Она считала, что если и свершилась, то свершилась в те полтора года, когда он учил ее. Полтора года всего!

Лариса была человеком предельной честности, озаренности и истовым художником. Поэтому, наверное, не каждый чувствовал себя рядом с ней уютно. Далеко не всякому дано быть таким. Но и не было никакой фанаберии, гениальничания, хотя и скромницей не прикидывалась. Лариса тоже не сразу нашла себя, она шла через преграды, спотыкания, пробы, но к высокому в искусстве двигалась упорно и в результате пришла к «Восхождению». Не случись нелепой трагедии, взошла бы, я уверен, и на следующую ступень своего творчества. Она сама себя создала, и этот процесс продолжался до конца ее дней. Напряженная жизнь духа меняла ее и внешне. С каждым годом она становилась прекраснее.

Каким-то странным образом предсказала возраст, в котором ее не станет. На встречах со зрителями или в интервью она говорила, что по статистике средний срок жизни кинорежиссеров, а также летчиков-испытателей равен 41,5 года. Ларисы не стало в 41,5 года. Она предчувствовала, что что-то случится, говорила об этом часто: «Меня скоро не будет, я скоро умру». Перед выездом в экспедицию на Селигер прощалась с друзьями навсегда. Очень изменилась, какая-то стала другая: мягкая и отрешенная. Предчувствия ее сбылись. А вообще она верила в то, что живет на земле не первый раз. Что и говорить, человек — самый неисследованный, самый таинственный пока предмет на Земле...

Но, может быть, главной победой своей жизни Лариса считала рождение ребенка. С ее здоровьем вообще опасно было идти на это. К тому же сотрясение мозга, травма позвоночника во время беременности — надежд оставалось все меньше. И тем не менее она родила.

Во дворе «Мосфильма» она встретила Андрея Тарковского и похвасталась ему, что у нее есть сын, на что он ей ответил: «Я вас, во-первых, поздравляю, а во-вторых, я вообще не понимаю, как вы можете работать в искусстве, снимать фильмы, не имея детей».

«А это, может быть, и будет мой лучший фильм, мое лучшее произведение. По крайней мере теперь я знаю, что жила не зря».

Мой собеседник помолчал, прошелся по комнате, закурил. Телефонный звонок отвлек нас от грустной беседы.

— Элем Германович, оказывается, есть такой фильм «Великое прощание» о том, как Сталина хоронили. Почти трехчасовая лента, которая хранится на складе. Почему сегодня не показать эту хронику? Может быть, некоторые зрители и себя увидят со слезами на глазах у гроба «вождя и учителя».

— Думаю, что он запрещен для показа.

— Кем? Когда?

— Очевидно, после XX съезда. И запрет действует до сих пор.

— Сколько же уникальных свидетельств нашей истории, нашей советской эпохи упрятаны в киноархивах! Есть даже кадры, как в тридцать седьмом году по ночам арестовывали людей «маруськи» у подъезда. И сегодня, когда мы как бы заново открыли целые пласты нашего прошлого, необходимо все отдать зрителю.

— Да, невероятное количество материалов лежит в гигантском хранилище, в Красногорске под Москвой, которое, как я слышал, находится в плачевном состоянии: лента сыреет, плесневеет, просто гибнет.

Принадлежит оно Центральному архивному управлению Совмина СССР, и мы ставим вопрос о том, чтобы хранилище принадлежало и нам. Мы помогли бы заботиться о нем лучше.

— Ваше мнение о «Покаянии»?

— Общественное мнение по поводу фильма раздвоенное. Одни говорят, что такой фильм — ошибка, другие — победа демократии.

Фильм Абуладзе очень важен в нынешней обстановке как знак определенного позитивного поворота по отношению к нашей истории, к определенным ее страницам, тем более что картина шире по теме. Она утверждает, что любые нарушения социальной справедливости, где бы они ни происходили, отвратительны.

Московский зритель проявил к фильму очень большой интерес, его посмотрели более двух миллионов человек. По стране он, к сожалению, прошел хуже. За десять месяцев проката «Покаяние» увидело десять миллионов зрителей.

— Это не так много. Почему?

— Думаю, потому, что данные страницы истории впрямую не касаются жизненного опыта молодежи, и ей неинтересно смотреть это трагическое полотно. Для кого-то переусложненной оказалась форма изложения, кому-то показалось, что если уж рассказывать, то надо рассказывать в конкретных, реальных формах, так, как это происходило, а не в метафорическом стиле.

Очень важно, я думаю, что «Покаяние» сделали грузинские кинематографисты не по заказу Госкино, не на деньги Госкино, не на деньги Гостелерадио, а на деньги Совета Министров Грузии. Он был сделан в 1984 году, когда и подумать о такой теме было сложно. А если бы работа над картиной шла нормальным путем, картины не было бы.

— Некоторые называют вас экстремистом. Как вы думаете, почему?

— Опять «некоторые»... Давайте лучше применим понятие максимализма, «экстрема» — это совсем другое. Да, исповедую максимальную отдачу человеческих сил, самое интенсивное использование наших возможностей. Мечтал и мечтаю добиться предельно больших результатов. И в творчестве, и решая общественные и гражданские задачи. Но не «любыми» средствами.

Наверное, кого-то раздражил фильм «Иди и смотри», его образы, авторские приемы, его «шоковая терапия». Я за «сверхкино», когда надо срывать коросту с оплывших

жиром душ. Особенно теперь, когда мир живет еще в великой тревоге. Я за то, чтобы в правде идти до конца и жить с открытыми глазами. И на этом пути быть последовательным.

Я хотя уже и не мальчик, но многое еще не перестает меня удивлять.

Вот, к примеру. Закончился наш V съезд, меня избрали секретарем Союза кинематографистов, и уже буквально на следующий день я ощутил на себе совсем другие взгляды моих же товарищей. Некоторых. Много в этих взглядах было оттенков: воспаленное любопытство, слишком быстро обнаружившаяся неприязнь, чуть более меры проявленный восторг и даже заискивание. А ведь во мне ничего не изменилось, я был тот же, что и вчера. Добавился только пост, должность. А если я завтра уйду с этой должности, покину этот пост и снова стану «рядовым», они, эти люди, уже каким-то третьим взглядом будут смотреть? Эх...

— Остается ли актуальным сегодня лозунг Ленина о том, что из всех искусств для нас важнейшим является кино?

— Да, остается. И оно сейчас теснит телевидение, видео. Все равно, конечно, в основе этого натиска так или иначе лежит кинематограф, его формула, его опыт. Много фильмов мы смотрим по ТВ. Правда, в этих случаях исчезает зрелище, соборный эффект восприятия, ведь мы смотрим фильмы разобщенно, не в зале, в своих квартирах, теряется феномен коллективного сопереживания, соучастия в действии, а это очень важный момент.

Видео можно остановить, отмотать ленту в обратную сторону или ускорить действие. А это разрушает эффект цельного восприятия. Тем не менее я думаю, что кинематограф все более является важнейшим из искусств, потому что люди, к сожалению, все меньше читают и все больше смотрят. Тревожит, конечно, что падает посещаемость кинотеатров. Но это уже особый разговор, почему она падает. Она падает нынче во всех странах, кинематограф перестал во многом удовлетворять людей, снизилось его качество, он исхалтурился, потерял элемент первоощущения, новизны. В кино люди идут, стоят в очередях за билетами, но смотрят уже с большим разбором, идут не вообще в кино, а на конкретного режиссера,

актера, на конкретное событие или тему, ставшую предметом создания фильма. Статистика констатирует, что самый частый зритель имеет возраст от 14 до 23 лет. Кинематограф должен учитывать это обстоятельство, не подстраиваться под него, но учитывать обязательно должен.

— А можно сказать, что нынешняя публика более интеллектуальна, положим, чем была двадцать лет назад?

— Образованней? Наверное.

— Отсюда, наверное, и выборочность?

— Считаю, что кинематограф вообще должен представлять возможность выбора, он должен быть разнообразней. Пусть зритель выбирает, что ему посмотреть и среди наших фильмов, и среди тех, которые мы закупаем.

— Сколько фильмов в год мы производим?

— Примерно сто пятьдесят.

— Эта цифра растет?

— Нет, несколько лет уже держится стабильно. Наверное, она удовлетворяет и нашу кинопромышленность, и нашего зрителя. Примерно столько же делаем мы сегодня и телефильмов.

— Какой фильм по количеству копий побил рекорд?

— Рекордную цифру копий, и я ее запомнил, потому что она была невероятная, получил документальный полнометражный фильм «Наш Никита Сергеевич» — 4000 копий. Но, думаю, не потому, что все так жаждали его смотреть, а совсем по другой причине.

— А игровые, художественные?

— Рекордсменами проката являются два фильма: «Пираты XX века» — 86,7 миллиона посещений и «Москва слезам не верит» — 84,5 миллиона.

— Насколько рентабелен наш кинопрокат? Какой доход он дает государству?

— Кинематограф собирает порядка одного миллиарда рублей в год, из которого государство забирает 55 процентов налогов. Мы сейчас хлопчем о том, чтобы кинематограф не облагали налогом, иначе хозрасчетная реформа в кинематографе становится бессмысленной.

— А как оплачивается труд киноактера?

— Система оплаты далека от совершенства. Доста-

точно сказать, что во многом и поныне действуют расценки довоенные или послевоенные, они безнадежно устарели, отстали от жизни. По сравнению с зарубежными кинематографистами мы получаем гроши. И актеры, и сценаристы, и режиссеры.

— Какие-то цифры вы можете назвать. Наш обыватель считает, что артисты деньги гребут лопатой, ходят в дубленках и шубах, ездят на машинах, прожигают жизнь.

— Актеры в кино получают за один съемочный день от десяти до пятидесяти рублей. В зависимости от звания, категории.

— Но, если случается в течение года сниматься каждый день, действительно наберется большая сумма?

— Фильмы, как правило, снимаются за два-три месяца. Не каждый день и далеко не каждый актер занят на съемках ежедневно. Много людей занято в массовых сценах. Еще недавно один съемочный день стоил три рубля, теперь пять рублей. Но что такое пятерка в сегодняшней жизни? Расскажу забавный случай, который произошел во время съемок фильма «Прощание» на озере Селигер. Готовились снимать сельский праздник, танцы, русские песни. В отдаленную деревню за озером мы послали ассистенток подобрать людей для массовки. Собрали бабушек, женщин и сказали: «Откройте сундуки, достаньте свои старинные одежды, будет съемка. Съемка стоит пять рублей». Договорились. Приехали снимать. Пришли наши разнаряженные бабушки и все принесли по пятерке. Раз в кино снимают, за это платить надо, думали они, ведь это большая честь. Вот такой эпизод. А знаете, сколько стоит участие в массовке в Америке? 100 долларов и бесплатный обед.

А каковы, если бы вы знали, условия труда актера у нас. Как правило, никудышные, вредные для здоровья. Я был на американских съемочных площадках. Там стоят огромные фургоны, где можно отдохнуть, тут же гримерная, комната для отдыха, все условия для гигиены!

Почему так? Потому что по их капиталистическим понятиям выгодно, рентабельно заботиться о людях, дать им заработать и себя не забыть. А если что, профсоюзы на страже, требующие человеческих условий работы.

— А за прокат советских фильмов за рубежом его авторы получают гонорары?

— Нет. И это в корне неправильно. А делается так: если фильм продан в какую-то страну, то к цифре просмотревших картину людей автоматически плюсуется еще 250 тысяч... советских зрителей. Но почему так? Почему такая уравниловка? В одной стране фильм идет с большим успехом, широко, в другой всего лишь несколько показов.

Мы ничего не получаем и за прокат ленты по телевизору. И абсолютные гроши, просто смехотворные, получаем за перевод ее на видеокассеты.

— А прокат наших фильмов за рубежом приносит финансовый доход?

— Получается, что, зарабатывая какие-то деньги, мы тратим их на приобретение иностранных фильмов, а потом на этих иностранных фильмах зарабатываем уже рубли.

— А кто отбирает импортные фильмы для показа в Советском Союзе?

— Закупочная комиссия.

— А кто в нее входит, вы можете назвать имена? Все-таки интересно, кто решает, что смотреть советскому зрителю. В отборе бывают и удачные ленты, но, к сожалению, много слабых фильмов.

— В комиссии 52 человека, люди разных профессий. Так, например, писатели Бакланов, Боровик, Бондарев, Чаковский, киноведы Юренев и Фрейлих, актрисы Клара Лучко и Тамара Макарова, представлены и Академия наук, и Академия педнаук, МВД, МИД, МГК КПСС.

— Как вы относитесь к идее международного сотрудничества кинематографистов?

— Поддерживаю ее. Нам сегодня, как никогда, нужны связи с миром, культурные, профессиональные, человеческие. Особенно ощутимо мы это почувствовали в последнее время. Наша страна занята перестройкой, о нас спрашивают повсюду, нами жадно интересуются, с нами ищут контактов. Наша страна, наша культура — это духовный, философский, идейный потенциал человечества, накопленные нами лучшие традиции не утрачены, они с нами. Эпоха перестройки их только обогащает. Так

почему же нам сегодня отказываться от любой мало-мальской возможности общения, стремления к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми разных стран? В том числе и между режиссерами, актерами, продюсерами, зрителями — тысячами, миллионами людей. В конце концов духовная сумма этого общения не идет ни в какое сравнение с суммой валюты, полученной тем или иным, подчас действительно цинично стремящимся подразниться на Западе, советским кинодеятелем.

— Элем Германович, завершая нашу беседу, снова и снова хочу повторить свой вопрос: что будет с нашим кино? Каким будет наше кино? Когда появится наше новое кино, достойное эпохи демократии, гласности?

— Что будет с нашим кино? Любые пророчества — неблагодарное занятие. Так, кажется, говорят? Давайте вместе пожелаем нашему кинематографу — а это искусство великих революционных, духовных традиций — поскорее подняться на новую, качественно новую ступень своего развития. Пожелаем ему не на словах, а на деле повернуться лицом к своему зрителю, лучше узнать его дела, заботы, боли и радости. И говорить с ним, как с равным, а не как с недоумком, не минуя в этом разговоре и самых сложных мест. Только тогда мы вернем к себе и доверие, и уважение. Не у всех еще выпали зубы от постоянного кормления с ложечки подслащенной манной кашей. Зубы еще есть, было бы что жевать. Пожелаем кинематографистам побыстрее выговориться, памятуя, что слишком долго мы творили в узде, с шорами на глазах. Может быть, и произойдет на какой-то период перекося в так называемую «чернуху», не будем пугаться, не будем шарахаться, снова «тащить и не пущать». Мы ведь сейчас как бы заново все увидели.

Вспомним и старую аксиоматическую истину, что главная цель искусства — формировать духовный, нравственный идеал, возвращать и возвращать душе чувство гармонии и красоты. Не уставать напоминать человеку, что он существо достойное, божественное, «вертикальное», а не «горизонтальное», пользуясь образным выражением нашего удивительного соотечественника философа Федорова (да, спорного, спорного, конечно!). Раз уж вспомнил Николая Федоровича, вспомню и других героев нашей великой истории. Декабристов, к примеру.

Напомнить бы зрителям о них не очередной олеографией, а фильмом о трагедии великого и отчаянного дела, о слабостях человеческих, таких нам близких и понятных. А Герман Лопатин? Можно ли так прожить свою жизнь? Оказывается, можно. Вот уж вам настоящий максималист. А истовый, неукротимый протопоп Аввакум! Циолковский Константин Эдуардович. Что мы знаем о нем по-настоящему? Как отвечал он себе в тиши калужского домика на главный вопрос жизни, который себе же и задал: «Зачем все это?» Известна ли нам его мечта о светозарном человечестве? Вернадский, Чижевский, Вавилов... Чистые страницы, предмет возможного интереса мастеров экрана. Пушкин, наконец (с Лермонтовым мы уже разобрались).

Не забудем, надеюсь, и людей сегодняшних, ныне живущих на одной с нами земле, рассеянных по огромной нашей равнине. Скромных, добрых, злых. И зачастую очень бедных. Это они в отдалении своих деревень и поселков смотрят наши московские телепередачи, как сигналы с Марса. Что мы знаем о них, об их жизни? А они — это всё. И мы от них.

XXI век. Я жду от него самого главного открытия. Должен произойти решительный сдвиг в самой отсталой науке и самой важной — науке о человеке. Том самом, который «мера всех вещей». О котором знаем пока ничтожно мало. И кинематограф с его возможностью заглянуть в глубину наших глаз, в пропасть человеческой души пусть движется параллельно научным изысканиям, способствует им, а в чем-то вдруг и опережает. Если не ошибаюсь, Андрей Платонов в письме к жене писал: «Невозможное — невеста человечества. К невозможному летят наши души». Будем же ставить себе «невозможные» задачи, попытаемся отвечать на «проклятые» вопросы. Иначе не будем двигаться вперед. «А остановка — это смерть» (закон жизни).

— Расскажите, как вам чуть не поставили памятник...

— А, это было после «Агонии». Она уже «отдыхала на полке», но надежды еще теплились. Меня пригласили в довольно большой кабинет. Хозяин кабинета, человек ко мне сочувственно относившийся, знал тогда мое положение лучше меня. «Вот что, а не сделать ли тебе юбилей-

ный фильм к 60-летию февральской революции с переходом в Октябрьскую, короче, о семнадцатом годе. Сделаешь — памятник поставим при жизни». Я спрашиваю: «А до иконы можно дотронуться?» «Нет, нельзя». «А хотя бы пыль стереть?» «Нет». «А правду о тех событиях показать, назвать все исторические персонажи?» «Нет, — говорит, — не стоит». «Ну, — говорю, — тогда памятника мне не надо».

А ведь поставили бы. Жаль.

Январь 1988 г.



Сергей МИХАЛКОВ

ШЛЮЗЫ, А НЕ КИНГСТОНЫ

Подождите меня, я скоро вернусь!..

Из окон его квартиры на шестом этаже виден старинный особняк. В клумбово-скамеечном полукружье — сидящая фигура классика. Когда смотришь вниз из-за гардин, упираешься в Льва Толстого.

...Неожиданно его вызвали в высокую инстанцию, очень высокую, и мы прервали наш разговор. Два часа просидел я в его рабочем кабинете. Но времени даром не терял.

Грамота о присвоении звания Героя Социалисти-

ческого Труда. Подпись: Н. Подгорный. Под стеклом — сверкающие в утренних лучах медали, знаки отличия. Любой нумизмат умер бы от зависти.

Портреты писателя маслом. На фотографии — создатели Государственного гимна Советского Союза. Среди них — мой собеседник.

В овальной рамке Лафонтен, чуть поодаль — Иван Крылов.

Резьба по кости. На сюжеты его басен. На мамонтовом бивне. Бивню — двадцать миллионов лет. Басням — сорок. «Дальновидная сорока», «Енот да не тот», «Нужный Осел».

Картины художника П. Кончаловского — его тестя, В. Сурикова — деда жены.

На письменном столе — фотография Ленина.

Грамоты о почетном гражданстве в Пятигорске, Георгиевске, Габрове...

Улыбающиеся, знаменитые на весь белый свет сыновья-режиссеры.

Книжные шкафы. Десятки названий: собрания его сочинений, объемистые сборники, тонюсенькие копеечные малышки. Прикинул общий тираж: почти двести миллионов экземпляров. Прикинул...

Родословное древо. Истоки в XV веке. Это не шутки. Одна из древнейших русских фамилий. Воеводы, служивые люди, дьяки, стольники, воины — защитники отечества. Дворянство.

В углу — огромные дорожные чемоданы. Хозяин их легок на подъем. Сегодня Грозный, завтра Париж.

Над дверью элементарная железная подкова. Символ удачи? Возможно, помогает.

— В этом кресле, — говорит Полина Николаевна, она ведет дом давным-давно и помнит хозяина всегда знаменитым, — любит сидеть наш классик...

И тут раздался звонок в дверь.

Сергей Владимирович Михалков — человек-эпоха. Его биография невероятна. Я не знаю другого в конгломерате людских судеб, жизнь которого была бы так богата.

Как распутать перипетии человеческой судьбы?! Тронул тонюсенькую ниточку и потянулось: великое, смешное, трагическое... Сиротство, страсть к литературе, без-

ответные чувства к русоволосой и голубоглазой, звонок из ЦК ВКП(б), Сталин, трагедии, знаменитые шальные друзья...

Невозможно представить наше время, да что там наше — последние полвека, без двухметровой, гвардейской фигуры дяди Степы — Михалкова. И знать стихи Михалкова, и не знать их — давно уже стало моветоном. Их знали наши прабабушки и прадедушки, их будут заучивать наши правнучки и правнуки. «Дядя Степа», «Дело было вечером, делать было нечего», «Упрямый Фома» — понятия, навечно прописанные в детской литературе.

Остроумный, невозмутимый, доверчивый, философски на все смотрящий с высоты своего роста и величия — Сергей Михалков. Я был поражен, как однажды он открывал крупнейший международный литературный форум. Публика чинно расселась, наши, не наши, молодые, уходящие, начинающие, великие; повывимали из карманов и дипломатов золоченые «Паркеры» и двухкопеечные карандаши; деловито пристроили наушники, включили каналы синхронного перевода, замерли и вдруг:

— Начнём, ребята!

Отец, сын и слуга своего времени, он весь переполнен памятью и парадоксален. Волей-неволей он готовил и нынешние перемены — ну хотя бы своим «Фитилем», одним из оазисов перестройки до перестройки, его лакмусовой бумажкой.

Он ошибался, и сегодня он находит мужество не скрывать этого. Да, ошибался, точнее сомневался, правильно ли поступал в том или ином случае. Успокаивало то, что, если поступил бы иначе, его бы просто не поняли. Наивно? Да. Но честно. Не скрывает. В дни позорной вакханалии вокруг имени Пастернака был с большинством. Одобрял, голосовал. Давно уже понял, что не надо было так поступать. Это честно, ибо некоторые до сих пор не поняли.

Добрый по натуре, участливый, он всегда считал обязательным доброжелательно вмешиваться в людские судьбы, если верил, что человек несправедливо обижен или если человеку необходима немедленная помощь. Использовал для этого все: служебное положение, депутатские

возможности, свою популярность, свое имя, наконец, чтобы помочь, вызволить, облегчить. Лекарства, квартиры, издания, членство, билеты, выезды — о чем он только ни хлопотал. «Вертушка» ему не нужна: он снимает трубку, называет себя, и с ним разговаривают министры, недоступные для простого смертного столоначальники. Он никогда не робел перед вышестоящими чинами и чиновниками, разговаривал с ними независимо — за плечами богатая школа общения с людьми, облеченными властью.

Сергей Владимирович Михалков. Вот он уверенно, неторопливо шагает по Москве. По жизни. По литературе. Его все знают и узнают. Сверхпопулярность?

Его можно любить. Его можно ненавидеть. Он прощает. Хочет снисходительности и к себе. Позади и счастливая, и драматическая судьба. Нелегкая ноша служения своему времени.

Но он пришел к нам «через головы поэтов и правительств». Мои вопросы к Сергею Михалкову были самыми элементарными: «когда?», «с кем?», «где?», «за что?», «почему?», «знал ли?», «участвовал ли?», «сомневался ли?», «верил ли?». Меня интересовали ответы. А комментари и вопросы к ответам — за читателями. Пусть думают.

— Однажды на пресс-конференции в Италии меня спросили: «Почему вы, известный при Сталине человек, уцелели? Давид Кугультинов был репрессирован, а вы — нет?» Я ответил: «Даже самые злостные браконьеры не могут отстрелять всех птиц».

В отличие от судеб других литераторов моя жизнь действительно складывалась благополучно, хотя каждый из нас ходил по острию ножа. А теперь мы знаем, что неприкасаемых во времена культа личности не могло быть. Многие выдающиеся полководцы, государственные и партийные деятели, крупнейшие хозяйственники, видные деятели культуры безвинно пострадали в тюрьмах и лагерях.

Мне кажется, что жизнь человека состоит из цепи случайностей. Оглядываясь с высоты 75 лет на прошлое, перебирая в памяти события своей жизни на глазах у людей, жизни, вобравшей все перипетии нашей эпохи, я

всерьез думаю о банальной вещи — о его величестве случае.

Мой отец, выходец из русской дворянской семьи, один из основоположников советского промышленного птицеводства, автор многих работ по этой отрасли, умер в 1932 году, не успев принять кафедру профессора в Воронежском сельскохозяйственном институте. Умер он в городе Георгиевске от воспаления легких, ему было 46 лет. Я к тому времени уже два года жил в Москве. Сначала работал на Москворецкой ткацко-отделочной фабрике разнорабочим, потом — рабочим геологоразведочной экспедиции в Восточном Казахстане. Писал стихи. Семья наша пока продолжала жить в Георгиевске, жила чрезвычайно скромно. На меня легла забота о матери и двух младших братьях. Они перебрались в Москву и устроились «на птичьих правах»: все мы разбрелись по родственникам и знакомым.

Но кто знает, как повернулась бы моя судьба, если бы отец был жив? Смог бы он с его происхождением, знанием иностранных языков, с его научным трудом под названием «Почему в Америке куры хорошо несутся», с его дружескими связями не стать «врагом народа»? Маловероятно. А значит, и я не стал бы писателем и вряд ли давал бы сегодня это интервью. Более того, уже начинающим писателем я дружил с Михаилом Герасимовым, Борисом Корниловым, Павлом Васильевым, Ярославом Смеляковым, которых постигла тяжелая участь. Мне, видимо, везло.

— Что значит «везло»? Спасал случай?

— Во многом. Ну вот хотя бы такой пример. Мне безответно нравилась одна девушка. Она училась со мной в Литературном институте им. Горького, который я, к сожалению, не окончил по семейным обстоятельствам — нужно было содержать семью. Работал я тогда в отделе писем газеты «Известия» и уже начал печататься. Так вот, в «Известиях» у меня шло стихотворение «Колыбельная», которое я до сих пор публикую. В клубе писателей я встречаю свою девушку и в шутку говорю: «Хочешь, я напишу сегодня стихотворение и посвящу его тебе, а завтра ты прочитаешь его в «Известиях»? Светлана, так звали мою знакомую, только усмехнулась в ответ. Я же поспешил в редакцию и назвал стихотворение

«Светлана». Ну, думал, теперь уж наверняка сердце Светланы будет завоевано.

Но так вышло, что я «завоевал сердце» совсем другого человека. Я был назавтра вызван в ЦК ВКП(б), и ответственный работник С. Динамов мне сказал: «Ваши стихи, молодой человек, понравились товарищу Сталину. Он поинтересовался, как вы живете, не нуждаетесь ли в чем?»

Я поведал о своем неустроенном житье-бытье.

Так благодаря случайным стечениям обстоятельств, в том числе и тому, что дочь Сталина звали Светланой, моя жизнь изменилась. А русоволосая девушка, ради которой «Колыбельная» превратилась в «Светлану», продолжала меня игнорировать...

На меня обратили внимание, мои стихи, опубликованные в журнале «Огонек», перепечатала «Правда».

Чем мы, мододые литераторы, жили в те годы? У нас на устах были слова: Абиссиния, челюскинцы, Испания, германский фашизм, Чкалов, Папанин, Громов... И мы откликались в своих произведениях именно на эти темы, и откликались искренне. Сталин был для нас человеком с большой буквы. Конечно, нас тревожило, что исчезали люди, что кого-то исключают из партии, арестовывают, ссылают, но мы думали, что это наверняка за дело. Разве могли мы не доверять официальной информации? И в то же время каждый из нас после очередного тревожного сообщения, безусловно, чувствовал себя тоже незащищенным.

В 1938 году Александр Фадеев пишет обо мне статью в «Правде». Я тогда был уже автором «Дяди Степы» и по совету Фадеева, Маршака и Чуковского писал в основном для детей.

В 1939 году произошло заметное событие в литературной жизни — первое награждение большой группы писателей. Вместе с С. Маршаком, М. Шолоховым и В. Катаевым меня наградили орденом Ленина. Мне было тогда 26 лет. Как мне казалось, я крепко встал на ноги, а присуждение в 1940 году Сталинской премии за книги для детей, может быть, опять стало для меня своеобразной «охранной грамотой».

22 июня 1941 года я с группой писателей находился в Риге. Услышав рано утром по радио сообщение о том,

что нужно ждать другого важного сообщения — выступления Молотова, я тут же сел в поезд и уехал в Москву. Я понял, что вот-вот начнется война, потому что услышал немецкую фразу: «Всем судам немедленно вернуться в порты своей приписки». Случилось неотвратимое. Бомбили станцию Даугавпилс, но наш состав благополучно ее проскочил. Приехал в Москву и встретившей меня около дома матери сказал, что иду в политуправление. До сих пор помню ее слова: «От службы не отказывайся, на службу не навязывайся». 27 июня по предписанию ГЛАВПУРа я выехал на Южный фронт.

— А как вам повезло стать автором Государственного гимна Советского Союза?

— Да, повезло, но не автором, а соавтором.

В 1943 году я со своим другом Габриэлем Эль-Регистаном работал в центральной газете ВВС «Сталинский сокол», куда меня направили после контузии в Одессе. Летом приезжаем в Москву с фронта. Совершенно случайно узнаю, что правительство приняло решение создать новый Гимн СССР. Для работы над текстом пригласили большую группу поэтов, в основном песенников. В тот же день я рассказал об этом Эль-Регистану. На следующее утро ко мне является мой друг и говорит: «Я видел сон о том, что мы с тобой авторы текста Гимна, я даже записал какие-то слова». И показывает гостиничный счет, на котором что-то записано. Так началось и мое участие в создании Государственного гимна СССР. Комиссия во главе с К. Ворошиловым и А. Щербаковым прочла и прослушала десятки текстов и вариантов музыки. Однажды Ворошилов приглашает нас с Регистаном в Кремль и сообщает: «Товарищ Сталин обратил внимание на ваш текст, будем работать с вами...» Как-то Сталин позвонил мне домой в час ночи, извинился за поздний звонок и сказал, что они слушали Гимн, что впечатление куце — мало текста, нужен еще куплет. Я спросил: «О чем?» — «О нашей армии». «Мы армию нашу растили в сраженьях», — так родился этот третий куплет. За время работы мы неоднократно встречались со Сталиным. Вносили поправки по его замечаниям, пока наконец текст и музыка не были окончательно утверждены. В ночь на 1 января 1944 года новый Гимн Советского Союза впервые прозвучал по Всесоюзному радио.

Надо сказать, что последнее прослушивание Гимна проводилось в Большом театре, где исполнялись гимны всех стран мира. После прослушивания нас пригласили в ложу правительства — к накрытому столу. Сталин нас встретил и сказал, что по русскому обычаю надо «обмыть» Гимн. Посадил рядом. Здесь же были члены Политбюро: Калинин, Молотов, Ворошилов, Берия, Микоян, Хрущев, приехавший с Украины, другие товарищи. Мы находились в ложе до пяти часов утра. Говорили в основном Эль-Регистан, я и Сталин. Остальные молчали. Когда было смешно, все смеялись. Сталин попросил меня почитать стихи. Я прочитал «Дядю Степу», другие веселые детские стихи. Сталин смеялся до слез. Слезы капали по усам. Во время разговора Сталин цитировал Чехова, он сказал такую фразу, я ее запомнил, что «мы робких не любим, но и нахалов не любим». Тосты поднимали мы и товарищ Щербаков. Сталин сделал нам замечание: «Вы зачем осушаете бокал до дна? С вами будет неинтересно разговаривать». Он спросил меня, партийный ли я. Я сказал, что беспартийный. Он ответил: «Ну ничего, я тоже был беспартийным». Нашими биографиями Сталин, видимо, не интересовался. Регистана он иронически спросил: «Почему вы Эль-Регистан? Вы кому подчиняетесь: католику или муфтию?»

Такова вкратце история с созданием Гимна.

Что мы могли сказать о Сталине тогда, в то время? Сталин был для нас — Сталиным... А мы, русский и армянин, Михалков и Эль-Регистан, два беспартийных офицера Красной Армии, — авторами текста Государственного гимна СССР. И только впоследствии мы узнали, что в то же самое время нашего друга, сотрудника газеты «Красная звезда» полковника Николая Николаевича Кружкова допрашивал в КГБ генерал Абакумов: «Твои дружки Михалков и Регистан давно у нас и во всем признались».

Об этом позже рассказывал нам сам Н. Н. Кружков, к тому времени полностью реабилитированный и работавший в «Огоньке». Но нас никто не трогал. Очевидно, не очень просто было скомпрометировать в глазах Сталина тех, кому суждено было стать авторами слов только что утвержденного Государственного гимна СССР. Вот так и

эта работа оказалась для меня снова как бы «охранной грамотой».

Еще одна «небольшая» деталь: однажды, когда мы с Регистаном вышли из кабинета Сталина, за нами вышел Берия. «А если мы вас отсюда не выпустим?» — мрачно «пошутил» он.

В иных обстоятельствах эта «шутка» стоила бы нам дорого...

— Вы просто фаталист, Сергей Владимирович, и, мне кажется, вы во всем доверились судьбе?

— Нет, я не фаталист, но моя жизнь — это действительно цепь случайностей, игра судьбы. Вообще мне кажется, что кроме фашистского плена я ничего не боялся.

— Даже Сталина?

Вообще, расскажите о встречах с этим человеком. Что вы думали о нем тогда и что думаете о «великом из великих» сейчас, в наши дни?

— Однажды в музее Сталина в Гори меня попросили оставить запись в книге посетителей. Я написал: «Я в него верил, он мне доверял». Наивно? Может быть. Ну что я мог еще написать?! Так ведь оно и было! Это только сейчас история открывает нам глаза, и мы видим, что Сталин был непосредственно повинен в тех жертвах, которые понес советский народ.

Фигура Сталина — очень противоречивая: тиран, палач... Но трудно понять, почему он поддерживал хороших писателей, режиссеров, актеров? И в то же время не менее талантливые люди сидели в тюрьмах, уничтожались.

Я согласен с формулировкой Д. Волкогонова в его статье о Сталине, напечатанной «Литературной газетой»: жизнь Сталина — триумф и трагедия. Как осмыслить, например, такой эпизод? Однажды меня с огромным трудом разыскали на фронте и привезли к командующему Курочкину. Тот говорит: «Срочно звоните товарищу Ворошилову, он интересовался, где вы пропадаете?» Дозваниваюсь до Ворошилова. Слышу в трубке: «Товарищ Сталин просит у вас узнать, можно ли изменить знак препинания в такой-то строке?»

Что это?! Тысячи замученных людей, а тут знаки препинания.

— За какие произведения вы получили Сталинские премии?

— Первую — за стихи для детей. Вторую — за сценарий кинофильма «Фронтовые дороги». Третью — за пьесы «Я хочу домой» и «Илья Головин». Я был представлен и к четвертой премии — за басни. Но при обсуждении на Политбюро списка кандидатов на премию, который зачитывал Маленков, Берия с усмешкой спросил: «Это что, за «Лису и Бобра», что ли?» Воцарилось молчание. Все ждали реакции Сталина, прохаживающегося по кабинету. После большой паузы Сталин произнес: «Михалков — детский писатель».

В опубликованном списке награжденных моей фамилии не значилось. Свидетелем этого обсуждения был Н. С. Тихонов, который мне о нем и рассказал.

— А за что вы удостоены Государственных премий?

— Одну премию я получил за организацию и работу сатирического киножурнала «Фитиль», другую — за спектакль «Пена» в Театре сатиры.

— Вы назвали «Илья Головин», ту пьесу, которая шла на сцене МХАТ им. Горького. Тот, кто знает содержание этой пьесы и время ее написания — сразу же после печально знаменитого постановления ЦК ВКП(б) о музыке, — тот вправе спросить: пьеса явилась вашим откликом на это постановление?

— Не скрою. Главную роль исполнял незабвенной памяти артист В. Топорков. Музыка к спектаклю написал Арам Хачатурян, имя которого, кстати, тоже фигурировало в постановлении. В некотором смысле пьеса была как бы конъюнктурной, так сказать, написанной по свежим следам жесткого несправедливого постановления. В моей пьесе утверждался примат народности искусства в борьбе с искусством абстрактным. Впрочем, я и сейчас стою на этой позиции. Спектакль имел успех. И тем не менее его появление на сцене выглядело желанием угодить партийной власти. Я сожалею об этом.

— Ваше отношение к Жданову, о котором сейчас много пишут и говорят?

— Жданова я лично знал плохо. Не общался с ним. Но его расправа с Ахматовой и Зощенко меня ошеломила. Я не понимал смысла его действий. Больше я о нем ничего сказать не могу, ибо только один раз видел его вблизи, когда он играл на рояле, а Сталин пел деревенские частушки. Это было 22 мая 1941 года, когда Сталин

пригласил небольшую группу первых лауреатов Сталинской премии и показал нам фильм «Если завтра война». Ровно через месяц она началась...

— А что вы сегодня думаете о Хрущеве?

— Хрущев, безусловно, очень много сделал в свое время для изменения обстановки в стране: началась реабилитация невинно осужденных во время культа, он первый заговорил о всеобщем разоружении. Самобытная личность, крепкий крестьянский ум! Помню, на одном из писательских съездов Хрущев делал доклад — большой, длинный доклад. Довольно интересно было его слушать. Он говорил о многом, если не обо всем. Но всего все-таки не сказал. После доклада ко мне подошли наши чиновники от литературы, которые недвусмысленно заметили, что, мол, дело мое проиграно: «Хрущев о сатире ничего не сказал. Не сказал ни слова. Значит, нужна ли она теперь?» Вот такие были времена... Чиновники только и прислушивались к каждому слову свыше — не сказано, значит, не надо.

Я понимал, что надо исправить положение, надо, чтобы Хрущев хотя бы несколько слов сказал о сатире. И вот на приеме в Георгиевском зале я подошел к Хрущеву и заговорил о сатире: «Что такое? — удивился Хрущев. — А почему я должен был еще что-то сказать?!» «А потому, — говорю я, — что каждое ваше слово начинают цитировать, изучать, и если вы ничего не сказали о сатире, значит, Никита Сергеевич, вы к этому жанру плохо относитесь, и это будет иметь роковые последствия не только для литературы...» «А где же мне это сказать?» — спрашивает Хрущев. «А вот сейчас и скажите прямо в микрофон». Хрущев подошел к микрофону и обратился к залу: «Вот тут товарищ Михалков говорит, что я ничего не сказал о сатире. Сатира нам нужна, она нам очень помогает!» — и повернулся в мою сторону: «Ну вот я и сказал». Я опять обращаюсь к нему: «Надо, Никита Сергеевич, чтобы слова ваши попали в стенограмму доклада». Хрущев позвал редактора «Правды» П. А. Сатюкова и дал указание: «То, что я сейчас сказал о сатире, вставьте в доклад». Этот эпизод лишний раз возвращает нас к временам, когда руководящее мнение, компетентное или некомпетентное, волюнтаристски могло решать очень многое.

Вспоминается один из пленумов ЦК. Раньше на пленумы приглашалось много гостей. И вот однажды перед началом очередного пленума ЦК ко мне обратились некоторые товарищи, ратовавшие за сохранение памятников старины. То есть за то, что сейчас с таким успехом утверждается и поддерживается правительством. Они попросили меня передать Хрущеву письмо, в котором предлагалось создать общество охраны памятников культуры. Об этом я, собственно, и говорил с трибуны. Передаю письмо Хрущеву, а он не берет. «Не возьму», — говорит. Я настаиваю: «Никита Сергеевич, очень прошу взять, люди просили, и сам я всем сердцем за это дело». Он опять: «Не возьму!» Я — в дурацком положении: на глазах у всего пленума идет между нами обмен репликами. В конце концов Хрущев уступил и с сердитым видом принял письмо. И вот я жду, когда кто-нибудь из выступающих меня поддержит. Ни один человек не поддержал! Ни один. В заключительном слове Никита Сергеевич говорит: «Вот тут Михалков и Паустовский защищают памятники старины», — и... выступил против содержания переданного мною письма. И тут же, на трибуне, что-то порвал. Не знаю, что именно: то ли текст письма, то ли какие-то свои заметки. По всей Москве поползли слухи: дескать, Михалков вылез и получил по мозгам. Злые языки всегда найдутся. Но в конце концов общество по охране памятников истории и культуры было создано, и сегодня оно достойно служит Отечеству.

Правда, о том же пленуме остался в памяти и более веселый эпизод. Два первых секретаря райкомов, серьезные люди, сидят и хохочут. Хрущев из президиума им говорит: «Вы что, на концерт пришли? Что вы там смееетесь?!» Один из них отвечает: «Извините, мы тут басни Михалкова читаем». Они книжку мою купили в киоске. Вот так всегда: серьезное и смешное бывают рядом. Бывало так и в моей жизни.

— А как относился к сатире, к критике Брежнев?

— Я однажды спросил у Брежнева:

— Леонид Ильич, ваше мнение о «Фитиле»?

Он говорит: «Неприятно смотреть».

Как-то спросил Мазурова:

— Кирилл Трофимович, «Фитиль» смотрите?

— Смотрю.

- Ну и как?
- Три ночи потом не сплю.
- Ну так что, может, его прикрыть? — пошутил я.
- Нет-нет, он нам нужен!

А выступая чуть позднее в Баку, Брежнев поддержал «Фитиль», когда я ему сообщил, что острый сюжет, затрагивающий честь мундира азербайджанских руководителей, не допущен в прокат.

Какие парадоксы! С одной стороны — застой, с другой — поддержка «Фитиля»!

— Сергей Владимирович, в книге американского журналиста Баррона говорится о том, что вы и ваша супруга агенты КГБ. Вопрос, я понимаю, деликатный, правда, не с точки зрения Баррона.

— Насчет жены не знаю. Но вспоминаю вот что.

Смерть Брежнева застала меня в Испании. Требуя комментариев к событиям, происшедшим в Советском Союзе, журналисты мне, как депутату Верховного Совета СССР, не давали прохода. Все спрашивали об одном: «Как вы смотрите на то, что во главе страны будет теперь шеф КГБ Юрий Андропов?» Когда наиболее приставучий газетчик довел меня до белого каления, на помощь мне пришел присутствовавший при беседе испанец. «Что ты к нему пристал? — набросился он на соотечественника. — При чем тут Комитет государственной безопасности? Да у них в СССР большинство людей думают о безопасности государства!»

Мне не раз приходилось встречаться с Л. И. Брежневым. Он производил на меня впечатление доброжелательного и контактного человека. Необъяснимо быстро Брежнев утратил связи с реальностью. Наверное, потому, что по характеру был сибаритом. Как говорится, «красиво жить не запретишь». Но когда такой личности придается бесконтрольная власть, создаются все условия для удовлетворения ее любых потребностей. А угодничество и вседозволенность окружающих как бы стимулируют безнаказанность в тех слоях общества, для которых личное благополучие превыше всего. Нарушения социалистической законности — приписки, казнокрадство и коррупция, парадность, показуха, тотальный бюрократизм в годы застоя при попустительстве высшей иерархии в государственном аппарате разъедали общество, тормози-

ли его развитие. Здоровые же силы практически не имели возможности противостоять этой беспринципности чиновников и руководителей. Колесо истории катилось не в ту сторону. Рождалось недоверие и к тому, что провозглашалось с трибун, и к средствам массовой информации. Но вот Генеральным секретарем партии становится Ю. В. Андропов, честнейший и скромнейший коммунист, все видевший со своего поста председателя Комитета государственной безопасности, но в условиях полного забвения демократизма и гласности не имевший возможности содействовать коренному изменению обстановки в стране. Для всего нужны соответствующие условия...

— Может быть, мы поговорим о роли личности в истории?

— Когда меня сегодня спрашивают за границей о Михаиле Сергеевиче Горбачеве, я говорю, что сама жизнь выдвинула его на пост Генерального секретаря. Пришло время нового мышления.

Вспомним: при Сталине человека могли оклеветать, убрать с дороги, арестовать, уничтожить... При Хрущеве можно было попасть в такую немилость, в какую попали тогда, скажем, поэт Андрей Вознесенский, кинорежиссер Марлен Хуциев, скульптор Эрнст Неизвестный, некоторые другие. Несправедливый гнев руководителя партии — и поэты перестали печатать, художника выставлять. Разгромные статьи в прессе предавали остракизму имя человека. В первую очередь вспоминаю о Борисе Пастернаке. В обстановке морального террора, развязанного вокруг имени Пастернака, многие писатели, в том числе и я, не нашли в себе гражданского мужества и согласились с решением об исключении его из Союза писателей. И приветствовали это решение. Сегодня горько об этом вспоминать. Время ставит все на свои места. При Брежневe многие, очень многие на себе почувствовали, куда уводит разрыв между словом и делом, угнетала общая нестабильность. Только при Юрии Владимировиче Андропове атмосфера общественной жизни начала оздоравливаться. Но судьба отпустила ему так мало времени...

Что такое лично для меня перестройка? Это совсем иное отношение к жизни. Я, например, честно говоря,

порою шел на поводу вместе со всеми. Не один, а вместе со всеми. Однако, когда громили Владимира Дудинцева за его прекрасную повесть «Не хлебом единым», я единственный выступал в его поддержку. Это было в Дубовом зале Центрального Дома литераторов.

Долго, например, я боролся за реабилитацию честно-го имени художника-оформителя К., которого оклеветали, арестовали, обвинили, посадили, состряпав на него уголовное дело. Более четырех лет я писал, ходил во все инстанции, потому что был уверен: суд свершен над ним несправедливый. В конце концов его не только реабилитировали, но еще и извинились перед ним. А между тем к К. лично я не имею никакого отношения. Но меня тогда возмутило огульно сфабрикованное обвинение.

Дело в данном случае, конечно, не во мне одном, я не тяну на себя одеяло. Я просто знаю, что и во времена культа, и во времена застоя всегда находились честные, мужественные люди — коммунисты и беспартийные, которые не могли не сделать того, что надо было пытаться делать во имя справедливости. Когда невозможно было доказать что-то Рашидову, Щелокову, Чурбанову или Медунову, когда с трудом удавалось пробиваться к правде, тогда приходилось ждать подходящего момента для какого-то ходатайства, заступничества.

У меня есть басня «В нашем доме». В ней я рассказал о сантехнике Степане. За три рубля он сменит вам прокладку, за два рубля починит кран, если он течет. Без Степана дом не может обойтись. Но вот однажды затопило все этажи и снова позвали того же Степана и говорят: «Можешь помочь, у нас наводнение». Степан отвечает: «Могу, но не лучше ли сменить всю эту систему?» Не систему строя, а сменить систему управления, систему хозяйствования, систему наплевательского отношения к людским заботам.

— Забота о человеке «в нашем доме» до недавних пор была «праздником непослушания» со стороны предрержащих власть чиновников. Этим праздником они ограничивали, мягко говоря, свободу своих действий.

— А что вы думаете о понятии границ демократии и гласности?

— Любая свобода не отрицает порядка. Только гуляя по лесу, но без топора в руках, человек может ощущать

относительно полную свободу. Полная свобода в любом обществе переходит в анархию. Я написал об этом сказку для детей «Праздник непослушания».

Безграничной свободой наслаждаются, пожалуй, только настоящие йоги: они сидят, никого не трогают, никому не мешают — пребывают в нирване, это, как утверждают специалисты, свобода духа. Но если ты свой дух навязываешь другому?

Разве не готовили перестройку те писатели, которые писали произведения острые, злободневные, смелые и печатали их чаще всего с великим трудом? Я имею в виду Абрамова, Думбадзе, Бондарева, Гроссмана, Бека, Троепольского. То, что Шолохов долгое время молчал, разве не показывало, что он за перестройку? Он не воспринимал какие-то явления в нашей жизни, поэтому молчал. Сложными были судьбы Овечкина, Дороша, Радова. Впереди времени шли Дворецкий, Шатров, Володин, Рошин.

Для меня же перестройка открыла новые возможности сатирика и общественного деятеля. Стало легче противостоять несправедливости.

Я встретил Октябрьскую революцию в возрасте четырех лет. Сегодня мне — семьдесят пять. Я воспитан советской школой, советским образом жизни, я — сын своего времени, прошел Отечественную войну; многого в своем времени, может быть, не понимал, да просто не знал, как и миллионы советских людей. И только после XX, а затем после XXVII съезда КПСС все мы прозрели.

Но я не могу затапывать прошлое в грязь и присоединяться к тем, кто пытается спекулировать на трагических периодах в жизни моей Родины. Несмотря на пережитое, за семьдесят лет моя Родина стала Великой Державой. Народ страдал, воевал, побеждал, трудился, верил, терпел — народ выстоял.

К перестройке сегодня пристраиваются и те, кому вообще социалистический строй противопоказан и кто только и ждет повода, чтобы злорадно прошептать: «Эксперимент не удался!..» И говорят они об этом, конечно, не прямо, не очень гласно. Это тот «человеческий фактор» — балласт, который хочет отбросить нас в прошлое.

Однажды, это было в 1962 году, меня пригласили в Центральный Комитет партии, в отдел агитации и пропа-

ганды. Говорил со мной Александр Николаевич Яковлев. Мне предложили организовать сатирический киножурнал. Когда меня спросили, что мне для этого надо, я ответил: только одно — доверять! Если же я не оправдаю доверия, то пускай этот киножурнал делает кто-нибудь другой. И вот уже 26 лет каждый месяц выходит наш «Фитиль». Когда же возникали цензурные проблемы, мы спорили, отстаивали нашу позицию, доказывали. И нас поддерживали. Как правило, «наверху» находились товарищи, которые говорили: «Продолжайте свое дело! «Фитиль» полюбился народу». И вправду, «Фитиль» был в годы застоя (теперь это особенно видно) среди тех общественных сил, которые подготавливали демократизацию общества.

Сейчас много говорят о том, что критика воспринимается деятелями литературы и искусства болезненно, что у нас есть «неприкасаемые», то есть люди, защищенные своими высокими постами, своими амбициями. Доля правды в этом есть. Но ведь любой литератор, любой деятель искусства всегда болезненно воспринимает критику в свой адрес. Однако критика критике рознь. На доброжелательную, объективную критику обижаться бессмысленно. В моей творческой жизни большую роль сыграла доброжелательная критика Александра Фадеева, Самуила Маршака и кинокритика Ильи Вайсфельда. Он в свое время был очень удивлен, когда я попросил его быть редактором моей новой пьесы, несмотря на то что перед этим он довольно жестоко покритиковал одну не самую удачную мою пьесу.

К сожалению, у нас под словом «критика» часто подразумевается ругань. Когда сегодня критика спрашивают: «Почему не критикуете такого-то?», это равносильно вопросу: почему не ругаете?

В последнее время общая тональность многих публичных выступлений вызывает у меня большую настороженность. Зачем, например, МОСХу накануне съезда художников, когда самое время на страницах собственного органа печати, газеты «Московский художник», обсуждать проблемы изобразительного искусства, выступать с чудовищно безграмотными, развязными статьями против Владимира Маяковского?! Кому сие понадобилось? Ведь все подверстывается под имя Сталина! Можно ли

всю литературу 30-х годов клеймить именем Сталина, пытаясь этим компрометировать многих литераторов? Для чего? Чтобы и Горькому, и Алексею Толстому, и Всеволоду Вишневскому, и Александру Фадееву предъявить счет: почему, дескать, они не были репрессированы, почему получали от правительства награды, почему их издавали в то время, когда другие сидели в тюрьмах и сталинских лагерях? Это — эмигрантский взгляд на литературу того времени, которое у нас принято называть эпохой культа личности.

Иной раз, полемизируя друг с другом, мы допускаем неточные формулировки, которые потом подхватываются, «обрабатываются», а то и преподносятся уже в виде определенной тенденции. Это все идет от старого, когда каждое слово непременно согласовывалось, писалось на машинке, а затем уже читалось с трибуны. Так постепенно мы разучились культурно дискутировать, терпеливо и аргументированно возражать оппонентам. Утрачены приемы ораторского искусства. Речи наши скучны, порой косноязычны. А между тем есть у кого поучиться. Вспомним выступления кинорежиссера С. Герасимова, А. Фадеева, А. Довженко, В. Шкловского, Б. Эйхенбаума. Как хорошо они говорили, как точно формулировали свои мысли! Культура их лексики вызывает зависть. Из ныне здравствующих к прекрасным ораторам я отношу академика Д. Лихачева, режиссера Г. Товстоногова, актера М. Ульянова... А что, если организовать молодежные клубы ораторского искусства? Ведь раньше преподавался курс риторики!

— Сергей Владимирович, у вас много наград. К 75-летию прибавилась еще одна — десятый орден. Что вы вообще думаете о наградах?

— Меня огорчают отдельные выступления в печати о наградах и премиях. Я считаю такие выступления тенденциозными, несправедливыми. Меня огорчает, что люди, получившие по праву свои награды, стали теперь как бы стесняться их. Я своих наград не стесняюсь. И когда мне некоторые товарищи, лжескромники, или те, которые хотят казаться очень современными, говорят, что они своих наград не носят даже по праздникам, у меня возникает вопрос: «А может быть, они и впрямь получили их не за дело?»

К счастью, открылась возможность публикаций произведений, ныне хорошо известных, которые совсем недавно не имели выхода к читателю. Важно, что шлюзы открыты. Шлюзы, а не кингстоны, как это хотят представить те, кто опасается напора этого потока. Я принимаю с уважением все направления, какие есть и какие были в литературе. Но объективно все же наступает то время, когда надо настойчивее вглядываться в будущее, глубоко осмысливая прошлое и настоящее. Но, конечно, если у писателя есть потребность отдать свой талант, свое перо размышлению о периоде культа личности или о периоде застоя, он волен посвятить этому хоть всю свою творческую жизнь.

Считаю, что это крайне несправедливо — вовремя не врученные награды. Владимиру Дудинцеву за его роман «Не хлебом единым» я бы и сегодня дал Государственную премию. Я ратовал за награждение Анатолия Рыбакова, его роман «Тяжелый песок» считаю достойным произведением. Считаю, что премии заслуживает, и уже давно, Юрий Нагибин. А разве справедливо, что художник Илья Глазунов до сих пор не отмечен премией?!

Я считаю, что надо в корне пересмотреть порядок присуждения премий. Недопустим, к примеру, тот ажиотаж, который сопровождает период выдвижения кандидатов на премию.

Крайности вообще недопустимы — они не от большой культуры. Шараханья в ту или иную сторону всегда уводят от основной линии поведения, размывают мировоззрение. Это не значит, что не нужны дискуссии. Дискуссии необходимы. Но мы еще не научились уважительно относиться к мнению своего оппонента. Тон неуважительный, развязный в дискуссии никогда не может привести к желаемому результату. Нам надо почаще вспоминать открытые дискуссии, споры, в которых участвовал, к примеру, Луначарский. Как уважительно относился он к творческой личности. У нас же считается, чем грубее выступишь, чем злее поиздеваешься над творческой личностью, тем лучше, тем прочнее самоутвердишься. Амбициозная критика опасна, вредна, а главное — безрезультатна.

Сегодня некоторые писательские организации России, даже небольшие коллективы разъедают склоки и распри.

Все свое время члены этих организаций тратят не на творчество, а на выяснение отношений, на компрометацию своих руководителей, то есть на дела, ничего общего не имеющие с литературой. Здесь-то и должна проявиться идейно-творческая зрелость партийной организации. А члены партийных бюро в творческих организациях обязаны лично отвечать за то, что происходит рядом с ними.

Если партия говорит сегодня о том, что партийные органы не должны заниматься теми вопросами, которыми занимаются Советы, то в сфере культуры, в сфере идеологии низовые партийные организации также должны создавать творческую атмосферу, то есть заниматься проблемами искусства, а не одной бытовой и организационной деятельностью.

Речь сегодня идет о консолидации всех сил, для того чтобы общим фронтом выступать за дело перестройки. Известно, что Сталин похвалил не самое лучшее произведение Максима Горького «Девушка и смерть». Основываясь на этом комплименте, порочить Максима Горького, что, кстати, уже просматривается в некоторых публикациях? Их авторы пытаются принизить роль и значение великого пролетарского писателя, а вслед за ним — и лучшее в литературе 30—40-х годов.

Я считаю, что сейчас, как никогда, надо развивать наши отношения со странами Запада. Очень важны контакты между деятелями культуры на любых условиях. К сожалению, этого многие не понимают, по-обывательски относясь к тому, что, дескать, режиссер имярек почему-то ставит спектакль на зарубежной сцене, а не на советской, что артист такой-то снимается в зарубежном фильме, а не в советском. Люди не понимают, по-видимому, что прошло время «железного занавеса». Чем больше мы будем сотрудничать с зарубежными театрами, киностудиями, книгоиздательскими организациями, тем успешнее будем пропагандировать наше мировоззрение, наш образ жизни, наши идеалы, нашу культуру.

Сегодня противников нового мышления радует любая наша ошибка, любой просчет. А просчеты, ошибки на пути переустройства общества неизбежны, как неизбежно и то, что они будут исправляться по ходу жизни.

В Италии меня спросили: «Почему в СССР только одна партия?» Я в шутку ответил, что у нас две партии:

одна — официальная, другая — неформальная. «Какая же эта партия?» — «Это партия людей, объединяющихся на почве противодействия перестройке. Они понимают, что перестройка не дает им возможности жить так, как они жили раньше. Они, может, и перестроились бы, да не могут, потому что это им не нужно».

— Вы слышали такую эпиграмму: «Земля, земля, ты слышишь этот зуд? Три Михалкова по тебе ползут!»?

— Грубо, но чем больше эпиграмм, тем лучше. А вообще я часто отвечаю на вопросы о моих сыновьях. И у нас и за рубежом Андрей и Никита — оба народные артисты РСФСР — пошли по другой стезе, чем я: попытавшись приобщиться к музыкальному искусству, они посчитали себя недостаточно для этого подготовленными и по собственной инициативе, без всякого родительского влияния отдали предпочтение театру и кино. Старший заявил о себе, как свидетельствовала критика, интересными фильмами «Первый учитель», «Дядя Ваня», «Романс о влюбленных», «Дворянское гнездо», «Сибиряда», а также фильмом «История Аси Клячиной, которая полюбила, да не вышла замуж» — лентой, двадцать лет пролежавшей на полке и только сейчас выходящей на экраны. Наши кинокритики и общественность считают эту картину явлением советской кинематографии. Фильмы младшего — Никиты: «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Несколько дней из жизни Обломова», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Раба любви», «Родня», «Без свидетелей» тоже известны.

Как отец, я никогда не мешал сыновьям; понимая, что у каждого человека своя дорога в жизни, что он сам себе ее выбирает. Вообще о сыновьях говорить трудно — они давно взрослые самостоятельные люди, у каждого — свои взгляды на жизнь и искусство. Но вот о чем хочу сказать особо: бытует такое понятие «писательские дети». Мои сыновья тоже писательские дети: мать — Наталья Кончаловская, отец — Сергей Михалков. Но при чем тут «писательские дети», «актерские дети»? Так можно говорить лишь о тех, кто, не имея никаких данных, вылезает на поверхность благодаря знакомствам, положению родителей, родственников. Считаю, что, пользуясь папиным именем, маминой должностью, такое

дителя может продвигаться до конца своей жизни по административной, чиновничьей, дипломатической, а то и партийной линии. Но в творческой работе такие потуги кончаются крахом.

Не хочу называть конкретные имена, фамилии, они на слуху и на виду. Если человек талантлив, то не имеет значения, кто его родители. Ну кто может сказать, что у Давида Ойстраха сын плохой скрипач? Думаю, никто: Игорь Ойстрах талантливейший музыкант.

Да, конечно, есть обывательское суждение о том, что михалковским детям легче было пробиться. Что значит пробиться? Государство, например, дает тебе деньги на картину. Это значит, ты уже пробился? Нет! Ведь если ты снял плохой фильм, значит, тебе зря давали средства, значит, ты не оправдал доверия как творческая личность, а к тому же посрамил доброе имя своих родителей. Мне кажется, что в такой ситуации бывает стыдно всем. Да, ты пробился на студию, в театр, но не в искусство.

И еще в связи с этими разговорами. Почему мы часто говорим о династиях в рабочем классе? Почему же для искусства другие критерии?

— Сергей Владимирович, вы общались и общаетесь с выдающимися художниками нашего времени. О ком бы вы хотели сейчас сказать несколько слов?

— Да, было много встреч, было много и расставаний. Когда я оглядываюсь назад или же окрест себя сегодня, я думаю, как богата талантами русская земля...

...Алексей Николаевич Толстой — человек широкий, человек застолья, не разгульного, а освещенного умной, живой беседой, тонко понимающий русское слово. Это классик советской прозы. Алексей Николаевич первый посоветовал мне: «Ты должен писать басни!»

...Таких людей, как А. А. Фадеев, у нас сейчас в литературе просто нет. На своем 50-летии в зале Чайковского он говорил о Сталине. Фадеев в Сталина верил. Думаю, что трагический конец Александра Александровича не мог быть не связан с крахом его идеалов. XX съезд партии и Фадеев... Может быть, именно тогда он все понял. Он был человеком честным, добрым, но иногда и очень жестким в своих оценках. Он мог в лицо сказать человеку правду, не боясь потерять с ним дружеские отношения. Он мог защитить человека, но его возможно-

сти были не беспредельны. У меня к нему особое отношение — он первым написал в «Правде» статью о моих стихах для детей.

В последние годы жизни Фадеев много болел, и мне кажется, его уход из жизни можно объяснить не только разоблачением культа Сталина, но и большой творческой неудачей. Он понял, сколько времени потрачено им на пустое дело: концепция начатого им романа «Черная металлургия» оказалась надуманной.

Лучшего руководителя союзной писательской организации трудно было найти.

...Я не мыслю советскую поэзию без Твардовского. Когда у меня плохое настроение, я снимаю с полки вечную солдатскую книгу «Василий Теркин» и перечитываю ее. На посту редактора «Нового мира» он был, как теперь говорят, человеком нового мышления. Смелым, бескомпромиссным, требовательным к себе и к людям. На таких, как он, держится искусство.

Современники никогда не видят великое, которое рядом с ними. Как говорится, лицом к лицу лица не увидеть. В чем-то это относится и к Твардовскому.

...Валентин Распутин — яркий представитель целой плеяды русских советских прозаиков, творческая жизнь которых посвящена укреплению нравственного здоровья общества. К таким писателям я отношу и Федора Абрамова, и Виктора Астафьева, и Юрия Бондарева, и Василия Белова, и Сергея Залыгина, и Евгения Носова.

...Я не все целиком принимаю в творчестве Валентина Пикуля. Но писатель чрезвычайно интересный, много думающий о патриотизме русского воинства, и по этой причине его книги имеют несомненно воспитательное значение. Им написаны десятки романов и повестей. Некоторые справедливо подвергнуты критическому анализу. Ученые, историки иногда уличают автора в тех или иных неверных утверждениях, даже в фактических ошибках. Наверное, это так, но у Пикуля есть произведения, которые по праву занимают достойное место на книжных полках. Секретариат Союза писателей РСФСР дважды безрезультатно выдвигал кандидатуру писателя на Государственную премию.

Как я отношусь к постановлению Союза писателей об ошибочности публикации романа «У последней черты»?

Этот роман из «дворцовой жизни» пользуется у читателей большим интересом, думаю, в основном потому, что автор, хотел он этого или не хотел, показал исторические эпизоды через замочную скважину.

Меня удивляет необъективное отношение академиков живописи и руководителей Союза художников к личности народного художника СССР профессора Ильи Глазунова. Он есть, и никуда от этого не уйдешь. Признание народа он получил. Глазунов искренне хочет возродить русский портрет, русскую школу живописи. Учеников его мастерской в институте им. Сурикова отличают интересные работы. К сожалению, в нашей творческой среде все еще очень могущественна зависть, даже когда речь идет о неоспоримом таланте, много лет привлекающем колоссальные аудитории на Родине и за ее рубежами.

...Владимир Высоцкий в искусстве — уникальная творческая личность, хотя я не считаю его великим поэтом. Это такой же народный талант, как Шукшин, которого я очень люблю. Когда Высоцкий умер, меня удивило, что нет некролога. Я даже пытался помочь напечатать его. Звонил, просил. Мне говорили: «Да, да, разберемся, посмотрим». Но ничего не сделали. И пришлось утешаться тем, что его похороны, по-существу, превзошли все мыслимые некрологи. И когда сын мой Никита выступил на панихиде в Театре на Таганке, я сказал ему: «Ты — молодец!» И когда Михаил Ульянов тоже выступил на той же панихиде, я и ему сказал: «Хороший пример честного, объективного отношения к ушедшему из жизни товарищу по искусству». Но, конечно, если начнут выпускать майки с портретом Высоцкого и носить их, то это уже будет оскорблением имени художника, памяти художника. Если на его могиле будут оставлять всякого рода сувениры — это уже фетишизм. Высоцкий недостоин такого обывательского отношения...

Я же, вероятно, должен отнести себя к писателям, которые уже почти все, что могли сказать, сказали. Из нашей беседы, я думаю, видно, что мне в жизни везло: меня миновала трагическая участь тысяч и тысяч соотечественников. Я не попадал в плен, не был убит на войне, как десятки военных корреспондентов. Даже не был ранен. Я рано нашел себя как детский писатель и сатирик. Мне повезло на друзей, на умных, талантливых, добро-

желательных наставников. Я дорожил и дорожу любовью моих читателей, а это — люди всех возрастов... Что еще сказать?..

— Приближается 1000-летие крещения Руси. Скажите, родители вас крестили? Что вы вообще думаете о религии?

— Скажу так. Я крещеный. Религия — это мировоззрение. Каждый человек волен верить в то, что он исповедует. Лично я исповедую веру в силу добра и разума.

Да, приближается тысячелетие крещения Руси. Это большой праздник, который несет в себе не только православное религиозное начало, это праздник общегосударственный, и отметить его надо как великое событие в истории Отечества, в истории христианства.

— Вы считаете, что мы достигли пределов в желании познать непознанное (непознанный Набоков, возвращенный Гумилев, вновь признанная на Родине Одоевцева, через два десятилетия опубликованный роман Рыбакова, правда о Вышинском, Берии...), наверстать упущенное другими поколениями?

— У меня был приятель, племянник К. С. Станиславского. Он жил в Швейцарии в местечке Монтре. Там жил и писатель Владимир Набоков. Однажды, будучи в гостях у моего приятеля, я ему сказал: «Джерри, познакомь меня с Набоковым». «Не советую тебе с ним знакомиться, — сказал Джерри. — Не надо рисковать». «Почему?» — «Вас, советских, не любят. Я не хочу ставить тебя в неловкое положение. Набоков может тебя не принять». И я действительно не решился просить его больше об организации встречи с Набоковым.

Знал бы Набоков, что о нем через несколько лет будут писать статьи и публиковать в советских журналах его стихи и прозу. Знал бы... Кстати говоря, Беллу Ахмадулину он принял и довольно нежно говорил о России. Времена и люди меняются.

Ирина Одоевцева? Это хорошая русская поэтесса, долгое время жила во Франции. Недавно вернулась на Родину. Буквально на днях мы приняли ее в члены Союза писателей СССР. Дай ей бог здоровья и новых стихов!

Вообще я должен сказать, что за рубежом видел много русских людей, которые с огромным благоговением говорили о Советской России, о советской культуре. Мн-

гу, в частности, назвать имя Эдуарда Фальцфейна, у которого я бывал, человека не жалеющего средств для того, чтобы хоть что-то делать для России. Сожалею, что нескладно вышло с Сержем Лифарем, который хотел преподнести нам ценные реликвии, но мы не сумели проявить должного такта и внимания к нему.

...Николая Гумилева надо было давно вернуть отечественной культуре. В конце семидесятых годов я попытался помочь этому. Дважды ходил в ЦК КПСС к Суслову с обстоятельным, как мне кажется, весьма аргументированным письмом, в котором говорилось о значении Гумилева для русской поэзии. Инициатором этого моего похода была поэтесса Лариса Васильева. Суслов пообещал: «Мы подумаем». Однако положительного решения не последовало.

Надо постоянно держать руку на пульсе. «Дети Арбата» напечатали — это правильно. «Ночевала тучка золотая» Приставкина напечатали — тоже правильно. «Мужики и бабы» Можаяева — тоже справедливо напечатали... Но мне не нравится, что, когда начинаются дискуссии, в них принимают участие люди, за спиной которых ничего нет, которые в своем творчестве ничего не доказали и только ораторствовали с трибун. То, что мы пишем о Сталине, о Лысенко, о Берии, о Вышинском — все это нужно, необходимо, об этих фигурах давно надо было открыто писать и говорить — уже во времена Хрущева. Большой разговор о времени культа личности тогда уже начинался. Но только сейчас открыты шлюзы. Повторяю, шлюзы открыты, а не кингстоны. Эти шлюзы оздоравливают общество, духовную атмосферу. Кингстоны же мы не собираемся открывать. Хотя некоторые противники перестройки, злопыхатели, быть может, и хотели бы этого.

Март 1988 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- 5 **Любовь моя — интервью**
- 8 **Вениамин Каверин**
ВГЛЯДЕТЬСЯ В
ПРОШЛОЕ, ПОНЯТЬ
БУДУЩЕЕ
- 17 **Виктор Астафьев**
ДОБРЕНЬКИМ БЫТЬ
НЕ МОГУ
- 30 **Григорий Бакланов**
СЛОВО НАДО
ВЫСТРАДАТЬ
- 40 **Грант Матевосян**
ЕСЛИ ПАМЯТЬ В
ТЕБЕ — ЗНАЧИТ,
ГОРИШЬ ТЫ
- 53 **Арсений Тарковский**
СУДЬБА МОЯ
СГОРЕЛА МЕЖДУ
СТРОК
- 70 **Евгений Евтушенко,**
Андрей Вознесенский,
Булат Окуджава,
Роберт Рождественский
И БЫЛИ НАШИ
ПОМЫСЛЫ ЧИСТЫ...
- 92 **Белла Ахмадулина**
МНЕ НРАВИТСЯ, ЧТО
ЖИЗНЬ ВСЕГДА
ПРАВА
- 108 **Василь Быков**
ТРАВА ПОСЛЕ НАС
- 125 **Чингиз Айтматов**
ЦЕНА ПРОЗРЕНИЯ
- 155 **Расул Гамзатов**
НАД И ПОД КРЫЛОМ
ОРЛА
- 175 **Виталий Коротич**
БОЮСЬ БЕЗВЕРИЯ,
ИЗМЕЛЬЧАНИЯ ДУШИ
- 185 **Сергей Образцов**
НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ
ЧЕЛОВЕКА
- 197 **Элем Климов**
А ПАМЯТНИКА НЕ
НАДО...
- 228 **Сергей Михалков**
ШЛЮЗЫ, А НЕ
КИНГСТОНЫ

ТРАВА ПОСЛЕ НАС
Книга-интервью журналиста Феликса Медведева
с видными деятелями советской литературы
и искусства

Заведующий редакцией *К. Г. Ликатов*

Редактор *И. С. Гайдамович*

Мл. редактор *М. В. Писарева*

Художник *В. М. Блинов*

Художественный редактор *В. В. Анохин*

Фоторедактор *Н. Л. Качурьян*

Технический редактор *Л. А. Крюкова*

Корректор *Е. А. Тихонова*

Технолог *В. Ф. Егорова*

ИБ 10203

Сдано в набор 04.07.88. Подписано в печать 22.09.88. Формат издания 84 × 108/32.

Бумага офсетная 70^г/м². Гарнитура Таймс. Офсетная печать. Усл. печ. л. 13,44.

Уч. изд. л. 13,57. Тираж 100 000 экз. Заказ № 469. Изд. № 8138. Цена 75 коп.

Издательство Агентства печати Новости

107082, Москва, Б. Почтовая ул., 7.

Типография Издательства Агентства печати Новости

107005, Москва, ул. Ф. Энгельса, 46.

**В 1988—1989 годах
в Издательстве АПН
выходят следующие книги:**

**Григорий Бакланов. ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ.** Сборник публицистических статей

Федор Бурлацкий. Н. С. ХРУЩЕВ. Полити-
ческий портрет

**Олег Битов. КИНОФЕСТИВАЛЬ ДЛИ-
ННУЮ В ГОД.** Отчет о затянувшейся команди-
ровке

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА. Сборник публи-
цистических статей (в 2-х книгах)

**Дмитрий Волкогонов. ТРИУМФ И ТРА-
ГЕДИЯ.** Политический портрет И. В. Сталина
(в 2-х книгах)

Анна Ларина-Бухарина. НЕЗАБЫВАЕМОЕ

**Всеволод Овчинников. СВОИМИ ГЛАЗА-
МИ.** Страницы путевых дневников

**ПАБЛО НЕРУДА — КОРРЕСПОНДЕНТ
АПН.** Сборник публицистических статей

**Константин Симонов. ГЛАЗАМИ ЧЕЛО-
ВЕКА МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ.** Размышле-
ния об И. В. Сталине

**Николай Шмелев, Владимир Попов. НА
ПЕРЕЛОМЕ: ПЕРЕСТРОЙКА ЭКОНО-
МИКИ В СССР**

